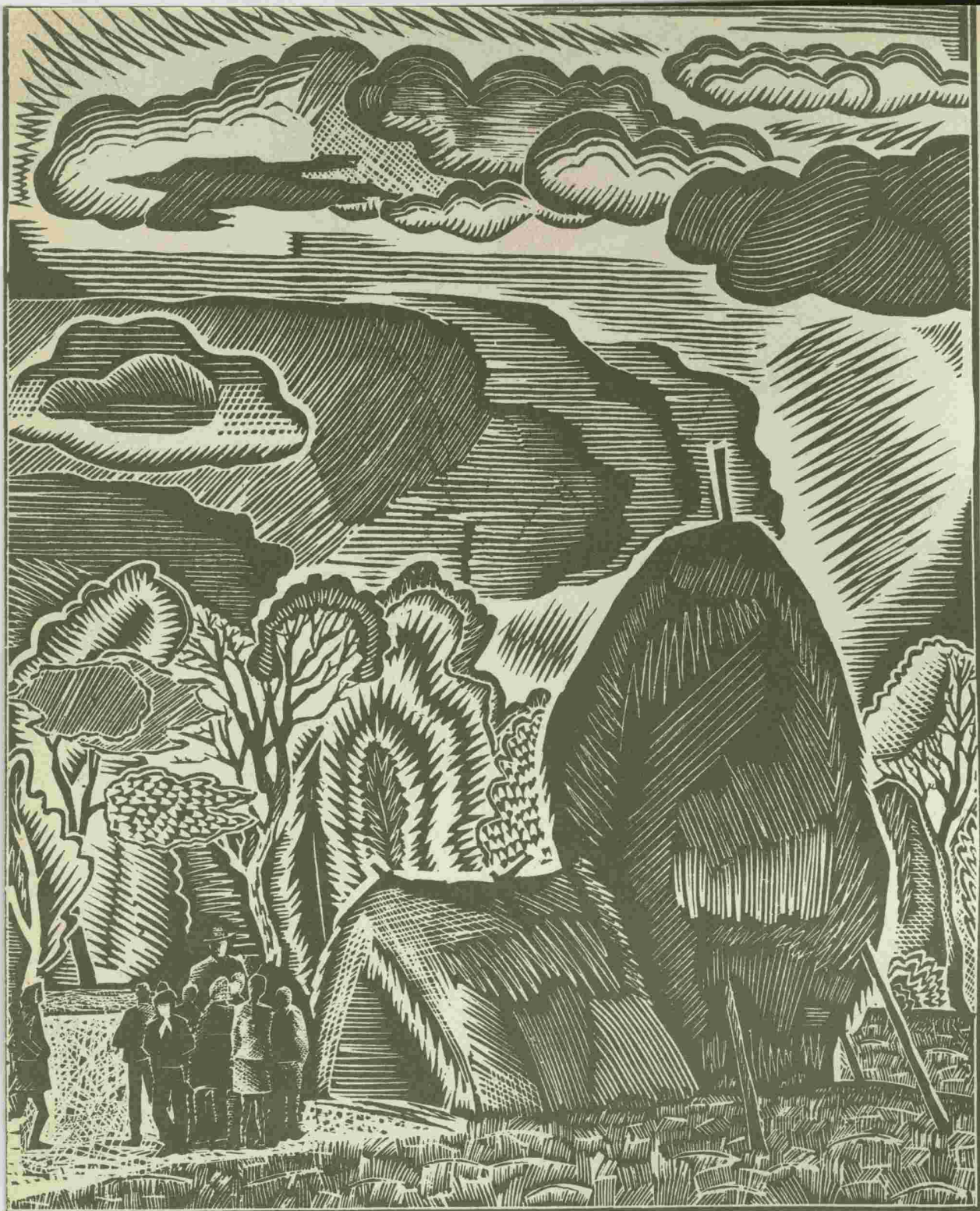




ЮНОСТЬ

6

1969



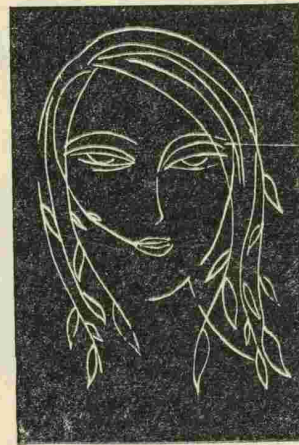
В. ВЛАДЫКИН.

По Ленинским местам. Экскурсанты в Разливе.
(Линогравюра).



ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР



год издания
пятнадцатый

6

[169]

июнь

1969

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

● В НОМЕРЕ ● В НОМЕРЕ ● В НОМЕРЕ ●

● ПРОЗА

- Валентин ТАРАС. Партизанские были:
1. Последняя корова. 2. Невероятная
смерть. 3. Недотепа 2
- Дмитрий ХОЛЕНДРО. Два рассказа:
1. Бармалей. 2. Две жизни Назара 12
- Раиса ГРИГОРЬЕВА. Крестьянский сын.
Повесть. (Окончание) 24

● ПОЭЗИЯ

- Вадим ХАЛУПОВИЧ. На берегу. «Когда
проходными дворами...». «Прекрасна
мать, кормящая дитя...» 10
- Александр ШКЛЯРИНСКИЙ. «Как некая
стихия доброты...». Базар 10
- Александр ШЕВЕЛЕВ. Гроза. Довоенная
музыка 11
- Михаил ГОЛОВЕНЧИЦ. У школы. «Вот
понемногу умолкает город...» 11
- Юрий РЯШЕНЦЕВ. Середниновские стро-
фы. «Я отмерял семь раз..». Летняя
ночь в Москве. Пастораль на магнито-
фонной ленте. Возвращение в Москву 22
- Магомед АМИНОВ. «Меня воспитали...».
Лети. Луга. Красота. «О, ночи горной
сладкие минуты!..». С лакского пе-
релел Н. Злотников 55
- Анна АХМАТОВА. Из литературного на-
следования (Неопубликованные
стихи разных лет). Вступи-
тельная статья В. Жирмун-
ского 65

● ПУБЛИЦИСТИКА

- Лев ЧЕРЕПАНОВ. Шушенский бор 68
- Виталий ГУЗИКОВ. Был? Есть такой
парень! 73
- М. ШТАРКМАН. Страница из жизни че-
киста 77

● ПОГОВОРИМ О ПРОЧИТАННОМ

- Феликс КУЗНЕЦОВ. Главная книга.
Статья первая 56

● К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

- Г. БОЯДЖИЕВ. Леонардо (К 450-летию
со дня смерти) 63

● НАУКА И ТЕХНИКА

- Л. СЛАВОЛЮБОВА. «...Но я пойду
дальше...» 80

● ЧИТАЯ ЖУРНАЛЫ

- Валентин ПРОТАЛИН. Голоса войны 85

● ПОЧТА «ЮНОСТИ»

- Ольга ВАСИЛЬЕВА. «Особливый язык» 86
- Разговор продолжается 87

● ДЕБЮТЫ

- Наталья РЫЖЕНКО, Виктор СМИРНОВ-
ГОЛОВАНОВ: «Настала пора отдачи...» 89

● ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

- * Вот она — «Метелица»! * Юрий РА-
КОВ. Дом Пиковой дамы * Виктор
АСАУЛОВ. Бейт Эдуарда Багрицкого.
* Илья РУТБЕРГ. Пантомима Модриса
Тенисона 91

● ОКНО В МИР ПРЕКРАСНОГО

- Станислав ЛЕСНЕВСКИЙ. Красота наша 95

● СПОРТ

- Анисим КРОНГАУЗ. Поплывем через Ла-
Манш 103
- Евгений ИВАНОВ. Бегать не быстрее,
чем думает голова 105

● «ПЫЛЕСОС»

- Виктор ШИКАН. Залог здоровья 108
- Гала-представление «Меж двух огней» 110

На 1—4-й стр. обложки рисунок Э. РАПОПОРТ.

Художественный редактор Ю. Цишевский. Технический редактор Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Тел. 291-62-47. Рукописи не возвращаются.

А 06065. Подп. к печати 21/V 1969 г. Формат бумаги 84 × 108¹/₁₆. Объем 12,18 усл. печ. л.
17,62 учетно-изд. л. Тираж 2 100 000 экз. Изд. № 1020. Заказ № 1020.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина,
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



Валентин Тарас



Рисунки
Е. Расторгуева.

ПАРТИЗАНСКИЕ БЫЛИ

1. Последняя корова

Блокада кончилась, но кормить людей было нечем. Каратели сожгли все села вокруг пуши, а в тех, что подальше, не осталось даже курицы. Немцы угнали скот, выколотили весь хлеб, до последнего зернышка...

Напрасно Михалюк колесил с нами по уцелевшим деревням — нам удалось собрать мешок зерна да пару мешков отрубей. И все. Но мы не могли вернуться с пустыми руками: полтора человека, истощенных, отощавших, голодных, вот уже пятые сутки ждали нас...

— Заглянем еще в Зяблики, — сказал Михалюк. — Может, хоть бульбы достанем. Если Винцесь-миллионер жив и не ушел из деревни, у него есть. У Винцеса всегда что-нибудь есть... А нет, придется под Молодечном пошукать.

— Под Молодечном черта с два пошукаешь! — раздраженно, словно огрызаясь, сказал Санька Пилипчик. — Там полно полицаяв. Они тебе дадут Молодечно!

— Зачем четверых послали? — тоже раздраженно спросил Степан Смагин. — И еще сопляка этого! Толку с него! Сидит на возу, как телок замерзший, того и гляди очокурится!.. Надо было взвод посылать, в Литву идти, тут собаки живой не найдешь!..

В другое время я бы не пропустил «сопляка» мимо ушей, напомнил бы Смагину, что «сопляк» двоих эсэсовцев на счету имеет и мост под Углянами, но теперь мне было безразлично, как меня называют. Я замерз, голод грыз мои внутренности, даже ребра болели — не вздохнуть. Как сломанные...

— Развягались! — мрачно сказал Михалюк. — Кто я вам — командир или что?..

Санька и Степан стояли у нашей с Михалюком подводы и ругались. Еще две подводы — Санькина и

Степана — стояли чуть поодаль. Кони дремали, понуро опустив головы, вяло грызли, мусолили удила — облезлые, тощие кони с потухшими, тоскливыми глазами. Стулился в своей деревенской свитке длинный Степан Смагин, дрожал в драной немецкой шинели Санька Пилипчик. Хлопьями валил мокрый снег, таял на косматых бараньих шапках, на плечах и на спинах. У хлопцев были заросшие, усталые лица, воспаленные глаза, сапоги у обоих были под стать одежде — подметки держались благодаря размочаленным грязным веревкам. Даже патронташи и винтовки висели на хлопцах как-то уныло, ничего в них не осталось от лихого партизанского вида.

— Развягались! — повторил Михалюк. — Уши опустили, расклеились! А ну по местам! И не тряситесь, как бабы!

Он сел на подводу — боком, свесив ноги, как обычно сидят партизаны, чтобы в случае чего сразу оказаться на дороге, цокнул на коня. Конь пошел неожиданно быстро, захлопал копытами по кашнице талого снега, но его водило из стороны в сторону, и скоро он остановился — поджилки на ногах мелко дрожали...

Так, останавливаясь через каждую сотню шагов, мы приехали в Зяблики. И когда миновали третью от края хату, услышали, что во дворе следующей хаты мычит корова — густо, протяжно, нетерпеливо. — Лихо, — пробормотал Михалюк. — Как это он умудрился!..

Он остановил коня, слез с подводы, подождал, пока подъедут хлопцы. Они подъехали, соскочили с подвод, подошли тихо, как тени.

— Корова, — хрипло сказал Михалюк, глядя в их настороженные лица. — У Винцеса корова каким-то чудом осталась.

Помолчали, оглядываясь по сторонам, стараясь не глядеть друг другу в глаза. А корова опять замычала, звякнула в стойле цепью.

— Что будем делать? — изменившимся голосом спросил Михалюк. — Решайте...

— А черт его знает, что делать! — поежился Санька. — Последняя, видно, корова...

— Брать! — решительно сказал Смагин. — Где мы еще что найдем?

Михалюк посмотрел на него исподлобья, мрачный, тяжелый, отстегнул у горла крючок тужурки, болезненно покрутил шейю — опять, должно быть, дала знать о себе былая рана, шевельнулся осколок под ключицей. Он всегда у него шевелился, если Михалюк сильно переживал...

— Ну, ладно! — Михалюк надвинул на лоб шапку. — Вы тут постоите, а я с Костиком зайду. Может, поладим...

Мы с Михалюком вошли в сени, Михалюк без стука толкнул плечом дверь, пропустил меня вперед. В хате топились печка, какое-то варево клокотало в двух черных чугунах. На голой скамейке у стены сидел дядька в зипуне и переобувал лапти. Высокая костлявая баба в засаленном бумазейном платье,

босая, с ожесточенным мужским лицом, стояла почти у порога, словно ждала нас.

— Добрый день в хату, — прогудел Михалюк. — Принимайте гостей...

Мужик, не подняв головы, сосредоточенно наматывал на ногу онучу, баба оглянулась на него и, повернувшись к нам, сказала, задохнувшись:

— Не дам! Хоть застрелите, не дам!

— Чего ты не дашь, тетка? — неуклюже удивляясь, спросил Михалюк. — Мы еще ничего не просим... Хлопчик вот замерз. Обогреться бы ему, обсушиться...

Баба мельком глянула на меня полными отчаяния глазами, явно не видя и не понимая, что это еще перед ней за хлопчик... Голос ее снова задохнулся:

— Не дам! Ведаю, что вам надо... Не дам!

Она грозно стояла перед нами, не пускала нас дальше в хату. Дядька медленно, не разгибаясь, наматывал вторую онучу...

— Ладно, тетка! — Михалюк не грубо, но властно отстранил бабу локтем, прошел к замызганному столу, сел на высокий табурет и снял шапку. Положил ее на стол, посмотрел на бабу и на меня, — я



остался стоять у порога,— повернулся к дядьке.— Ты меня знаешь, Винцесь?

— Ведаю,— буркнул тот, не разгибаясь,— ты Михалюк из отряда «Правда»...

— Ага... Ну, и как твои миллионы? Целы?

— Яны тебя не касаются,— буркнул дядька, продолжая свое занятие,— наматывал и наматывал онучу, конца ей не было.— Мои мильены тебя не касаются!..

Миллионы, о которых шла речь, были царские бумажные деньги, керенки, советские деньги эпохи военного коммунизма, польские злотые, которые Винцесь хранил в кубышке, о чем знали все партизаны, часто бывавшие в Зябликах. За это его и прозвали «миллионером».

— Мои мильены тебя не касаются! — повторил он уже с ожесточением и поднял наконец голову.— И не за ними ты да мяне у хату прибер!

— Послушай, Винцесь, военную сводку! — вдруг повернул разговор Михалюк.— Внимательно послушай... Красная Армия теперь где? Красная Армия взяла Гомель уже давно. Наступление скоро начнется по всему Белорусскому фронту. Гитлер почему блокаду против партизан устроил? Потому как знает, что скоро ему каюк! Он знает, гад, что партизаны ему жилы перережут, когда он отсюда драпать начнет. Вот он и хотел нас уничтожить... Я это к чему, Винцесь? К тому, что скоро вернется Советская власть и твоей тяжелой жизни наступит конец. Советская власть все тебе вернет, что у тебя война отняла. И корову тоже. А пока ты ее нам отдашь под расписку!

И Михалюк обеими руками нахлобучил на голову свою баранью шапку.

Дядька вскопчил, захромал к Михалюку, волоча за собой онучу, подбородок у него затрясся...

— Подотрися своей распиской! — закричал он слезливо.— Мне этих бумажак надавали! Ести их, ти што?!

Он был ниже своей хозяйки, совсем маленький, колченогий и тщедушный. Винцесь посмотрела на него сверху, как на дитенка, и заплакала без слез.

— Адна карова на усю веску засталася! Зачем жа я ес в лесу ховала, зачем спасала? Люди ее всем миром кормят, што у каго знойдзеца... Адна карова на усю веску!..

— Хватит, тетка,— угрюмо сказал Михалюк.— Сказано — под расписку.

Он встал из-за стола, каменный, с угрюмо стиснутыми челюстями, сказал, набычив голову на Винцесь:

— И ты мне, Винцесь, не кричи, чтоб я этой распиской подтирался!.. Она документ верный, так я тебе скажу. Советский документ!

Снова сел, вынул из бокового кармана своей домотканой тужурки сложенный вчетверо лист серой плотной бумаги, химический карандаш, оторвал от листа четвертушку и, раскорячив локти, принялся писать расписку. Написал и отодвинул ее на середину стола. Встал.

— А то, понимаешь, в царские деньги до сих пор верит, а наша расписка для него бумажка!.. Миллионы твои, это точно, бумажки, керенки поганые! Их и не помнит никто!..

— Чтоб ты детей своих не увидел! — выдохнула Винцесь.— Не дам корову!

Михалюк молча шагнул к порогу, и тут я увидел его глаза. Они были такими же, как у Винцесьихи, полными отчаяния. Полные отчаяния и растерянности глаза на окаменевшем, неприступном, угрюмом

лице. Меня он не видел перед собой, забыл, что я стою здесь у порога все это время. Задев меня плечом, он вышел в сени...

Хмурые сумерки сгустились над деревушкой, все гуще и гуще валил мокрый снег... Михалюк сам вывел корову из стойла. Худая, с торчащими лопатками корова, рыжая, в белых подпалинах, упиралась, мотала головой, припадала рогами к земле. Михалюк привязал корову к подводе. Санька и Степан держали Винцесьиху. Она не кричала, не плакала, только вырывалась. Винцесь безучастно стоял на крыльце. Михалюк развернул подводу, хлестнул коня вожжами по крупу. Я вскопчил в подводу уже на ходу, оглянулся: скособочив голову, развезжаясь ногами в снежном месиве, корова упиралась изо всех сил...

Снег повалил еще гуще, и в этом мельтешении снега неотступно шла за подводой Винцесьиха. Михалюк не видел этого, но, должно быть, почувствовал, что она идет следом, потому что не успел я сказать ему, как он обернулся сам. Винцесьиха шла по снегу босая, платье и лицо облепливали мокрые хлопья, и она машинально, глядя прямо перед собой, то и дело утирала лицо рукавом.

Михалюк отдал мне вожжи, спрыгнул с подводы, пошел навстречу Винцесьихе, заговорил чуть не плача:

— Ну что ты все идешь, тетка, что ты идешь? Не могу я вернуть тебе корову!.. Пойми, не могу!.. Иди домой!

Винцесьиха, казалось, не слышала его, не видела — смотрела куда-то вдаль, на дорогу.

Михалюк вырвал у меня вожжи, плюхнулся на подводу, стал гнать коня. Корова спотыкалась, падала на передние ноги, дико закатывала глаза. Переваляли через пригорок, и вниз конь и корова побежали легко, корова стучалась мордой о задок подводы. Побежала и Винцесьиха, нескладно, нелепо, страшно. Мне казалось, что я вижу это во сне, как она бежит, босая, с седыми от снега космами, в груди у меня лопнуло что-то, сердце провалилось в пустоту. Я вынул из ножен немецкий тесак от винтовки и перерезал веревку...

Снег перешел в дождь, и без хлопьев снега стало почти темно. Винцесьиха далеко отстала от подводы, но шла, спотыкаясь. В сумерках казалось, что она идет обратно. Коровы стояла посреди дороги, повернув голову назад, ждала хозяйку.

Минут через пять нас обогнали Санька и Степан, остановили подводы на развилке дороги, медленно подошли к нам. Санька снял шапку, встряхнул и сказал:

— Правильно сделали, что отдали. Черт с ней, с коровой! Куркулей под Молодечном потревожим.

— Кто отдал? Как отдал? — крикнул Михалюк и растерянно оглянулся, перекинулся назад, к задку подводы, схватил обрывок веревки. Подержал в руках и бросил. Я стоял на дороге, втянув голову в плечи, ждал, что будет. Михалюк медленно, тяжело подошел ко мне, глянул в упор. Лицо его было совсем мокрым и казалось заплаканным. Я ждал, что он выругается матерно или ударит, и еще больше втянул голову в плечи. Но он вдруг неуклюже привлек меня к себе, прижал мою голову к груди — мокрое сукно домотканой тужурки кисло пахло попоной.

— Эх, Костик, Костик, хлопчик ты мой, сыночек! — сказал он взволнованным жарким шепотом.— Война...

А Степан и Санька тихо засмеялись чему-то...

2. Невероятная смерть

Они ехали вдвоем — командир и мальчишка. Командир правил лошадей, мальчишка подремывал, приутившись к его плечу, слушал, как скрипят полозья, как стучат о передок саней комья снега, как что-то екает у лошади в животе. Ноги седоков были укрыты заиндевелой овчиной, иней посеребрил лошадиную гриву, серебряными были упряжь и дуга, синим холодом мерцали стволы автоматов. Над лесом ярко сиял зеленоватый диск луны, сеялся мелкий сухой снежок.

Командир положил на кслени вожжи, снял рукавицы, полез в боковой карман полушубка за кисетом. Пока он сворачивал сигарку, сани медленно выехали из леса. Призрачное белое поле лежало впереди, а на нем — в два ряда — чернели печные трубы, печальные надгробья сожженной деревни...

— Доры, — сказал командир, — половина дороги... Ты не замерз? А то пробежись за санями, погрейся...

— Мне не холодно, товарищ командир, — тихо ответил мальчишка. — Совсем не холодно...

Он не хотел бежать за санями, потому что сзади лежал третий. Если бежать за санями, все время будешь видеть подошвы его сапог... Тело прикрыто рогожей, а сапоги торчат...

— Ну, смотри... — Командир подергал вожжи, и лошадь побежала трусцой, в животе у нее заекало еще громче, тяжело заскрипели сани, полозья заехали тоненько, словно кто-то живой затащил нескончаемую, тоскливую ноту...

Молча миновали поле, дорога пошла перелесками. Теперь, ближе к пуще, перелески тянулись один за другим, вдоль дороги, на отшибе, темнели у ельников одинокие хаты.

Начались Боровиновские хутора.

Скоро впереди, на пригорке, показалась Боровлянка — ближайшая от пущи деревня. Командир и мальчишка были почти дома. В Боровлянке стоял дозор, работала партизанская пекарня, хлопцы из пущи ходили сюда на вечерки, наведывались на окрестные хутора к молодухам. Но и хутора и деревня постороннему взгляду должны были казаться вымершими: нигде ни огонька, ни собачьего лая, ни шороха. Поэтому командир и мальчишка очень удивились, когда увидели в окнах одного из хуторов свет. Свет был дрожащий, неровный, он то почти угасал, то вспыхивал снова, багрово-желтые блики отсвечивали на снегу далеко от окон, — в хате, должно быть, жгла лучину.

Командир остановил лошадь. Впереди — с полверсты до нее — Боровлянка, слева — огни на хуторе. До хутора шагов триста.

— Рассиялись, — буркнул командир и неуклюже слез с саней. — Придется тебе подойти туда... Прикрыть эту иллюминацию.

Он отошел за придорожную елочку, сказал отсюда:

— Давай живей!.. Хлодно.

Мальчишка вздохнул, снял с груди автомат и, держа его за цевье, зашагал по узенькой тропинке к хутору. Скоро он заметил, что протоптанных в снегу тропинок много, они вели к хутору со всех сторон и сходились у заиневших воротцев. Он толкнул воротца ногой, и они плавно, без скрипа, отворились. Пласт инея, пухлый, как подушка, отвалился от них, присыпал сапоги. Мальчишка вошел во двор.

Видно было, что по двору недавно ходило множество людей, снег на высоком крыльце был затоп-

тан и почернел, рядом с крыльцом и на ступеньках валялись мохнатые, с бахромой инея сосновые стружки. Мальчишка тихонько подошел к окнам.

Мороз до половины разрисовал стекла, и мальчишка не мог увидеть, что делается в хате. Тогда он осторожно поднялся на крыльцо и с крыльца заглянул в окна. И не испугался, не опешил, а удивился еще больше.

Посреди хаты стоял стол, а на столе в свежем сосном гробу лежал бородатый старик в белой рубахе. В сложенных на груди руках старика была маленькая иконка. Вдоль стены сидели на лавках бабы в кожухах, закутанные в платки, пожилые дядьки, тоже в кожухах, в высоких, выше колена, валенках. Дядьки сидели, строго выпрямившись, держали на коленях шапки.

Мальчишка повесил автомат на плечо, постоял у дверей. Ему почему-то тяжело было войти в хату, хотя в свои четырнадцать лет он насмотрелся на мертвых. Но надо было войти, и он вошел неслышно, снял за порогом кубанку. Никто не оглянулся на него — бабы, сцепив на животе руки, сурово смотрели на покойника. Спина к мальчишке, у печки, сидела на высоком табурете женщина и жгла лучину.

Гроб стоял ногами к дверям, и мальчишка хорошо видел лицо старика — просветленное и доброе. Ему никогда еще не доводилось видеть, чтобы у мертвых были такие спокойные, ясные лица, не искаженные болью, мукой и ненавистью... Он переступил с ноги на ногу, кашлянул.

— Кто здесь хозяин?..

Бабы и теперь не посмотрели в его сторону, только дядьки повернули кудлатые головы. Женщина, которая жгла лучину, оглянулась, встала, тихо подошла к мальчишке.

— Я хозяйка...

Глаза у нее были сухие, заплаканные, с красными веками, лицо в мелких морщинках. Мальчишка из-за ее плеча смотрел на гроб.

— Кто это?..

— Батька, — просто сказала женщина. — Это батька мой...

— А кто его убил? — тихо спросил мальчишка.

— Никто... Сам...

— Как это — сам? — не понял мальчишка и опять посмотрел на гроб.

— От старости, сынок... — Женщина едва заметно горестно улыбнулась. — Восемьдесят три года прожил...

Мальчишка постоял еще с минуту, неловко потоптался у порога.

— Окна надо завесить... Свет у вас...

— Завесим, сынок, — сказала женщина, высоко поднимая руку с догорающей лучиной, другой рукой поднося к ней новую. — Из памяти вышло...

Мальчишка нахлобучил кубанку и вышел бочком, тихонько притворив за собою дверь. На крыльце в лицо закололи острые снежинки, сразу заоченели голые руки. Мальчишка постоял, похукал на пальцы, запахнул плотнее кожух и зашагал к дороге.

Когда он вернулся, командир возился с упряжью, попыхивал сигаркой, роняя в снег крупные желтые искры.

— Ну, что там? — спросил командир. — Вечеринка?

— Старика хоронят, товарищ командир...

— Какого еще старика?

— С этого хутора...

— А кто его? — Командир затолкал лошади в рот железный мундштук, оглянулся.

— Никто, товарищ командир...

— Как это никто? — Командир удивленно посмотрел на мальчишку.

— Сам умер. — Мальчишка потер ладонями уши. — От старости.

— А-а-а, — протянул командир, надел рукавицы, приподнял лежавшую на передке саней овчину. — Ну, садись...

И снова застучали о передок комья снега, тяжело заскрипели сани, тоненько запели полозья, словно кто-то живой затаял нескончаемую тоскливую ноту. И снова посыпался мелкий сухой снежок — на круп лошади, на плечи седоков, на смерзшуюся рожу, под которой лежал третий...

Командир оглянулся на хутор. Там, по-видимому, завешивали окна — большая тень заслонила свет, метнулась, пропала и опять заслонила.

— Умирают же люди, — тихо сказал командир.



3. Недотепа

Я убил бы его, если бы не Хасанов. А так я только прострелил ему левое плечо. Он даже не успел испугаться, настолько быстро все произошло. Я вскочил, отступил на шаг — в последнее мгновение Хасанов, сидя, успел толкнуть ногой мой карабин. Выстрела я не слышал — только в ушах зазвенело. А он схватился за плечо, потом медленно поднес руку к лицу и недоуменно посмотрел на свои растопыренные окровавленные пальцы. Было тихо-тихо, лишь костер потрескивал и пеночки тенькали как ни в чем не бывало.

— Щанё, — сказал он осевшим голосом, — от жа щанё...

И стал медленно валиться с чурбака, на котором сидел. Но тут они вскочили на ноги — Хасанов и Аксютин. Хасанов переступил через костер, подхватил его под мышки. Он держал его, а Коля Аксютин стал стаскивать с него свитку. Стащил, рванул за ворот серую домотканую рубаху, обнажил раненое плечо. Из черной дырочки под ключицей фонтанчиком била кровь.

— Пакет, — хрипло сказал Хасанов, — давай пакет!..

Он повернул Нелюба спиной ко мне, и я увидел выходное отверстие пули — багровую зияющую рану. Во рту у меня стало шершаво и сухо от страха.

Аксютин откуда-то из-за пазухи вытащил индивидуальный пакет, вспорол пальцем плотную вощеную обертку и, стоя у Нелюба за спиной, стал накладывать повязку. Марля ярко окрасилась кровью, а я смотрел как завороченный, смотрел на пятно крови, которое становилось все меньше и меньше, на руки Аксютин, которые двигались плавно и осторожно. Потом пятно стало пятнышком... крохотной точкой на белом... пропало...

Ко мне подошел Хасанов, молча взял у меня из рук карабин: я все еще держал его так, словно вот-вот собирался стрелять. Хасанов повернул затвор, стреляная гильза упала к моим ногам. Хасанов нагнулся, поднял ее и сунул в карман галифе, клацнул затвором и повесил карабин себе на плечо.

— Кого стрелял? Своего стрелял? — спросил он негромко, и его узкие глаза сузились еще больше. — В дозоре стрелял, дурак, тревогу подымал!!

Он больно, точно клещами, взял меня за руку, силой усаживая на землю.

— Сиди здесь! Шагу не смей!

Я сел, прислонился спиной к сосне, закрыл глаза. В горле у меня застряло что-то, как острый колосок, и я никак не мог его проглотить. «В дозоре стрелял, дурак, тревогу подымал», — только эти слова бессмысленно вертелись у меня в голове, хотя

один выстрел не означал тревоги. Тревога — три выстрела. Но только эти слова вертелись у меня в голове, а о том, что случилось, я еще не думал.

— Моя бы воля, я бы тебя, звереныша, на месте! — Аксютин, уводя Нелюба в шалаш, повернул ко мне бледное, с перекошенным ртом лицо, здоровенный, увесистый нос аж посинел... Хлопцы называли внушительный нос Аксютин «рубильником» и «глюгой», а сам Аксютин — «Пизанской башней»... Он всех любил вышучивать, Аксютин, и других, и себя, и Нелюба он вышучивал тоже... Куда там вышучивал! Издевался над ним, над его дремучим недоверием ко всему на свете. А теперь он смотрел на меня непримиримо, с яростью, так же, как Хасанов.

— Чего уставился? — крикнул он гневно. — Смотрит еще зыркалами своими, щенок!

Даже теперь хлесткое слово «щенок» обожгло меня, как удар кнутом, бешенство снова ударило в виски, в груди стало тесно и жарко. Я ведь потому и пальнул в Нелюба, что он извел меня этим словом... Щенок!.. Щанё!.. Я возненавидел его за это «щанё» с первых же дней его появления в отряде. Он был старше меня лет на шесть, но я ушел в партизаны в сорок втором, в четырнадцать лет, а он появился у нас в феврале сорок четвертого. Этаким громадный парняга в бараньем кожухе и в лаптях.

Его определили в наш взвод, и место на нарах ему досталось рядом с моим, но он не обращал на меня ни малейшего внимания. Ему было наплевать на то, что я гораздо младше его, а воюю уже полтора года, имею ранение и представлен к медали «За отвагу». У меня был шрам на лбу, глубокий косой шрам от осколка мины, я гордился им больше, чем иные орденом, но он не замечал ни этого шрама, ни моих щегольских хромовых сапожек, ни ремней портупеи, которыми я был перехвачен крест-накрест, — всего моего страшно боевого вида: кубаночка с малиновым верхом, серый френч, перешитый из немецкого офицерского кителя, синие галифе, трофейный бельгийский карабин с ложе из полированного красного дерева, с никелированными затвором, кинжал на бедре — маленький, в инкрустированных металлических ножнах. Мне казалось, что я похож на чапаевского адъютанта Петьку Исаева, но он даже не знал, кто такой Петька Исаев.

Ходил он медленно, косолапо, за самое простое дело брался, основательно подумав, даже к буханке хлеба, прежде чем отрезать от нее краюху, долго примерялся и сопел. И совершенно не умел об-

ращаться с оружием! Само слово «оружие» требовало стремительной четкости движений, расторопности и смекалки, он же принимался чистить винтовку так, словно хомут починал. Обкладывался со всех сторон ветошью и ружейным инструментом, неуклюже поворачивался то за тем, то за другим. А разобрав затвор, никогда не мог собрать его сам, без посторонней помощи. С затвора у нас и началась...

— Эй ты, недотепа! — не выдержал я однажды, наблюдая, как пружина затвора то и дело выпрыгивает из его корявых пальцев. — У тебя что, руки дубовые? А ну, смотри!

И я за пару минут, с закрытыми глазами, собрал затвор. Меня поразило, что он ничуть не удивился: далеко не все наши хлопцы могли собрать затвор с закрытыми глазами, разве что Хасанов, так ведь он еще до войны пять лет прослужил в армии.

— Понял? — сказал я небрежно. — Это тебе не лапти плести!

Он молча взял затвор, стал запикивать его в казенную часть, но затвор не входил, потому что он забыл «утопить» держатель. Я хотел взять у него винтовку, но он не дал, угрюмо оттолкнул меня локтем.

— Держатель утопи, ты, недотепа! Прижми пальцем эту штуковину, вот здесь!

Он опять оттолкнул меня локтем, побагровел, засопел, справился наконец с затвором и спустил курок. Ствол винтовки был направлен на меня, и я резко толкнул его вверх.

— Ты что?! А если у тебя патрон в патроннике? Спускаешь курок, держи винтовку дулом вверх. Вот так! Оружие, брат, раз в год само стреляет.

Он изо всех сил рванул винтовку к себе, глаза его дико свертнулись.

— Отцепися, щанё!

Я расвирепел:

— Ты, тюха! Я тебе дам — щанё! Партизан лапотный! Чаго-каго-пусти повалюся!

Но он уже не смотрел в мою сторону. Положил винтовку на нары, сел на березовый чурбан у печурки, стал зачем-то переобувать лапти. Долго разматывал, а потом наматывал онучи, пыхта, подвязывал их крест-накрест оборам до самого колена. И все это так, словно косить собирался, а не на пост. Переобулся, притопнул лаптями, взял винтовку подмышку, как жердь или косу, и вышел из землянки.

С тех пор и повелось: что бы я ни говорил ему, всерьез ли, в шутку ли, он отмахивался от меня, как от малого дитяти: «Ат, щанё...»

И вот мы вместе оказались в дозоре. Дозор этот спокойный, на берегу мелкой и узкой речонки Исloch. За Исlochью стояли когда-то три деревушки — Янково, Пески и Борки. В блокаду их сожгли, и остались посреди поля только печные трубы, пугала на былых огородах да уцелевшие кое-где плетни. Далеко на горизонте — красный шпиль костела и голубая луковка церкви. Там — местечко Солтысы и в нем — полицейский гарнизон. Наш отряд громил этот гарнизон дважды, полицаи сидят тихо, не высываются, а если вздумают сунуться сюда, к лесу, мы их сразу видим — впереди голое поле. Иногда на пепелища сожженных деревушек приходят бабы и ребятишки, роются на былых подворьях, что-то ищут. Нас они не видят за кустами смородины, поречек, как здесь говорят, хотя знают, что партизаны рядом — наш костер днем дымит в открытую. Полицаи в Солтысах тоже видят этот дым даже без бинокля, но что они могут нам сделать? Это им не

сорок второй, а июнь сорок четвертого. Теперь не мы, а они зажаты со всех сторон.

Дозор трехдневный. Сиди себе у костра, пеки картошку, присматривай за лошадей, которая пацетса неподалеку, стреноженная, загорай, кулайся в Исloch, — есть в ней одно глубокое место, там, где бомба взорвалась в начале блокады. Ночью двое остаются в шалаше, вернее — у шалаша, а двое переходят на ту сторону Исloch и устраиваются в окопчике, вырытом на берегу. Смена в окопчике длится два часа. Надо, конечно, смотреть в оба, но опасности почти никакой. Скучный дозор!

Но Нелюб вел себя беспокойно, просто места не находил. Когда стемнело, он поминутно уходил от костра, топтался в кустах, вздыхал, кашлял, сморкался. Вернувшись, присел к костру, молчал подавленно и, не мигая, смотрел на огонь. Лицо его стало бледным и каким-то изможденным, старым. Я был уверен, что он трусит и, встретившись с его тоскующим, затравленным, как мне казалось, взглядом, презрительно сплевывал на поленья костра.

Ближе к полуночи мы затоптали костер, и Хасанов отправил в окопчик первую смену — меня и Нелюба. В окопчике Нелюб тоже не находил себе места, никак не мог улечься поудобнее, ворочался и толкал меня плечом. Я посмеивался про себя, равнодушно внешне, но зорко смотрел в сторону Солтысов — там полицаи каждые четверть часа пускали осветительные ракеты. Бледные отсветы, как сполохи далекой грозы, доставали до нас, и в этом призрачном свете лицо Нелюба казалось помертвевшим от страха.

Мы пролежали всю смену, не перемолвившись и словом, а утром случилось это...

Больше всего меня бесило, что он ничему не верит. Неверие его было непробиваемое, каменное, несокрушимое. О чем бы мы ни говорили, о чем бы ни вспоминали, что бы ни рассказывали, он смотрел на нас с понимающей ухмылкой, как на цыган, продающих старую клячу. Это была дремучая и в то же время хитрая ухмылка ушлого мужика, которого не проведешь. С этой своей ухмылкой он слушал рассказы Аксютин о его житье-бытье в разных больших городах (Аксютин исколесил всю страну, сменил десятки профессий), раздражающе хмыкал, слушая, как Хасанов вспоминает о своей службе на Севере и на Дальнем Востоке, как рассказывает о жизни чукчей и нивхов. Чукчи, нивхи и вообще все неведомые Нелюбу народы представлялись ему сказочными, он явно сомневался в реальности их существования.

— А что яны ядуть, гетья люди? — спрашивал он Хасанова. — Аду рыбу? Як жа яны зусим без хлеба?

И улыбался с таким видом, будто ему доподлинно известно, что нет и не может быть таких людей, которые обходятся без хлеба, сала и бульбы, которые живут не в хатах и не пахут землю.

Но если подобное невежество я еще мог терпеть, то невежество политическое окончательно выводило меня из себя. А он порол черт знает что!

— А правда, что у коммунистов жонки общие? А чаму у Советов танки были фанерные?

— Танки фанерные! — негодуяще фыркнул я. — Фанерой фашистов бьем, да? Где ты видел фанерные танки?

Но он, как всегда, не слышал меня, будто меня здесь и не было, заговорил о другом — о колхозах.

— А правда, што калхозники усе разам жывьуть и с одной миски затирку сёрбают?

— Сколько мусора у тебя в голове! — засмеялся Аксютин. — Вырос под небо, а дурень, как треба! Колхозники каждый в своей хате живет, и корова у каждого своя и кабан. Просто работают вместе, сообща. Ну, вот, здесь у вас имение при поляках было — мужики в нем работали? Только они на пана Годлевского работали, а в колхозе — на себя. Так же, как, к примеру, в имении, только на себя. Понял?

Нелюб хихикнул:

— У колхозе добра жить, один робить — восемь спить!..

— Вот сделают тебя после войны колхозным бригадиром, — весело сказал Аксютин, — посмотрим, как у тебя твои колхозники спать будут! А что? Ты партизан, боевой хлопец — непременно бригадиром сделают!

Но Нелюб только ухмыльнулся насмешливо, хмыкнул и сказал, ковыряя палкой в костре:

— Слух ёсть, што посля вайны калхоза не буде. У вас там, у Расии, можа, и буде, а тут — не...

— Тебе что, колхозы не нравятся? — Я подобрался весь, и какая-то жилка затрелетала у меня в горле. — Чего ж ты в партизаны пришел? Топай в Солтысы — там таких много!

Он опять раздражающе хмыкнул, нагнув голову, стал палкой выкатывать из золы печеную картофелину. Я пнул палку ногой.

— Чего молчишь?

— Спокойно, Костя, — добродушно сказал Аксютин и предостерегающе сжал мое колено. — Горячиться нечего. Не понимает парень...

— Нет! Пусть он скажет, почему к нам пришел, а не в Солтысы! Колхозы ему не нравятся! — И я снова пнул ногой палку, которой Нелюб ворошил костер. — Куркуль!

Он вдруг вспылел, затрясся, неловко замахнулся на меня палкой, как на собаку, которая назойливо лезет под руку:

— Отчепися, щанё!

Кровь хлынула мне в лицо. Я вскочил, рванул с плеча карабин, отступил на шаг. Он не успел даже испугаться. Только Хасанов среагировал: в последнее мгновение ударил ногой по стволу карабина...

...Из шалаша вылез Хасанов и направился к кустам, — я услышал, что он ловит лошадь, покрикивает и чертыхается. Скоро он вернулся, ведя ее в поводу, стал запрягать. Телега стояла рядом с шалашом, под навесом из еловых лапок.

Упираясь ногой в оглоблю, Хасанов затянул супонь, обеими руками проверил, плотно ли сидит хомут, потрогал гужи, вывел лошадь из-под навеса, развернул телегу бортом к шалашу.

— Аксютин! Конь готов!

Я решил, что Аксютин, должно быть, повезет Нелюба в отряд, но он, выйдя из шалаша, направился не к телеге, а прямо ко мне. Я медленно поднялся ему навстречу, но Аксютин, не глядя на меня, прошел мимо, мотнув головой: иди, мол, за мной...

Минут пять он молча вышагивал впереди, хлестал по голенищу сапога тонким прутом, и вдруг круто обернулся.

— Ну, что? Прострелил плечо хлопцу? Теперь месяц ему в госпитале валяться... А если б убил?

Я встретился с ним взглядом и опустил голову — он смотрел на меня колючими, чужими глазами.

— Чего потупился? Дрейфишь? Правильно, что дрейфишь! Ишь, взбесился!.. За такие штучки, да еще в дозоре с тобой, знаешь, что надо сделать?

— А чего он... против колхозов!.. Говорит, как переодетый полицай!.. — Я с трудом разлепил запекшиеся губы, сглотнул горький, клейкий комок,

Аксютин отшвырнул прут, молча полез в карман за кисетом, стал сворачивать сигарку. Свернул, долго щелкал зажигалкой, прикурил наконец и, отмахнув ладонью клуб дыма, посмотрел на меня пристально и оценивающе, словно впервые увидел. Усмехнулся одними губами.

— Против колхозов... А что он знает о колхозах? Здесь Западная Белоруссия — забыл? Он при Советской власти и двух лет не прожил. Садись! — Аксютин кивнул на пенек. — Садись, потолковать надо...

Я сел на пенек, и он тоже сел, вернее, прилег рядом со мной, быстро стал докуривать сигарку. Докурил, решительно вдавил окурочек в мох, но долго еще молчал, глядя на меня все так же пристально и оценивающе. Но вот он переменял позу, сел и сказал глухо, глядя теперь не на меня, а куда-то в сторону:

— Я вот что тебе хочу сказать... Не нужно, чтобы в отряде узнали, за что ты в него стрелял... Понял?

Тут он остро посмотрел мне прямо в глаза и снова отвел взгляд.

— Найдутся такие, которые политику ему пришить могут... А какая тут политика? Темный он парень, ничего, кроме хутора своего глухого, не видел никогда... Так что...

Он снова посмотрел мне в глаза и теперь уже продолжал, не отводя взгляда — внимательного, прямого, а голос звучал все так же глухо — совсем не аксютинский голос...

— ...выстрел был случайный, понял? По неосторожности. А то начнут разбирать: что говорил, да как говорил, да кто слышал. И ему плохо придется, и тебе не поздоровится — за самосуд по головке не поглядят!.. Да и зря ты! У него в блокаду здесь, под Янковом, каратели всю семью сожгли — мать, отца, сестер... Ты думаешь, он почему вчера весь вечер как пришибленный ходил? Янково за речкой!.. А ты в него — пулю!..

Я молчал, стараясь не смотреть Аксютину в глаза.

— Ну, как? — спросил Аксютин. — Договорились?

— А... он? — говорить мне все еще было трудно, колючий колосок все еще стоял в горле. — И Хасанов...

— Хасанов само собой, — сухо сказал Аксютин. — А ему тоже раззванивать нечего. Не маленький. Только... — Он помолчал, прищурился, глядя на меня так, словно издали рассматривал, покусал нижнюю губу. — ...я тебе вот еще что хочу сказать... Это хорошо, что ты за все наше, советское, горло готов перегрызть. Но в народ, даже если он не прав, стрелять нельзя! Запомни это, парень... И не вытаращивай на меня глаза! Я ведь знаю, что ты думаешь — разве ж Нелюб народ?.. Однако же без таких вот Нелюбов мы и дня бы не продержались! Сосчитай, сколько мы за два года партизанщины хлебущка съели, сала, картохи, сколько коров извели? А такой Нелюб этот хлеб сеял. Для тебя, дурака. А ходим мы в чем? Не в его ли портках домотканых? Портянки у тебя сопреют, где новые берешь? Не у Нелюба ли? А хату его спалили за что? За то, что ты дневал в ней и ночевал. И что ж ты думаешь, он не знал, что хату спалит и семью могут спалить? Знал, брат, однако привечал тебя в этой хате, последний шмат сала от полицая прятал, а от тебя нет. Потому наша война и называется народной, что весь народ за нас. Нелюб этот, хоть и темный, а за нас!

— А мы что, не народ? — тихо спросил я и впервые за все время нашего разговора сам осмелился посмотреть Аксютину прямо в глаза.

— Мы народные мстители, — сказал Аксютин и вдруг прежняя его улыбка, озорная, чуть лукавая,



засветилась у него на лице, колющие буравчики в глазах пропали, глаза стали насмешливыми, но насмешка эта была своей, дружеской.— Однако, что касается тебя, то не мешало бы тебя просто выпороть как следует, нагайкой по голому месту или шомполов всыпать! Хасанов, между прочим, предлагал!..

Он встал, улыбаясь, стряхнул с колен и рукавов сосновые иглы, сдвинул на бедро сползшую на живот кобуру парабеллума.

— Пошли, стрелок! — Я пошел впереди, и он сказал за спиной, снова сухо и жестко: — Нелюба повезешь в отряд сам! Рана не опасная, я перевязал, но надо в госпиталь.

...Хасанов и Аксютин усадили Нелюбу на телегу, спиной к борту. Винтовку Хасанов положил Нелюбу на колени. Нелюб сидел бледный и какой-то неузнаваемый — строгий и очень взрослый. Я только теперь увидел, какой он взрослый и сильный, несмотря на то, что ранен. Дай он мне хорошую затрещину, я бы кубарем полетел...

— Карабин, — тихо попросил я. — Карабин отдайте. Мало ли что...

— Карабин! Деревянную цацку тебе, а не карабин! — сверкнул глазами Аксютин и протянул мне моего «бельгийца». — Шибко не гони, не тряси хлопца. Кровь может опять пойти...

— Сразу госпиталь надо! — сказал Хасанов. — Лагерь штаба бригада. Потом отряд поедешь. Доложишь: случайно стрелял, патрон забыл...

— Оружие раз в год само стреляет, — усмехнулся Аксютин. — Флягу вот возьми. Ему пить надо! — И

он снял с пояса немецкую флягу в войлочном чехле, протянул мне. — Трогай!

— Трогай, — сказал Хасанов, полез в карман галифе, пошарил в нем, словно хотел вынуть что-то, но не вынул, — должно быть, ту мою стреляную гильзу...

Спокойно шумел просвеченный солнцем лес, чуть покачивались прямые строгие сосны, перекликались тоненькими свистами пеночки, отчетливыми звуками, точно кто-то постукивал камешком о камешек, давала о себе знать овсянка. Трещал валежник под колесами телеги и где-то далеко-далеко рокотал гром. Я сперва так и подумал, что это гром, и посмотрел на небо, но вдруг догадался — фронт! Уже вторую неделю — по вечерам и на рассвете — мы различали этот глухой гул, а теперь я услышал его днем. Радостными, тревожными толчками забило сердце, и я повернулся к Нелюбу, забыв на миг обо всем.

— Фронт! Слышишь? Наши близко!

Он не ответил, закрыл глаза, коротко и трудно вздохнул, будто всхлипнул, облизнул запекшиеся губы. Я остановил лошадь, отвинтил крышку фляги и протянул флягу ему. Я держал ее у самых его губ, кадык дрожал у него на горле, трепетали закрытые веки, и слезы дрожали на ресницах. Я терпеливо ждал, и он вдруг раскрыл глаза, распахнул их — синие, огромные, и боль в них была, и обида, и снисхождение... Он не то поморщился, не то улыбнулся, шевельнул здоровым плечом.

— Эх ты, щанё!..

И взял флягу.

г. Минск.



**Вадим
Халунович**

На берегу

Солдат был высечен из камня.
А женщина невдалеке
Живая, грудь прикрыв руками,
Сбежать готовилась к реке.
Упавшие с нее одежды
Лежали горкой возле ног.
Она была, как та, что прежде...
Но он о том сказать не мог.
Нагая, словно голос сольный,
Звучала. Ветр над ней гудел.
Глазам от света было больно,
Когда он на нее глядел.
На это тоненькое тело.
На этих рук небрежный взмах.
Ее улыбка шелестела
На каменных его губах.
И в камне поднималась нежность.
И скулы были сведены.
Как будто не было войны.
А только миг и неизбежность.

☆

Когда проходными дворами
Ты утром на службу идешь,
Свершается все по программе:
Прохожие, ветер и дождь.

И в ватнике заспанный дворник,
Сгоняющий лужи метлой...
А пятница это иль вторник,
Неважно. Пиши с похвалой

Про этот порядок извечный,
Про этот дымок над трубой,
Про этот такой быстротечный
И вечный рассвет над тобой.

☆

Прекрасна мать, кормящая дитя,
Сидящая в своей извечной позе.
Лицо свое к ребенку обратя,
Она, наверно, думает о «прозе»:
О молоке, которым грудь полна,
И о приятной жадности ребенка,
О том, суха ли у него пеленка...
И видно, как она утомлена.

Овал ее уставших плеч покат.
В глазах ее — песок ночей бессонных.
И в нас, ее улыбкой потрясенных,
Как будто грома дальнего раскат.

Мне кажется, что я один стою
И вижу лик с такою же улыбкой.
Другой, пусть неотчетливый и зыбкий,
Но сладостный. Его я узнаю.

Он надо мной заботливо склонен.
Он что-то повторяет мне невнятно...
Но это ведь совсем невероятно!
Быть мамой моей не может он!

И все-таки она! Перенесен
В предбытие, я вижу мир забытый...
А на холсте мадонну клонит в сон.
Малыш сосет. Глаза его открыты.

□ □ □



**Александр
Шклярский**

☆

Как некая стихия доброты,
Встречая зло, не делаешься ты
Воителем.
Так добр цветок, и так добра вода,
А люди это чувствуют всегда
Найтием.
Ты — женщина, каких теперь уж нет,
И каждому ты словно даришь свет
Единственный.
И каждый, будь то недруг или друг,
Тобою начинает клясться вдруг,
Как истиной.
Мадонною почти наверняка
Тебя бы звали в прежние века
Торжественно.
Так ровно светит эта доброта
И так мила в ней каждая черта,
Так женственна.
Но, верно, есть и доброте предел...
Я вижу — круг знакомых поредел
Украдкою.
Ведь в этом мире каждый хочет знать,
Кого своим, кого чужим назвать
Пред схваткою.

Базар

Базар... Так вот каков базар —
Плодов сплясшее кипение:
Орехи крепче, чем базальт,

И груши нежные, как пена.
 Пузатый глобус кавуна
 Лежит с болгарским перцем модным,
 И мутная бутылка вина
 Бок о бок с молоком холодным.
 Немыслимо все съесть...
 А хочется.
 С утра шатаюсь у лотков
 И отдаю глазами почести
 Плодам земли... Так вот каков
 Базар, нетронутый, как встарь
 В горах республики союзной...
 Грузин в арбуз втыкает сталь
 И проливает сок арбузный.

□ □ □



**Александр
Шевелев**

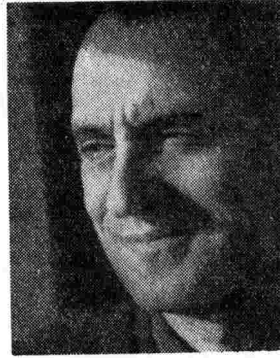
Гроза

Шторы разведу и обомлею,
 Посмотрев в окно,
 и вот —
 Вновь увижу старую аллею,
 Словно в подземелье ход.
 В черное одеты, с узелками
 Женщины вдали.
 Но закрою я лицо руками,
 А открою —
 И уже прошли...
 На другом краю аллеи
 где-то
 Их осветит молния на миг...
 Но душа прошедшими задета
 И всю ночь тревожится за них.

Довоенная музыка

Пластинка крутится и вертится,
 И тем далеким голосам
 Мне как-то верится, не верится,
 А почему, не знаю сам.
 Что ни виток, то откровение.
 Я по виткам бегу, бегу.
 Чужой судьбы возникновение
 Ищу на склеенном кругу.
 Чужого голоса дрожание,
 Чужая радость и тоска...
 И музыка, как наказание,
 Дрожит у самого виска.

□ □ □



**Михаил
Головочкин**

У школы

Война пришла в июне — душным летом,
 Висела над домами синева,
 Я не сказал друзьям слова привета —
 Последние прощальные слова.

По-разному росли мы и выросли
 И становились жестки и тверды,
 Под надписью «Опасно при обстреле»
 Остались детства нашего следы.

Они под камнем спрятаны, зарыты,
 Теперь другие здесь ученики,
 На этих узких тротуарных плитах
 Они, как мы, сбивают каблук.

А я стою, стою в оцепененье,
 Сутулый, с горькой складкою у рта,
 Шепчу с мольбой: «Вернись хоть
 на мгновенье
 Тех прошлых лет тепло и чистота».

☆

Вот понемногу умолкает город,
 Весь день он дробно грохотал во мне,
 Теперь дневная выключена скорость
 И вечер наступает в тишине.

Ровнее постепенно бьется сердце —
 Ему ведь нужен иногда покой,
 Лишь ветер рвется в комнату согреться,
 О стекла трется стылою щекой.

Бывает с каждым. Просто вы устали,
 Устали нервы. Только и всего.
 А девочка играет на рояле,
 И дела нету ей ни до чего.

Она играет за глухой стеною,
 Тончайшую мелодию прядет,
 Усталость дня пока еще со мною,
 Но скоро обязательно пройдет.

А звуки мчатся бурно и тревожно
 И пробивают толщину стены.
 Она играет нежно, осторожно,
 Совсем не нарушая тишины.

□ □ □



Дмитрий Холендро

ДВА РАССКАЗА



ПРОЗА

1. Бармалей

Рисунки М. Лисогорского.

Всю ночь в форточку дул холодный ветер. Ирка сжималась калачиком под одеялом, но ее все больше колотило, никак не могла согреться, а встать и закрыть форточку не хватало ни сил, ни сообразительности. Не спалось. То ли от этой уличной стужи в комнате, то ли от невеселых мыслей. И к утру Ирке показалось вдруг такой вот безнадежно невеселой вся предстоящая жизнь. Ирке было уже за двадцать, хотя она сохранила еще какое-то несерьезное девчоночье лицо с большущими глазами, и ощущение унылого будущего испугало ее, как неслучайное, несмотря на свое «вдруг». Да, неслучайное и некороткое.

Была какая-то ночь, похожая на прощание.

Ирке вспоминались разные знакомые мальчишки, хорошие фразы, которые она от них слышала, она даже ласково улыбалась им под одеялом, но этим мальчишкам, этим молодым людям, Ирка не могла ответить такими же хорошими фразами ни тогда, ни сейчас. Мальчишки были уже далеко, и фигурально и натурально, — кто уехал на работу в другие города, кто еще жил в Москве, но давно не звонил, не справлялся о ней, все равно был далеко. Так же вдруг прошедшая жизнь показалась Ирке потерянной. А может, и не вдруг, это накапливалось и подстерегало ее давно. Что-то кончилось, а ничего не началось. И, похоже, не начнется.

До сих пор она пряталась от этих мыслей в работу. Ирка самоотреченно работала. Правила к последнему экзамену старые «картинки», которые она

как-то сразу переросла, кое-что даже не правила, а переписывала. Пейзажи, портреты, обнаженная натура... Когда-то, когда она делала все это впервые, кисть, как говорится, играла в ее руке, уверенно лепила на полотнах яркие пятна, и неважно, что это было недавно. Сейчас это стало, независимо от Ирки, давним когда-то. Она работала до изнурения, до изнеможения, почему-то без азарта, без радости, без проблеска, получалось еще хуже. Все ей не нравилось... Совсем. Засыпала она в тоске, на диване, даже не прибрав в комнате и вдыхая запахи красок.

Раньше Ирка замечала, как во сне у нее дрожали ресницы, готовые подпрыгнуть, будто ей вот-вот покажут что-то интересное. Сейчас она спала крепким сном, без ожиданий... Да, видно, для нее все кончилось, в двадцать лет-то! А жизнь продолжалась... И вот пришли эта ночь без сна, это февральское утро.

Ирка не заметила, как посветлело окно, посмотрела — уже. В комнату вошла мама, Ирка закрыла глаза, прикинулась спящей.

— Ира, — сказала мама. — Ты опоздаешь. Вставай.

Добрая мама говорила отрывисто, быстро. В последнее время с Ирой иначе было нельзя: она и двигалась нехотя, вяло. Мама стала командовать:

— Шевелись.

Ирка зевнула для вида и влезла в халатик, брошенный мамой з ноги. Надо было умываться, надо было тащить пухлую папку с «картинками» на сту-

дию, главному художнику, который вчера, по телефону, с деловой любезностью обещал посмотреть все это и решить ее, Иркину, судьбу. В институт со студии прислали заявку на художника-декоратора. Ирку спросили в деканате: «Не соблазняет? У вас есть жилка, в ваших композициях все немножко декоративно. Подумайте». Она подумала: «А почему бы и нет?» Но прежде чем заявить комиссии по распределению о своем желании, набралась духу и позвонила главному художнику, пусть он сначала глянет. Вечером она тщательно отбирала, что показать. Оттого, что ничего не нравилось, набралось много.

Потащит, повезет... А зачем? Зачем все?

Ирка открыла краны, присела на край ванны и заплакала. Вода шумела, и плакать можно было несдержанно, а то ведь из-за боязни огорчить родителей и не поплачешь свободно. Негде даже поплакать. Ну и жизнь! Почему же так тяжело жить? Потому что много людей вокруг? И все командуют: куда, как, зачем. В сущности, она, Ирка, была робкой девушкой, все хранила в себе, никому не доверяла своих сомнений. Все равно не помогут. Разговаривать, конечно, приходилось, и она говорила, что ей хорошо, и компания у нее хорошая (а компания разбрелась), и в институте хвалят (еще бы, надо же выпустить), и перспектива намечается (а что еще скажут на студии, главный художник не брат милосердия). Ирка слышала его голос: «Вы взялись не за свое дело, милая». Благодушный, но безапелляционный... И поблескивали стекла очков...

«Пойду хоть декорации малевать по чужим эскизам, не художником, а маляром», — подумала Ирка и вытерла лицо.

А когда увидела маму и отца за крохотным столом в кухне, сказала:

— Вот что, родители. Я никуда не поеду.

Оторвавшись от газеты, отец поднял на нее глаза:

— Почему?

— Потому что я так решила.

— Ну, а почему ты так решила?

— Мне нечего показывать на студии. Я бездарность. Вот и все.

Ирка села к столу и придвинула к себе творог, поковырялась и отложила ложку. Есть не хотелось. Ничего не хотелось.

— Ты же отобрала свои лучшие работы, — в жалком, почти рыдающем тоне сказала мама.

— Именно они все бездарные.

— Все? — испугалась мама.

— Все.

— Открытие, конечно, немаловажное, — сказал отец. — Но хорошо бы сделать его на первом курсе.

— Да, хорошо бы, — согласилась Ирка. — Не сделала... Но сомнения гложут меня давно...

Она наклонила голову, чтобы не видеть слез в маминых глазах, но тут же почувствовала, как это нехорошо — ударить и спрятаться. Они же ни в чем не виноваты...

— И куда же ты намерена свои стопы направить после института? — спросил отец, вытирая желтые от яичницы губы.

— В почтовый ящик.

— Мы тебя не шутя спрашиваем! — еще больше расстроилась мама.

— Я не шучу. У нас есть заявки с каких-то заводов.

— Что ты там будешь делать?

— Упаковку.

Отец помолчал.

— Сейчас некоторые большие заводы выпускают детские игрушки из отходов основного производства. Для такого вспомогательного цеха может по-



надобится художник. Но бездарности там тоже будет нелегко.

— Ну, тогда перемену профессию. А что еще?

— Но ведь ты обязана отработать два года. Получилась — повози саночки.

— Значит, пойду, куда направят. Отработаю.

— Опять дерзости! — вскрикнула мама.

— Никаких дерзостей. Говорю правду.

— Я бы на твоём месте съездил на студию и показал хоть что-то. Надо же оправдать вчерашний

звонок. Может быть, ты бездарность, не спорю, но нельзя же быть еще и несолидным человеком.

Начинались отцовские нравоучения. Отец раздражался, повышал голос.

— Сама позвонила, тебя ждут!

— Нужна я им!

— Пусть они и скажут, что не нужна! Надоело этот самосуд, это нытье, эта...

— Папа! Я не ною. Я так чувствую!

— Очень чувствительная натура!

Ирка быстро оделась, взяла папку и вышла. Папка была метровая, серая, перевязанная серым шнуром. Небо было серое, как папка, без солнца. Асфальт был серый. И снег серый, как асфальт. И воздух. Папка задевала о грязный снег, била по ногам.

На углу Ирка остановилась и огляделась в поисках такси. Нет? Ну и хорошо. Она вновь решила, что куда не поедет. Ирка сама начала принимать решения. Сейчас зайдет в маленькое кафе напротив, посидит там часик за чашечкой кофе, вернется и скажет дома просто: «Ничего не понравилось». На такси ей дали два рубля, деньги есть. Побродила бы еще, да папка мешает. И утро такое, словно другого никогда не будет, никогда через корку похожего на асфальт снега не пробьется трава.

Ирка хотела перейти дорогу, за которой серыми стеклами отгородилось от улицы кафе, но увидела, что издалека к углу, где она стояла в своей задрипанной дубленке и зеленом шерстяном капюшоне, задним ходом быстро сдавал «Москвич». Совсем новенький, красный, но серый, потому что был заляпан, забрызган грязью до самой крыши. Он так отчаянно вилял, что Ирка удивилась: «Ненормальный какой-то за рулем. Сам разобьется или разобьют». Водители других машин засигналили «Москвичу», зашарахались от него в стороны, а он все пятился, все вилял, все спешил, пока не остановился возле Ирки. Распахнулась дверца, и молодой голос торопливо сказал:

— Садитесь!

«Левак», конечно, был лихой. Очень, вероятно, нуждался в рублике. Прохожие, которые остановились и смотрели на «Москвича», теперь стали плясать глаза на Ирку. Ирка застеснялась и полезла в машину, натываясь на собственную папку. Шофер схватил папку, помог втиснуть и бросил на сиденье. Поехали.

Шофер выглядел лет на тридцать или около. Был он в летной куртке, в зимней мохнатой шапке, надвинутой на глаза, курносый и с красным, вероятно, от натуги, лицом. Эта сотня метров задним ходом дала себя знать.

— Обошлось,— сказал он Ирке.— Ни одного инспектора. Вы везучая девушка. Призаймите мне везенья, если не жалко.

— Зачем?

— Не помешает.

— Вам не везет?

— Везет! Еще как! Думаете, я вас везу? Это мне повезло.

Ирку покорило. Еще чуть проехали, пока она спохватилась и приказала:

— Остановите, я сойду.

Он усмехнулся.

— Один писатель, кажется, американский, или английский, назвал свой роман «Остановите землю, я сойду!». Очень образно, я понимаю, но куда же сойти с земли? Вот в чем вопрос. Туда, где все будем? Раньше срока? Ну, уж нет! Еще покрутимся в свое удовольствие. Я вас испугал? Не смотрите на меня так, будто я вас проглочу. Я страшный?

— Как Бармалей,— сказала Ирка.

— Меня зовут Коля. А вас?

Ирка опять посмотрела на него недобро.

— Простите,— сказал он.— Не хотите, не называйтесь. Оставайтесь прекрасной незнакомкой. Как хотите. Я проехал, увидел — девушка с тяжелой папкой ждет такси. Почему бы не помочь ей? Захотел и сдал назад. Человек должен делать, что он хочет. Хотя в ничтожно малом. А может, и в большом. Но это уже, наверно, счастье, а? Правда? Это редко бывает. Но бывает. Как по-вашему?

— Остановите,— еще раз попросила Ирка.

Он улыбался еще откровенней, во весь свой широкий рот.

— Сойдете и останетесь на перекрестке. А вам надо же куда-то ехать. Я молчу, как рыба. Только спрошу: куда?

Ирка растерялась и назвала первую пришедшую на ум улицу.

Он вздохнул.

— Это близко. Я знаю Москву.

— Водителю полагается.

— Но там, по-моему, нет ни одного учреждения.

— Я еду к подруге.

— С такой большой папкой?

— Да.

— Может быть, правда зайти к Веронике? Начнутся расспросы, уговоры. В тот же день об этом узнает пол-Москвы. А шофер уже спрашивал:

— Какой дом?

Она сказала.

— Ну, вот эта улица, вот и этот дом.

Ирка медлила.

— По-моему, вам надо не сюда. Признавайтесь.

— Зачем?

— Я вас отвезу. Ну?

Ирка подумала и назвала театральную библиотеку. Много вечеров она просидела там, листая альбомы и разглядывая костюмы разных эпох. Жеманные дамы и галантные кавалеры, купцы и купчихи, мебель от Людовика до наших дней. Что же, посидит в тепле и посмотрит на них еще.

— Вы уже начали мне признаваться,— болтал шофер.— Признавайтесь же: кто вы?

— Москвичка.

— Уже хорошо.

— Почему?

— Вы москвичка, я москвич.

— И что?

— И все. Однажды москвичка и москвич ехали на «Москвиче» по Москве. Посмотрите, стоят такси. Сколько много! И все без водителей. Они сидят в закуской и завтракают. Это их фирменная забегаловка. Лучше сказать, заезжаловка. Никого не сажают здесь для порядка. И вы никуда не уедете отсюда. А ведь вам надо не в театральную библиотеку. Туда, куда вам надо, вы боитесь ехать.

— Откуда вы знаете?

— Телепатия. Все угадываю.

— Нет, интересно, как?

— У меня есть хороший помощник.

— Кто?

— Собственный опыт. Только я, если пугаюсь чего-то, просто бегом бегу туда. Со всех ног.

— Почему?

— Ну, это как зуб вырвать. Чем скорей, тем лучше. И, наверно, от стыда перед самим собой. Страх, ведь это какое чувство? Самое стыдное. Преодолевать приходится. Знаете, как я испугался, когда увидел вас? Проеду, проеду... и остановился и во все лопатки назад.

Не снижая скорости, они оставили за собой театральную библиотеку, сделали поворот, другой, вы-



катили на широкую магистраль и стали петлять вокруг гостиницы «Москва». Уличные часы показали Ирке, что ей пора бы уже сидеть в кабинете главного художника студии.

— Так и будем кружить? — спросил Бармалей.

— Остановите где-нибудь.

— Не хочу. Принципиально.

— У вас есть принципы?

— Без принципов нет характера. А бесхарактерность, как сказал философ Монтескье, француз, судя по фамилии, хуже любого зла.

— Какие же у вас принципы?

— Не бойсь. Не спай лишнего. Не висни носа. Видите, какой я от этого курносый? Видите?

— Вижу.

— Верь глазам своим.

— Десять заповедей.

— Больше. Не надувай. Не надувайся. Это разные понятия, заметьте. Кроме «не спай», есть «не дремай». Тоже разные вещи. Вот вы думаете, что я говорю с вами, как с ребенком, а ведь это заповеди не детские. Действительно, опыт жизни.

Стрелки часов, под которыми они еще раз проехали, прыгнули на глазах.

— Вы живете по своим заповедям?

— Я их только сейчас придумал, лучше сказать, сформулировал. Признаюсь согласно заповеди: «Не надувай». Знаете, у меня осталось мало времени. Свободного времени. Куда рулить?

Ирка вздохнула и назвала адрес студии.

— Уж не артистку ли я везу?

— Увы, нет.

— А-а! Балда! У вас там картинки, в папке? Для будущего фильма? Какого?

Ирка подивилась, что у него само собой выскочило ее слово «картинки», но сказала хмуро:

— Там картинки, но не мои. Их нарисовал...

— Гений.

— А я везу на студию. Я курьер.

— Ну вот... Я с вами честно, а вы...

— Честный и храбрый человек! Вы завияли задом и вернулись на своем «Москвиче», потому что на углу стояла просто девушка с тяжелой папкой? Не надувай!

— Хм... гм... Сейчас... Нет, не просто девушка. А красивая девушка. Быть может, даже очень красивая. Я вас разглядеть не могу. Вы выглядываете из своего капюшона, как птенец из яичка. Огромные глаза. У вас замечательные глаза.

— Да уж!

— Это факт. Другие факты — волосы, щеки — станут известны, когда вы снимете капюшон. Боюсь, для меня они так и останутся тайной. К тому же, согласно правилам ОРУДа, я не могу отвлекаться от уличного движения и разглядывать только вас. Ну вот, вы еще надели темные очки, застрявшие в дубленке с последнего солнечного дня. Коля, умри. Слушайте, это очень противно, что я болтаю? Никогда не считался болтуном. Я ведь просто хочу с вами познакомиться.

— Вы же обещали помолчать, товарищ Коля. Как рыба.

— Ученые открыли, что рыбы звукопроизводящи и звуковосприимчивы. Лучше я буду молчать, как камень. Камень в старину заменял бумагу. На камнях высекались даже купчие, по которым установили, что взятка родилась еще до нашей эры. Только тогда она называлась проще и благородней. Подарок. А подарки были ого-го! Зерно, вино, домашний скот и даже рабы! Все это тоже высекалось на камне. Чего не могли написать пером за отсутствием последнего, то вырубали топором. Чтобы без обмана. Ничего себе? Я прочитал это в журнале «За рубежом». Любопытно?

— Ничего себе.
— Какое впечатление я на вас произвожу? Как по-вашему, кто я?
— Клоун?

Он рассмеялся. Просто хохотал, как будто Ирка сказала что-то очень смешное. Потом посмотрел на нее, она сказала:

— Извините.
— А я не обиделся. Еще одна моя заповедь: никогда не обижаться на того, кто не в духе.

— А вы бываете не в духе?
— Но я с этим борюсь. «От плохого настроения бывает только плохое настроение».

— Еще одна заповедь?
— Нет. Это слова моего покойного отца. — Он помолчал, заломил шапку на затылок. — Хорошее сегодня утро.

— Чем же оно хорошее?
Но он не ответил. Съехали с моста, свернули под мост и покатались по набережной Москвы-реки. И пока катились, обгоняя троллейбусы и пропуская «Волги», фургоны, грузовики, он молчал, поглядывая на Ирку. И ехал все тише. Два раза пристраивался за троллейбусом и тащился за ним до того медленно, что даже мотор гудел недовольно, ворчал. Москва-река лежала еще замерзшая, неживая, тоже серая. А склоны гор над ней белели, туда не поднималась городская мгла.

— Все, — сказал Коля.
Ирка порылась в кармане, покраснела и вытащила рубль. Он качнул головой, поморщился.

— Этого не надо, девушка. Лучше дайте мне свой телефон.

— Фу, какая пошлая просьба!
— Наверно, все, что я нес по пути, довольно пошло, — сказал он, вынул блокнот, написал что-то короткое, вырвал листок и протянул Ирке. — Позвоните мне через год.

— Почему через год? — спросила Ирка.
— Я уезжаю.
— На другой перекресток?
— В Африку. Где живут Бармалеи. Я геолог. И работаю за рубежом. Сегодня я уезжаю. Улетаю. А вы здесь работаете?

Ирка пожалала плечами.
— Привезла показывать свои картинки. Может быть, возьмут. Хотя вряд ли... Сомневаюсь.

— Только глупцы ни в чем не сомневаются.
— Хорошо, хоть не глупая.
— Еще бы!
— Ну, скажите на прощание еще одну свою заповедь.

— Не забывай дальнего своего, — сказал он и еще выше приподнял шапку.

Он думал о своем, а Ирка о своем.
— Может, не идти? — спросила она в страхе.
— Зачем же я вас подвез? Все будет хорошо.

Слово африканца!
— А если плохо?
— А все-таки она вертится! — сказал он.

Ирка посмотрела на листок. Под цифрами телефонного номера стояла подпись: «Николай». Она сунула листок в варежку и потянула папку. Он помог.

— Хотите, я вас подожду?
— Нет, я буду долго.

Она бы свернула, пожалуй, и пошла мимо ворот, но он смотрел ей в спину. Перед собой ей не было стыдно за себя, перед ним — да. А он еще крикнул:

— Ни пуха, ни пера!
В проходной подумалось: «Может быть, забыли заказать пропуск?» Хорошо бы! Но пропуск ей выдали, едва она назвалась,

Зато главного художника не было в кабинете. Ушел куда-то по делу, Ирка опоздала на добрых полчаса. «Вот и все»... Но к ней подошел молодой русоволосый парень в замшевой куртке, именно парень по облику, может быть, из-за русских волос, и спросил, не она ли такая-то.

— А я вас жду.
Парень открыл дверь и пропустил Ирку в кабинет. Он оказался заместителем главного.

— Ну, раскладывайте.
Ирка прикусила губу, развязала папку и раскидала по полу свои картинки. Они не слушались, налезали друг на друга, а парень ждал. Наконец, все листы и картонки улеглись. Пол разноцветно зашуршал. Парень смотрел, почесывая бровь. Сейчас скажет... «А, плевать!» — уговаривала себя Ирка и волновалась, все кусала губы. Какими беспомощными казались ей эта Золушка с Принцем на клетчатом дворцовом полу, эта зеленая лужайка с декоративными цветами перед лестницей, на широкой ступени которой серебрилась туфелька, этот замок с рыжими стенами и острой крышей, эти сосны на обрыве, это море с лодкой, радужное, как павлиний хвост... ее летние этюды... Зачем она их взяла? Как мало она еще видела, как мало знает! Она сама чувствовала себя Золушкой в зимних сапогах, непригодных для бала. «В почтовый ящик!» — приговорила она себя, закрыла глаза и услышала:

— Это хорошо. А это очень хорошо... Здесь, конечно, есть свои ошибки, но вы нам определенно подходите. Написать бумагу в институт?

Ирка сглотнула воздух, застрявший в горле, потому что она не дышала.

— Может, подождать главного?
Парень поправил хохолок надо лбом, обиделся:

— Я сам вижу. А он мне доверяет.
— Нет, правда, вам кажется, что я справлюсь?
— Хотите, чтобы я вас больше поругал? Еще успею. Я pošлю бумагу.

«Вот и все», — повторила про себя Ирка, выходя на улицу, но уже совсем другим тоном. Она и шла иначе, быстрым шагом, высматривая поблизости будку телефона-автомата. Надо позвонить маме. Позвонить отцу на работу... Здесь, на горе, дул ветер, папка качалась и сильнее била по ногам, зябли руки, зябли маленькие Иркины пальцы.

Сунув руку в варежку, Ирка наткнулась на бумажку, остановилась, оглянулась. У ворот студии стояло много машин, но красного «Москвича» не было. Ирке вспомнилось, как он смешно и смело вилял задом, сдавая на перекрестке, никто не знал, зачем и куда, пока он не остановился около нее. Судьба! Не хочешь, а поверишь... Она не поехала бы сюда. Это был не каприз, а что-то другое...

Взять да позвонить ему? Сказать: «Спасибо». Это коротко, но много. Она скажет: «Вы очень помогли мне сегодня, товарищ Коля».

Ирка стала придумывать фразу и вспоминать его лицо. Оно было не такое уж курносое. Когда он заломил шапку, открылись густые брови. А какие были у него глаза? Ведь лицо — это глаза. Глаза были все время радостные.

Позвонила она только из дому, окончательно придумав вежливую фразу. В трубке зазвучали долгие гудки. Сейчас он подойдет, и она скажет: «Здравствуйте, Коля». Он, конечно, позовет на свидание. Это уж само собой. Но она скажет: «У меня все хорошо. Спасибо вам». И положит трубку.

Гудки все звучали. Может, он еще не вернулся домой? А может, уже улетел в свою Африку?

Ирка звонила еще три раза, долго ждала, но в трубке звучали только протяжные гудки,

2. Две жизни Назара

Рисунки Н. Благоволина.

Шла война, но земля была больше ее. И жизнь была больше и сильнее. Здесь не слышали, как стреляют, как стонут. Над песками стояла бессмертная тишина. И вдруг в этой тишине затуманились дзели, загудели буры... Началось что-то интересное.

Еще в далекие времена какой-то русский умер в пустыне под сухим одиноким карагачом с кусочком серы в кулаке. Эта сера подсказала другим ученым людям, что под песками прячутся нефть и газ... Но где?

Отец Назара вспомнил о пустынных ямах. Там после редких дождей на какое-то время скапливалась вода, и многие караванщики, державшие путь в древний город, столицу пустыни и ислама, на огонь высокого минарета (на самой его макушке, в фанаре из бледного кирпича, откуда пять раз в день кричал муэдзин, собирая правоверных на молитву, ночами разводили костер, как маяк для путников), — так вот, многие караванщики, проходя здесь, со страхом видели, как на дождевой воде в ямах вздуваются и лопаются пузыри. словно под водой был огонь и вода закипала.

Смельчаки пробовали поджигать эти пузыри, и они загорались голубыми лепестками, отгоняя от себя людей, ожидавших небесной кары. Но небо не рушилось, и тишина не рушилась, и самые любопытные из смельчаков возвращались посмотреть на чудо.

Были и такие, что на обратном пути останавливались у таинственных мест. Вода высыхала, земля спекалась и трескалась, а из трещин все еще сочился дрожащий на ярком солнце неземной воздух. Его поджигали и на легком огне жарили шашлык.

То, что один человек считает божьей карой, другой принимает за божий дар.

Этого отец не сказал Назару. Он сказал, что под ползучими песками в угрожающей близости прятался ад и огонь, конечно, был адский. Недаром наверху лежала голая земля, без травы и деревьев. Кровь грешников выходила каждую весну каплями маков и за три дня осыпалась пеплом в устрашение живым и в напоминание, что грехи не проходят безнаказанно.

Отец Назара был муллой. Может быть, потому и уехал Назар из родного кишлака, что в наше время быть сыном муллы даже в самом захудалом кишлаке не большая радость. Сверстники запросто мечтают обо всем, что есть в жизни, хохочут и гоняют мяч на самодельном стадионе, сверстники заглядываются на девушек, а сын муллы должен сидеть около отца и слушать коран и учить суры — арабские молитвы — на все случаи жизни. Ведь профессия муллы династическая, как царская профессия.

На войну Назара не взяли из-за слабого сердца, с которым он родился. Он приехал к разведчикам газа, но из-за того же проклятого сердца его не послали на буровую вышку, а назначили кладовщиком на складе автоколонны. В песчаном котловане у него лежали бочки с бензином, а в большущем деревянном сарае, на полках, разные запасные детали под номерами, и Назар обтирал их и выдавал по запискам, называвшимся накладными, шоферам, заезжавшим для ремонта на высокую эстакаду из толстых

бревен. Он был аккуратным и способным молодым человеком. Уже скоро он находил детали не по номерам, а по названиям, и не только шоферы, а даже начальство хвалило его за хорошую работу, а главное — за честность. Ведь за честность хвалят больше всего, хотя в ней нет ничего удивительного для человека. И все же честность особенно ценилась в пустыне, где не было ни суда, ни милиции.

Вокруг склада выросли бараки для работников. В двух бараках, разгороженных фанерными щитами и занавесками, жили семьи с детьми. А мужчины не жили под крышами, а только ночевали, потому что с утра до ночи старались, работали кто где. Правда, и отдыхать случалось. Появился барак, разделенный пополам на столовую и клуб, и в этом клубе, теснясь на некрашеных скамейках, старики смотрели кинофильмы о войне и недавней мирной жизни.

Фронт забрал молодых и пока не возвращал, а старики и негодный для войны народ, как Назар, прибыли в пустыню, чтобы не сидеть дома в такие годы, слушая угрызения совести, и заработать деньги. Были тут и горожане и дехкане, потихоньку осваивающие новые специальности. Узбеки, казахи, киргизы. Те, чьи дома находились близко и чьи далеко.

Назар ни от кого не скрывал, что он сын муллы, ни от начальства, ни от людей, с которыми ломал на куски лепешку и пил чай. И однажды пришел к нему, представьте себе, старик и сказал:

— У моей жены родился седьмой ребенок. Мальчик! Ты сын муллы и должен прочитать моему сыну суру на счастье. Слышишь? У меня шесть девочек — и родился сын!

Старик гулко стучал себя коричневыми пальцами в тощую грудь, открытую, потому что халат распался, длинная и белая, белее ваты, мочалка его бороды (из-за нехватки времени некогда было за ней ухаживать) дрожала, а безбровые глаза прорсто прыгали от радости.

— Сын!

Назар испугался, Назар сказал, что он кладовщик, а не мулла, но старик упал перед ним на колени посредине склада.

— Что тебе стоит сказать несколько слов? — умолял он, глядя на Назара счастливыми глазами. Назар мычал в ответ что-то укоряющее, отчаянное, пытаясь поднять старика с песчаного пола, но их окружили другие старики.

Старики — народ хитрый. Может быть, не столько хитрый, сколько опытный, мудрый от жизни. Не зря говорят, что молодой не знает столько слов, сколько старый износил рубах и встретил разных людей за длинную дорогу. Старики угадали, что Назар не сразу согласится читать суру, и пришли на помощь своему товарищу.

— Язык не отсохнет у тебя! — сказал один.

— Эй! Заработаешь себе на штаны! Да и сапоги твои раскрыли рот. Ну? Ха-ха! — сказал второй.

— Побойся отца! Дойдет до него слух, что ты отказался осчастливить человека, он тебя проклянет! — сказал третий.

— Если ты не поможешь Ахмаду, он уйдет из пустыни за муллой, а каждый человек нужен сейчас



здесь, как палец на руке. Начальник говорил. Ты будешь виноват, что Ахмад ушел. А так он, счастливый, останется при своем деле. За это тебя простит не только аллах, но и начальник,— сказал четвертый.

И другие старики что-то говорили. Назар слушал и думал. Назар устал их слушать и ответил:

— Я приду, когда закрою склад.

Вечером, озираясь, он вошел в барак, где жил Ахмад со своей женой и двумя младшими дочерьми, нашел их клетушку и при свете лампочки, тускло горевшей от движка, тархтевшего за окном, увидел самодельную колыбель. Ахмад успел сколотить ее за остаток дня и подвесить к потолку, в который вогнал железный костыль. Жена лежала на кровати. Несколько стариков вокруг колыбели терпеливо ждали Назара.

Он стоял, не зная, с чего начать.

— Нареки его,— попросил Ахмад.

Назар ответил негромко:

— Файзулла.

— Благодарю тебя,— пробормотал Ахмад, склонив голову.— Теперь прочти ему азан.

Назар и сам вспомнил, что новорожденному надо тихо прочитать на ухо азан, чтобы он рос, зная, кого почитать в жизни, от кого зависит его судьба.

Наклонившись к люльке, Назар впервые увидел младенца, потому что Ахмад отодвинул пестрое лоскутное одеяло. Малыш спал. Сморщенный лобик, горошинка носа, поджатая губа... Назар и правда захотел пожелать ему добра в той неизвестной дали, которая называлась дорогой жизни и была у каждого своя. И еще Назар подумал: только бы у мальчика было крепкое сердце. И еще ему захотелось вдруг бежать, но малыш спал, старики замерли, не дыша, а за стенами была ночная пустыня. В конце концов не каждый день рождаются в пустыне дети. Можно наклониться к одному новому ребенку...

Суру читают по-арабски. Никто — ни люди, молящиеся у отца в мечети, ни эти старики — не понимал ни слова. Их гипнотизировали голос муллы, созвучия, текущие, как песнопение, и сама эта непонятность...

Назар шептал, почти прижавшись к уху ребенка. Его суру можно было бы перевести так:

Аллах велик, аллах велик!
Свидетельствую о том,
Что в мире нет бога, кроме аллаха,
И один Магомет — пророк его.
Спешите на молитву,
Спешите к благоденствию,
Помня, что аллах велик, аллах велик!

Он выпрямился, и можно было считать, что Файзулла научен жизни, ведь сердце, бьющееся в его хрупкой грудке, пока было пустым, и молитва попала в него первой.

Все пожелали маленькому Файзулле счастья. Вокруг стояли современные старики, и они желали, чтобы, на радость родителям, Файзулла стал большим ученым, большим инженером или просто большим начальником.

А потом все заулыбались, и началась акика — угощение в честь новорожденного. У пастуха, в полдень прогонявшего мимо отару, Ахмад с друзьями купил барашка, и уже доваривался плов, а пока подали шурпу с наваром жира в палец и манты в горячем соусе с перцем — еду, о которой Назар забыл с тех пор, как уехал из дому.

Когда успели ему сунуть деньги, он и не заметил, но нашел их утром в кармане. Усмехнулся, хотел вернуть Ахмаду, да в тот самый день приехала автолавка, и он купил себе новые штаны, потому что старые и впрямь грозили рассыпаться.

И началась у Назара вторая жизнь рядом с работой кладовщика. Если, закрывая под вечер склад, Назар видел в отдалении терпеливую фигуру старика, а бывало, и смущенного или хмурого молодого, он знал: это его ждут, чтобы совершить какой-то обряд, потому что шла война, ревели, искалывая лица, песчаные бури, но и жизнь шла, не останавливалась. Скажем, даже здесь, на голом просторе серой земли, игрались свадьбы.

Мулла Назар, как его теперь частенько называли, спрашивал родителей обеих сторон, жениха и невесты, согласны ли они на этот брак, чтобы их сын и их дочь с предстоящей ночи, которая придет на смену угасающему дню, жили вместе и рожали детей в продолжение их потомства и всего рода человеческого по законам исламского шариата. Потом читал стихи из корана:

«Женитесь на двух, на трех, на четверых, а если боитесь, что не сможете равно любить всех их, быть

правдивым со всеми и заботиться обо всех, то женитесь лишь на одной».

Конечно, советский закон запрещает многоженство, но не мог же Назар переписывать стихи корана ради временных хлопот, обрушившихся на него, как бич судьбы. Все равно никто не брал себе больше одной жены.

Невесте и жениху, каждому в отдельности, мулла Назар задавал извечные вопросы: «Согласны ли вы стать его верной женой? Согласны ли вы взять ее в свои жены, никогда не жениться на другой без ее разрешения, кормить и награждать заботой за кормление детей, не обделить ее долей наследства в случае развода или смерти?» И так далее.

В автолавке Назар купил себе белого шелку на чалму, клетчатую рубаху, кепку и тонкое кашне, которое надевал под воротник пиджака, чтобы солнце не обжигало шею. Через месяц в том же пыльном фургоне приобрел он костюм, такой, какие по праздникам носили инженеры. У него завелись деньги! А люди, довольные Назаром, прониклись уважением к нему за этот костюм, за кашне и за кепку. Даже незнакомые старики при встречах кланялись Назару, и его стало утешать это, стало нравиться ему незаметно, что, маленький человек на работе, кладовщик, он делался первым среди людей в другое время.

Только в складе Назар по-прежнему таскал старый казенный халат поверх клетчатой рубахи.

В пустыне негде спрятаться друг от друга, мулла не зароешь в песок, и начальство скоро услышало про дополнительные занятия кладовщика. Спор был, предлагали гнать его в три шеи, но самый главный и самый усталый начальник неожиданно охладил своих возмущенных помощников.

— Загс далеко,—сказал он, почесывая загривок,— а дети рождаются, а молодые своего хотят! Каждому отцу, каждой паре давать машину на четыре-пять дней? Где я ее возьму? Не дашь — побегут. Найдем газ, построим поселок — разберемся. Лучше честный кладовщик в роли муллы, чем настоящий мулла. Привезут какого-нибудь жулика, найдут... А надо газ искать, газ!

Но это была не самая большая неожиданность, которыми полна жизнь.

Старики заметили, что Назар стал засиживаться в столовой, где работала официанткой шустрая девчонка Алька. Щеки булками, острый носик, глаза какие-то сумасшедшие, зырк-зырк — и секунды ни на ком не задержатся, сейчас смотрела на этого, а вот уже тому кричит:

— Уртак! Не забыл пятак?

Это значило, что какой-то товарищ должен ей пять копеек с утра или со вчерашнего дня.

На лбу Альки дрожала беленькая челка, полукруглая, от виска до виска, когда Алька бегала по столовой, чтобы успеть всех накормить, потому что обычно заваливались все сразу.

Беленькая Алька была русской. Откуда она взялась в пустыне, кто привез ее? Говорили, если верить болтовне, что какой-то ухажер затащил ее в город на краю пустыни и там бросил. В песчаное пекло Алька забралась сама. Может, от обмана бежала, от тоски под сердцем, может, из-за денег.

Алька не унывала. Пухлые губы Альки каждый миг готовились приснуть смехом.

Назар сидел в столовой после ужина, а безразличная Алька вытирала столы, то напевая, то ворча. Выходило так:

— Летят у-utki, летят у-ушки... Вот гады! Где едят, там смердят! Окурки, окурки... И два гу-уся...

Вытирала она быстро, сама крутилась, и тряпка

крутилась у нее в руках. У последнего стола оставилась, подперлась рукой с тряпкой в бок и спросила Назара:

— Ну?

— Аля,—сказал он,— пойдемте гулять?

Глаза Альки смеялись, пугая Назара, но сказала она серьезно:

— Говорят, мулле с девушками гулять нельзя.

— Не называйте меня муллой.

Алька подошла, и он увидел ее веселые глаза близко, потому что она наклонилась к нему, глядя в упор:

— А кто же ты?

Глаза Альки светились, как зеленая вода на солнце. Глаза ее были полны любопытства.

— Кладовщик,—разлепил губы Назар.

— Кладовщики в таких костюмах не ходят... На зарплату такой сразу не купишь!.. Кого лю-люблю, кого лю-люблю... Не дожду-у-ся!..—допела она, отвернулась от Назара и пошла за веником.

Он мучительно смотрел, как она подметает, и не знал, встать ему и уйти скорей, чтобы она больше не смеялась над ним, и хотел уйти, но сидел. Алька махала веником, гнала по полу мусор с пылью и пела, спрашивая:

— А парк культуры тут откроют?

— Да.

— Вот тогда и пойдем гулять... А денег у тебя много?

— Много,—твердо сказал Назар.

Алька положила веник на стол, снова подошла вплотную нешибким шагом в своих мягких тапочках.

— Это плохо. Ты не жадный, мулла?

— Я же просил вас, Аля... Я не мулла...

Алька рассмеялась наконец. До сих пор губы ее придерживали смех. А сейчас она звонко хохотала, открыв рот.

— Откуда же у тебя деньги? Мулла Назар! А муллы все жадные! Я слыхала!

И, повернувшись к нему спиной, запела дальше свое. Назар встал.

— Я не жадный! — крикнул он, шагнул за ней и, не помня себя, схватил ее за плечо, но Алька прыгнула, как кошка, вперед, дотянулась до веника, замахнулась:

— Обними-ка!

Назар посмотрел на нее без надежды, отчего еще сильнее стало в груди, пригнул голову и побрел к двери.

— Постой! — озорно окликнула его Алька.— А ты целоваться умеешь?

Назар оглянулся и ответил:

— Не знаю.

— Я тебя научу,—пообещала Алька.— Хочешь?

— Да.

— А коран не запрещает?

— Не надо смеяться, Аля.

— Что я, виновата? Я веселая. Ишь ты!

— Но вы надо мной смеетесь.

Алька свела брови, помолчала, а потом улыбнулась и сказала, опустив веник и вскинув голову:

— Я к тебе сегодня приду.

И тронула рукой челку на лбу.

Назар побежал из столовой в черноту ночи, по зыбкому песку, и было ему смешно, как черна ночь и ползуч песок.

Он давно уже спал не в бараке, а в каптерке, построенной между складом и ямой с бочками. Фронт разведки расширялся, машины приезжали по ночам, одному дай то, другому это, кладовщика будили, мешали спать другим. И каптерка стала резиденцией Назара. К дальней стенке прижимался столик с на-

кладными, напротив окошка стояла узкая кровать, а над ней был гвоздь с вешалкой, а на вешалке — костюм, кашне и кепка.

Чалму он прятал под подушку на кровати, где бессонными ночами мечтал об Альке. И все больше становилось у Назара бессонных ночей.

Он бежал, задыхаясь, и вовсе задохнулся, столкнувшись в темноте с двумя стариками. Без слов посмотрели старики на светящиеся окна столовой, и Назар оглянулся на них. Тогда старики сказали:

— Ты один у нас, но мы убьем тебя, если застанем с ней.

— Мулла с неверной! Ты забыл коран.

Каждый стих, каждая строка в коране говорили о верности аллаху.

В важных делах старики — немногословные люди. Предупредили и ушли.

Назар добрался до своей каптерки и сел на кровать. Алька, конечно, не придет. Она обманула, посмеялась. Назар стал раздеваться. Но тут в дверь тихонько постучали косточкой пальца, и Назар замер. Он боялся не за себя — за Альку — и не ответил. А она постучала снова. И все затихло.

— Аля! — шепотом позвал Назар, распахнув дверь.

Алька засмеялась, тоже шепотом.

— Уснул? Кавалер!

В каптерке он обнял ее и сразу стал тыкаться губами в ее лицо.

— Правда, не умеешь, — удивленно сказала Алька. — Смотри, как!

Он ничего не видел в темноте, но это искусство и не требовало света.

— Ну-ка! — Алька оттолкнула его и прижалась к стене.

В окошко смотрела крупная звезда, приколота к черному полю бесконечного неба.

— Аля!

— А ты на мне женишься, мулла?

— Я больше не хочу быть муллой. Бежим отсюда!

— Куда? К волкам в пустыню? Пешком?

— Я хочу быть с вами, — сказал Назар, бессильно садясь на край кровати.

— Нет, правда женишься? — переспросила Алька.

— Даже коран говорит: «Кто чужд браку, чужд и мне».

— Хороший коран, — сказала Алька.

— Но они убьют меня.

— А если я стану мусульманкой?

— Вы опять смеетесь, Аля!

Она замолчала.

— Вы любите меня? — спросил Назар.

— Еще чего! Мулла, мулла, а быстрый!

— Аля!

Он прислушался. Алька ревела, прижавшись к стене у окна. Он вскочил, переполненный жалостью к ней и отвагой, и повторил:

— Я хочу быть с вами, Аля!

Но она уже утерла слезы и толкнула дверь:

— Не верю. У тебя две жизни. Так и так... Ладно, мулла! Живи!

Он догнал ее под небом с одинокой звездой, схватил за детскую руку.

— Аля!

— Отстань!

— Зачем же вы приходили? Посмеяться?

Однако среди ночной немоты пустыни Назар не услышал смеха.

Всю ночь он рвал зубами свою подушку. Утром, играя сумасшедшими глазами, Алька спросила его в столовой:

— Еще живой?

Со всех сторон на них смотрели. Назар опустил глаза и заковырял ложкой в каше.

К вечеру он напился.

Шатаясь и падая, пьяный Назар брел мимо людей, сквернословил, дурным голосом кричал стихи корана и одной бутылкой вдребезги разбил окно в барраке, а другую запустил в молчаливую толпу стариков. Она упала к их ногам, не долетев, и мулла пополз за бутылкой, чтобы докинуть ее или допить оставшиеся в ней капли. Его подняли, уволокли в каптерку, как обыкновенного несчастного человека, и бессильные ноги Назара чертили ровный след на песке, будто ноги мертвеца.

— Завтра разберемся, — сказал Назару начальник автоколонны. — Держись вечером на ногах, злодей!

Утром, ранним пустынным утром, все рабочие и начальники уезжали к близким и далеким вышкам. Солнце они встречали уже там, а оно выходило рано, потому что в пустыне ничто не закрывало его — ни гора, ни куст.

У барakov оставались старики, рубившие дрова для кухни, чистившие картошку, таскавшие воду из скважины, высверленной в песке. В утренних сумерках там тархтел движок, качавший воду насосом.

Назар проснулся от боли в голове, доволочился до двери, надавил на нее, но дверь не поддавалась. Он качнулся и рухнул на нее всем телом. Дверь держалась крепко, и Назар догадался, что она подперта чем-то снаружи. Он привстал на цыпочки и осторожно выглянул в окошко, не больше форточки, но тут же по стеклу ударил камень, что-то треснуло, будто бы не в окне, а у него в груди. Осколки стекла ссыпались по его ногам на пол.

Он успел увидеть стариков с лицами, показавшимися от солнца черными, потому что солнце било старикам в затылок, а ему в глаза, и понял, что настал его час.

Назар присел.

— Выродок ослицы! — ворвался в разбитое окошко скрипучий голос.

— Мы сожжем тебя, как бешеную собаку!

— Лей бензин!

Льют бензин — услышал Назар по запаху и, до боли раскрыв глаза, подумал: «Неужели? Неужели они поднесут спичку? За что? Я делал им добро, а они...» И тут же он понял, что они подожгут каптерку из ненависти к нему, Назару, и любви к аллаху, которого он предал ради Альки. Они подожгут... Даже отец не смог бы защитить его от них, рабов аллаха, а сам аллах не придет на помощь, потому что его нет ни на земле, ни в небе, голом, как пустыня. Есть каптерка, костюм, кашне и кепка на гвозде. Темнота залила глаза Назара, точно он увидел тьму рабской любви и рабского разума, страшную тьму, мстившую ему за то, что он ей потворствовал, пусть от доброй души. Не надо было первый раз шептать азан на ухо ребенку, нарекать его... Не надо было соглашаться, не надо, не надо...

Бензином пахло все гуще.

«Сейчас... И все кончится, — мелькало напоследок в каменеющем мозгу Назара. — И пусть! Только быстрее!»

Слабой рукой Назар запер дверь на задвижку. Он сам хотел, чтобы все кончилось, потому что не знал, как жить дальше... Человек, заблудившийся в песках, может никогда не выбраться из них, даже если повернет назад. Лжецу не поверят, даже если он скажет правду...

Прижавшись спиной к двери, Назар съехал на пол и поднял к потолку свои мутные глаза. Потолок был деревянный. Как и стены. Как и пол. Все горит быстро. Почему они не поджигали?



— Пустите!
 Назар вздрогнул. Это был голос Альки.
 — Старые психи!
 — Пошла прочь!
 — Я вас всех... всех запомню... Пустите!
 — Ты согрешила с ним!
 — Он даже целоваться не умеет!
 — Не кусайся!
 — Заткните ей рот!
 — Держите!
 — Распутница!
 — А-а!

И так же, как только что хотелось умереть, Назар захотелось жить, захотелось неуверенными губами прижиматься к Альке. Он свалился и забил по полу руками и ногами.

— Люди! — вопила Алька. — Звери!

Кто-то громко застучал кулаком в дверь, как в барабан.

— Мулла Назар!

Назар прислушался. Стук повторялся, дверь вздрагивала, его звал знакомый голос Ахмада. Конечно, Ахмад пришел спасти его за то, что он читал его Файзулле свою первую суру.

— Мулла Назар! — повторилось за дверью.

Мулла Назар! Его звали. Он вскочил, быстро выдернул чалму из-под подушки, закрутил на голове. Осторожно отодвинул Назар задвижку.

Скрипя петлями, в которые набился песок, дверь отошла. Ахмад стоял в распахнутом халате, с голой грудью, как тогда, когда упрашивал прочитать сыну азан на счастье, но сейчас тощая грудь его была до крови исцарапана ногтями.

— У меня умер сын, — сказал он тихо. — Пойдем.

Он повернулся и побрел, шаркая надетыми на босые ноги галошами по раскаленному песку и показывая людям свою сутулую, как у старой птицы, спину. Назар сделал за ним шаг, два и три...

Старики, стоявшие плечом к плечу у перевернутой бочки с кресалами в руках, расступились. Тихая струйка пахучего бензина выливалась из бочки и впитывалась песком возле самых ног Альки.

Ее тоже выпустили, и она смотрела на Назара и разминала накрученные руки.

Назар с опаской прошел мимо, отводя от стариков и от Альки глаза. Алька затихла, засмеялась и крикнула ему вслед:

— А все-таки ты мулла!

Назар остановился.

— Иди! — сказал кто-то из стариков.

Они брели следом.

Назар пошел, не оглядываясь. Был под его ногами мягкий песок, а над головой — солнце.

За бараками, в песке, вырыли ямку. Возле ямки стояли носилки с белым пологом, под которым лежал Файзулла, не ставший большим начальником, большим человеком. Старики присели у носилок на корточки. Под Назара Ахмад подложил полосатую подушечку.

— О аллах! — дрожащим голосом начал Назар. — Мы знаем твое милосердие...

И замолчал. Он забыл слова суры. Где-то далеко сзади стояла Алька. Назар чувствовал это спиной и не мог больше сказать ни слова. Слов не было, по лицу из воспаленных глаз потекли слезы. Из-за них Назар не поворачивался к Альке.

Старики смотрели на него строго и ждали, когда он снова начнет говорить, но он все не начинал. Ему казалось, что он виноват в смерти Файзуллы, которого обманул своим напутствием и уже не мог спасти, сколько бы ни просил об этом аллаха.

Он вдруг встал и оглянулся — Альки не было там, где она недавно стояла. Голый песок лежал до самого неба. Назар сорвал с головы чалму и сначала пошел, а потом побежал к бараку, где жила Алька.



Юрий
Рышчиков

Середниковские строфы

*В Середниково под Москвой
находится Лермонтовская усадьба.*

Неделя бестолкова.
Безумен желтый лист в Середниково:
куда шарахнулся от существа людского,
единственного, лист, в такую грязь!
Так пропадай у кромки
озерной тусклой ледяной соломки.
С моими предками твои, мертвец, потомки
уже в законную вступили связь...
В усадьбе санаторной
по лестнице, уж чересчур просторной,
где камень лестничный землей пронизан
черной,

к особняку не так уж крут подъем.
Но все там так знакомо.
И Лермонтова снова нету дома...
И отовсюду запах йода или брома...
Переживу, а нет — найду потом.
Небось, там бродит пара.
Он ей строфу бубнит на три удара.
Кто не казак у нас в отсутствие гусара!
Всяк гусь перо расходует — хоть брось...
Неделя бестолкова.
Куда бежать от звона городского!
В Звенигород! На Клязьму! В Пирогово!
Да ведь и то: соскучишься, небось.
Какая тишь, о боже!
Какой протяжный грей — мороз по коже...
Как удивительно легко — но отчего же!
Ведь все земные тяготы со мной.
Живя в любви и вере,
я — кто! Я — ежедневный страх потери.
Так для чего мне проникать за эти двери,
кого искать за белою стеной!
Ведь все бывало.
Я многих потерял — так что мне мало!
Захвачен прелестью мирской, боюсь
провала

во внутренний пустырь особняка.
Что обрету! А потеряю
безмолвный пруд, безмолвных галок стаю,
безмолвно мчащую к безмолвному сараю.
Расчетливая трезвость бедняка...
Беглец. Отшельник. Мцыри.
Жена одна беснуется в квартире...
Но как все чисто и серьезно в русском
мире,

когда в нем не орут наперебой.
И русский вид прозрачен
и до того чарующе невзрачен!

И лист путем своим незримым и незрячим
летит
и упадет на перегной.



Я отмерял семь раз. Но и семи
мне было мало. Жил — ни слов, ни дел.
Престранный дух тогда во мне возник.
Случайным показалось окруженье.
Сто раз менялись планы у семьи.
Все было смутно. Я и сам хотел
вообразить грядущее на миг,
но памятью жило воображенье...
Росла дощечка на кривом холме.
Там — красной краской: «...верный сын
страны

Михеев Петр на подступах к Москве
пал с именем отца...». Сухая елка
торчала единицею в уме.
Над пнем висели кисти бузины,
как флаги на семейном торжестве
отца и сына и святого долга.
В послевоенном этом уголке
я не бывал, небось, десяток лет,
но вопрошать Михеева Петра
о том о сем давно вошло в привычку:
как он глядит на то, что я — в тоске,
что разлюбил и что за этим вслед
я вдруг за птицу синего пера
обычайшую принял истеричку,
что оправдал заклятого врага,
что с бывшим другом на ножах давно!
Я понимал: Петру не до меня.
Я помнил: равнодушная природа...
Но, как в боку у рыбы острога,
привычка оставалась все равно:
Михеева я слышал из-за пня,
как некий высший глас и глас народа.
Происходило так не потому,
что он погиб, как истинный герой,—
об этом я не знаю ничего,
а правда эпитафий так условна...
Но мне всегда казалось, что ему
в его последней полночи сырой
так не хватило полдня одного,
чтоб испытать все чувства поголовно.
Но он зато другое испытал:
он слышал, как уже умолкла плоть,
когда душа, готовая к броску,
всю кровь свою переливает в разум.
Не потому ль судьей моим он стал,
что, сам себя не в силах побороть,
я, все узнавший на своем веку,
и жить и воскресать хотел бы разом!
Так в том ли суть, чтобы склонять слова,
когда, небось, у каждой головы
свой судья в густой лежит траве:
признай судью, а приговор не спросит...
Какая нынче тихая листва!
И старичок, предмет глухой молвы,
на речке кружит головы плотве.
Каких людей по белу свету носит!..

Летняя ночь в Москве

Ни угрозам, ни резонам
не внимает голова...
Тень бредет ночным газоном,
где растет разрыв-трава.

Дождь с утра еще божился,
и побрызгал в полутьму,
и, как отпуск, отложился
неизвестно почему.
Все заставы, все вокзалы
не разгрузят духоты,
и раскрыли настежь рты
мезонины и подвалы.
Мир, вторичный, моментальный,
на асфальте: от дождя,
от машины поливальной,
шедшей малость погода.
Там стоит, под мокрым вязом,
светофора желчь и кровь.
Стоп! Конец счастливым связям —
ждет несчастная любовь.
Отчего ж и страх не страшен,
и у самого лица —
звезды кленов, звезды башен,
звезды неба — без конца!..
Диковат, как до раскола,
странным светом изнутри
ты в Хамовниках, Никола,
в полночь-за полночь гори.
Все горит в ночной громаде:
от лампадки и звезды
до стакана в автомате
газированной воды.

Пастораль на магнитофонной ленте

Печальное очарование
давно минувшего веселья,
предчувствуя тебя заранее,
я шел на это новоселье,
где над искусством, как над пасекой,
жужжавшие, как пчелы, мненья,
замолкнул перед модной классикой
в одно прекрасное мгновенье...

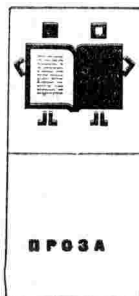
Нет, есть в нас что-то благородное!
И никого не повергала
в тоску труба водопроводная —
девятый голос мадригала.
Ну вот, вы тут как тут с иронией:
вот и медведь, а вот и ухо...
К чему! Гармония — гармонией,
ужель нет чувств превыше слуха!
Во что ж оценена диковина —
безумье, сладкий сон спирита —
переселенье душ из Ховрина
при полном сохраненье быта!

Еще вовек помехой не были
неизъяснимым этим лютням
шум очагов, скрипенье мебели,
шаги людей, пришедших к людям...
Листва ли потянулась к семени,
отец ли заскучал о сыне —
да не замкнемся в круг времени:
сей круг порочен, ибо ныне
нам явлен силою наследия
без помощи столоверченья
дух отдаленного столетия,
не пение, но — призрак пенья!
Тень чьей руки струны касается —
какого рыцаря господня! —
ликуй, счастливица, красавица,

там, возле книг.— Он твой сегодня!
Ликуй! Ты так непритязательна
в своей беспечности смятенной...
И всей душой непробужденной
ты вспомнишь, вспомнишь обязательно
в минуту раннего вставания,
наутро после воскресенья
печальное очарование
давно минувшего веселья...

Возвращение в Москву

Хорош вечерний град Москва
и там,
где жизнь едва-едва
встает в прозрачнейшем наряде.
Но шарм особый, городской —
в Хамовниках и на Тверской,
в Замоскворечье и Зарядье.
Приезжих любят на Руси:
от Трех вокзалов мчит такси
в Останкино через Ордынку —
еще один порочный круг,
злодейский трюк шоферских рук —
да он кому из нас в новинку!
Шофер-то думает, небось:
гляди Москву, поскольку — гость,
авось, бюджет твой не нарушу.
И прав в душевной простоте:
ведь как поверишь красоте,
когда не вник поглубже — в душу!..
Цветенье липы на дворе,
но — план на «Красном Октябре»,
и духом пропитал единым
новорожденный шоколад
весь воздух под листвою и над
замоскворецким мезонином,
где в нимбах дымчатых колец
кейфует с дураю — мудрец,
гуляет голубь по карнизу,
раздутый — может, оттого,
что жалок род людской с его
моралью не по организму...
Москва томится без дождя —
ах, маленькая ты моя!
Ужо! Я чую: воздух влажен.
Не обделит июньский рок
мой в табакерке городок
с кривой луной среди узких башен.
Но слышу голос твой, педант:
— Как!! Сердце родины, гигант —
и в табакерке!! Пасквильянт!..
Да брысь ты со своей отметкой.
Вон ты супруге — до плеча,
а ведь, слова любви шепча,
зовешь и маленькой и деткой.
Пшел прочь! Я сам — из должников
у всех подобранных подков,
когда —
Москва, июнь и вечер.
Я — в проходной, и был таков...
Пылают сорок сороков
над миром и Замоскворечьем!
Я огляжу, как неофит,
небрежной набережной вид,
влюблюсь в знакомую рябину
и, опершись о парапет,
свои семь бед и свой ответ
невольным жестом отодвину.



Раиса Григорьева

КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН

ПОВЕСТЬ

Рисунки
В. Жутковского.

Глава VII

Груня вяжет перчатку. Фасонную, узорчатую перчатку из тонкопряденой шерсти. Мало кто в селе умеет вязать такие. Грунины руки, отвыкшие от работы, то быстро-быстро шевелятся — пальцы ловко перебирают спицы, подхватывают петли, — то вместе с вязаньем неподвижно замирают на коленях, отдыхают.

Тонко звякает упавшая на пол спица, за ней — другая как бы сама собой выдергивается из вязанья. И каждый раз Костя, сохраняя полную серьезность, церемонно поднимает спицу за кончик и возвращает ее Груне.

Что за напасть: целый рядок петель спустился, все спуталось. Опять звякают упавшие спицы.

— Костя! Не трожь!

— А я чё? — Костя невинно смотрит на Груню.

Звонкий шлепок достается Косте по руке: «Не озоруй, слышишь!»

Снова две спицы выпорхнули из вязанья и звякнули где-то возле самой печки...

Костя мешает Груне работать, а она, вместо того чтобы сердиться, хохочет. Лицо порозовело, глаза блестят.

— Неймется тебе? Ну, гля-ди-и уж! Сейчас тебя венником! — Она рывком спрыгивает с лежанки, но сразу же с коротким «ох» съезживается, морщась от боли.

И снова на лежанке, откинувшись на подушку и кучу тряпья, чтоб повыше была голова. Глаза на сероватобледном лице светятся отрешенно и печально. Чужая перчатка не вяжется, и Костя, тревожно глядящий на Груню, не трогает больше ее спиц.

— Вот уж сколько раз так забудусь, встану, и хоть кричи. Внутри все болит. Помру я, знать-то...

— Болтай! Пройдет хворь, еще как бегать будешь. Скорей бы сельсоветы вернулись — к докторам бы тебя хорошим свезти, в Каменск, а то бы даже в Новониколаевск или Барнаул. Сразу бы вылечили.

— Приводила мама из Корнеева бабу-пошептуху. Чего-то она шептала, побрызгивала. А потом рассерчала, что мало заплатили. Сказала: «Так подохнет, не приду боле». И не помогло ничего. Да и где же помочь, ведь били как, насмерть убивали...

Костя подавленно молчал. Солнечный луч, падавший из окна прямо на него, освещал отросшие неровными косицами темные волосы, запавшие глаза, горько опущенные губы.

С тех пор, как в село приезжали каратели, а Груню чуть живую мать унесла из поклоновского дома, Костя очень переменился. Стал угрюмее, будто старше. Уже после того, как ему удалось освободить из холодной Петракова и его товарищей, он тайно ходил к партизанам в бор — еще раз просился в отряд. Гомозов не взял, отправил домой. Велел ждать: если понадобится, позовут или дадут задание.

Костя ждет. Всякий раз, когда видит, какой стал Груня после поклоновского допроса, делается совсем хмурым.

Со спицами он балует не потому, что ему весело, а чтоб она развеселилась, посмеялась хоть немного. Груня же думает: он оттого такой, что ему скучно сидеть вот так и слушать ее жалобы. Вот сейчас встанет и уйдет, а она опять одна-одинешенька останется в хате. С неосознанной женской хитростью, стараясь удержать его возле себя, она улыбается как можно беспечнее.

— Да ладно, вот уж и не болит. Ты скажи-ка лучше, догадаешься, нет, кому эти перчатки вяжу?

— А кому?

— Угадай! Приданое. У невесты сундуков наготовлено не перечесать, а сверх всего еще перчатки занависились нарядные.

— Дак невест, поди, сколько в селе, откуда узнаешь?

Окончание. Начало см. «Юность» № 5 за 1969 год.

- А ты угадай.
- Стой, стой. Говоришь, сундуков много? Лизка это. Попова дочка!
- Догадался! Иль знал?
- Слышал чего-то.

Груня оживленно заговорила о новости, которая ее очень занимала в эти дни. Она ахала, вскидывала тоненькие брови над своими ясно-коричневыми глазами, разводила руками.

— Пятеро баб у них уже который день убираются да припасают все. Наша мама с Катькой маленькой тоже ведь тама. Вчера целый день гусей щипали. Жених-то, говорят, чуть не весь свой отряд на свадьбу привести обещался. Матушка сказывала моей маме: ты, мол, Катерина, старайся получше, знаешь, какие люди будут. А уж какие такие люди? Знамо, каратели, кровопивцы. Сами-то давно черту души продали, и гости такие же. А Лизка-то совсем и не плачет, будто так и надо... Жених-то, Ленька Граев, говорят, чистый сатана, людей сколько поубивал, а ей хоть бы что.

Никто из ребят и девочек, учившихся вместе с ними в школе, еще не женился, замуж не выходил. Даже старшие из них считались еще подростками. А вот Лиза Масленникова, хоть всего-то на два года старше Кости, — невеста. Костя искренне поражен Груниным рассказом, хотя об этой новости кое-что слышал уже раньше.

К тому же с тех пор, как он впервые узнал о предстоящей Лизкиной свадьбе, к нему начали приходить какие-то самому неясные, но тревожащие ощущения. Не оставляли они его и во сне. Недавно он видел сон: пляшет по селу свадьба, а впереди, как полагается, в фате... нет, не Лизка, Груня танцует. Машет платочком над головой, рукав сполз к плечу, и видна рука — белая, белая. И от этой белизны непонятно почему мурашки у Кости по всему телу.

Сейчас и припомнился этот сон, стало сухо во рту, захотелось пить. Он отошел в угол, где стояла кадка с водой, попил из деревянного ковшика и, не выпуская его из рук, пристально разглядывая светлые капли, что скатывались на пол, вдруг неожиданно для себя выпалил:

— Ты знаешь-ка чего, Грунь. Ежели тебя кто ну там сватать станет, как Лизку, или чего, ты не ходи. Слышь? Подожди! — мучительно краснея, готовый провалиться от смущения, он взглянул исподлобья на Груню и увидел широко раскрытые глаза и растерянную улыбку, которая показалась ему насмешливой. Рванулся, бросил ковш на кадку и выбежал из хаты.

— Входи, что ли, или закрывай, кто тама? — сердито сказала Агафья Федоровна. — Все тепло выпустишь!

Дверь перестала поскрипывать, распахнулась решительно и впустила Герасима Самарцева.

— И правда студено, тетя Агаша. Еще вчера как тепло было, а сегодня студено! Здравствуйте вам!

— Тепла, милый, теперь уж не ждать, зима скоро. А в такой-то одежонке и осень зимой покажется. Проходи, что встал у порога?

В Костиной узкой комнатке Герасим прежде всего обратил внимание на давно знакомую полку с книжками. Оказывается, пришел как раз за этим: попросить книжку почитать. Сейчас по хозяйству работы немного, так маленько вспомнить, как читывали, бывало, когда в школе учились.

Гараськины нос и уши, заолодевшие до клюквенного цвета, отогрелись и приняли нормальный вид. Вспоминать, как были маленькими, надоело, а о теперешней жизни говорить не хотелось. Наверное,

потому, что сейчас опасно говорить, о чем думаешь. Не может же рассказывать Костя о том, что со дня на день ждет задания от партизанского командира.

Вот и выходит: говорить не о чем. Молчать скучно. Самая пора Гараське, получив книжку, уходить домой. Но он все чего-то тянет время. Наконец выговорил, будто между прочим:

— А я с тобой, Коська, сменяться хочу. Во, хорошо вспомнил, а то так бы и ушел. Одна штука у меня есть. Ну и добра штука. Отдал бы, кабы на что стоящее сменяться.

— Ну-ка показывай!.. Эт-то же... Это ж отломок какой-то, а я думал, правда, что хорошее...

Костя старался выказать полное пренебрежение к тому, что увидел, но это плохо ему удавалось. От волнения перехватывало дыхание: на Гараськиной открытой ладони лежала деревянная рукоятка от его, Костиного, ножа, которую он отломал от лезвия и бросил под полom сборни в ту памятную ночь.

— Ты где хоть взял-то?

— Где взял? Там, где ты потерял.

— Ох ты какой! Да я сроду первый раз вижу эту щепку.

— От твоего ножа отломок, Костя. Кабы я один знал, что от твоего, забросил бы, да и ладно. А то ведь ты при всех вырезал этот рычанок из березового полена. Еще спорили, выйдут у тебя такие вилушки или нет. Помнишь? Любой бы признал — от твоего ножа. А я помогал плотнику ту стену в сборном заделывать да пол в холодной, ну и ползил там, под полom. Он мне и попадись. Как-то еще солдаты не нашли...

— На што хошь меняться? — спросил Костя хрипло.

— Сведи меня с теми, кого из холодной выпустил.

— Да ты что выдумываешь? Никого я не выпускал и не знаю никого.

— Боишься? Ладно. Рычанок — на вот, прибери подалее либо сожги, мне за него ничего не надо. Думаешь, верно, меняться пришел? Ты лучше другой раз не оставляй след, где не надо. А к партизанам я сам, может, дорогу найду, раз тебе жалко сказать.

Ручку от ножа Костя после ухода товарища бросил в печь. С этим было проще всего. А вот как с самим Гараськой? Ведь он с добром пришел, а ушел обиженный. Может, надо было ему все рассказать как есть?

Растревоженная Костина совесть подсовывала разные воспоминания. Вот он захлебывается в ледяной воде. Цепкие Гараськины руки вытаскивают его на лед, на жгуче-холодный вольный воздух. Дыши! А вот они вместе с Гараськой у речки весной хрустят Ваньшиными яблоками. Никому тогда не проговорился Гараська. Да еще мало ли что выделявали! Но то было детство. А сейчас? А сейчас Гараська принес этот отломок ножа... отвел беду. Нет, плохо Костя отплатил за дружбу! Надо будет, решает он, как выйдет от Игната Васильевича или дяди Пётры задание какое — сразу Гараську с собой позвать.

Вестей из отряда ждать пришлось недолго. Ночью, в глухое предрассветное время, в дом Байковых пожаловал гость. Только один раз спичка осветила вошедшего, но Костя и в темноте узнал бы по высокому росту, широким плечам, по голосу, который ни с каким другим спутать невозможно. Так говорил только один человек, командир партизанского отряда Игнат Васильевич Гомозов. Костя так и бросился к дядьке Игнату. Подумал, тот явился лично к нему, Косте. С собой его взять пришел. А оказалось, вовсе не так.

Игнату Васильевичу предстояло встретиться с одним из руководителей уездного партийного подполья. Путь товарища из комитета как раз пролегает через Поречное. Вот он, Гомозов, и подумал, что в Поречном надежней всего повидаться в доме у коновала, и товарищ, которому назвали дом Байкова, не возражал.

— Выходит, без тебя тебя женили, Егор Михайлич,— шуткой закончил свои объяснения командир.

Игната Васильевича поместили в комнате наверху, где когда-то жила учительница и куда давно никто не поднимался. Туда мать отнесла ему утром позавтракать, а Костя с самого рассвета то вертелся во дворе, то торчал у ворот. Незнакомый товарищ не появлялся.

Вечером семья села ужинать. Костя, поглядывавший в окно, заметил, что к ним кто-то идет. Расплющив нос о стекло, взгляделся и крикнул отцу, снимавшему с гвоздя шапку:

— Да нет, это нищая, клюка — до неба.

Отец сплюнул:

— Вот уж, ждали Параню — идет Маланья. Выйди,— кивнул матери,— да в дом не пускай. А то эти божьи трясугозки чего надо и не надо вынохают.

В полосе света, падающего из окна, Костя видит: мать идет по двору навстречу нищенке, протягивает хлеб. Вдруг всплескивает руками, что-то часто-часто говорит — за двумя рамами не слышно. Нищенка — ишь какая смелая! — обнимает мать, и они трижды целуются. Потом мать вводит ее в дом.

— Хлеб да соль, хозяева, здорово вечеровать,— здоровается странница вместо того, чтобы с порога начинать смиренную молитву. Голос ее кажется удивительно молодым для такой старухи и очень знакомым. Старуха выпрямляется — горб совсем не мешается ей, а даже сам немножко съезжает вниз,— разматывает рваный платок, закрывавший лицо, и хозяева узнают милый, немного призабытый облик Анны Васильевны Мурашовой, бывшей школьной учительницы.

...Посмотреть с улицы — в окнах Байковых не увидишь ни искорки. Но в доме никто не спит. Агафья Федоровна вздыхает на своей постели, чутко слушает тишину. Егор Михайлович, тот и ложиться не стал. Сидит на лавке, а под лавкой, заложенный тряпьем, — обрез. В случае чего только наклониться и взять... Костя сидит на лестничке, ведущей наверх, в бывшую комнату учительницы. Оттуда доносятся приглушенные голоса, но о чем говорят, не слышно.

Красноватый свет копилки смуглит и четче выделяет скулы на круглом лице Анны Васильевны. Пышные ее волосы то золотятся, попадая в светлый круг, то, как в облако, ныряют в темноту: волнуясь, она ходит по комнате из угла в угол. Начала она свою речь деловитым: «Сначала общая обстановка. Расскажу все, что знаю». Но то, что ей было известно о положении Советской России и чего в своей партизанской жизни далеко за линией белочешского фронта не мог знать Гомозов, было так угрожающе-тяжко, что спокойной информации никак не получалось. С болью рассказывала о том, что английские и американские интервенты хозяйничают на русском Севере. Какие муки терпят от них портовики Архангельска и Мурманска, рабочие, рыбаки. О том, как лютуют кайзеровские немцы на захваченной ими Украине, японцы вместе с войсками генерала Семенова — на Дальнем Востоке. В петле, охватившей Советскую Россию, почти не остается просвета...

Гомозов, поставив локти на застланный домотканой скатеркой стол и упершись подбородком в рас-

крытые ладони, слушал, не пропуская ни слова, только все больше хмурился. Потом, когда Мурашова замолчала, он нерешительно спросил:

— Анна Васильевна, а что известно про товарища Ленина? Мне недавно попала барнаульская белогвардейская газетка. Там написано, будто бы он ранен... Смертельно... Я ту газетку сжег. Врут?

— Было. Было покушение на Владимира Ильича. Гомозов встал, рывком отодвинул стул. За дверью обеспокоенно поднял голову Костя.

— Большую тревогу мы все пережили. Сведения просачивались скупо: только то, что беляки передавали в Каменск по телеграфу. На телеграфе у нас свой человек работает. Получим известие — тоже не знаем, чему верить, чему нет. Натерпелись горя. Потом из Москвы товарищ пришел. Перебрался через фронт для связи с сибирскими большевиками. Он и рассказал подробности.

— Сейчас-то как? Жив?

— Сейчас хорошо. Раны были опасны для жизни. Однако трех недель не прошло после покушения, а он уже сам поспешил успокоить товарищей: все, мол, в порядке. В Москве каждый день печатался в газетах бюллетень о его здоровье, о ходе лечения. Так он сам на таком бюллетене приписку сделал: дескать, на основании этого бюллетеня и его хорошего самочувствия покорнейше просит не беспокоить врачей звонками и вопросами. Заботился, чтоб народ не волновался. А самому-то каково пришлось!

— Ну, вот,— облегченно выдохнул Гомозов,— а этим в газетке что бы ни соврать, лишь бы позабористей. Уж чуть совсем не похоронили. Я хоть и верить не верил, а душа болела. Что да если... А как все же получилось? Чего говорил москвич?

Анна Васильевна рассказала все, что ей было известно о покушении на Ленина, совершенном 30 августа на заводе Михельсона.

Гомозов долго молчал, тяжело задумавшись.

— Но вы не знаете примечательнейшей вещи! — воскликнула Мурашова. — В тот день на митинге, за несколько минут до ранения, чем закончил свою речь Владимир Ильич, как вы полагаете?

— Интересно, чем же?

— Он призвал все силы направить в Сибирь, на чехословацкий фронт. Московский товарищ переписал эту речь из газеты «Известия», пронес сюда. Вы только послушайте, какими словами Ильич закончил свою речь. Или нет, лучше запишите, чтоб дословно передать бойцам отряда.

— Запишу! — Гомозов достал из кармана огрызок карандаша, повертел и положил обратно в карман. — Читайте, я на память запомню. А то, не ровен час...

— «Читайте», — усмехнулась Анна Васильевна. — Я ведь тоже на память. У нас многие запомнили: нужно для дела. Ну, так запоминайте. «И наша задача дня, — размеренно, будто диктуя, начала она, — презрев все лицемерные, наглые выкрики и причитания разбойничьей буржуазии, творить свою революционную работу». А дальше непосредственно о нас: «Мы должны все бросить на чехословацкий фронт, чтобы раздавить всю эту банду, прикрывающуюся лозунгами свободы и равенства и расстреливающую сотнями и тысячами рабочих и крестьян.

У нас один выход: победа или смерть!»

— «Победа или смерть!» — тихо повторил Гомозов. — Смотрите-ка, что получается: со всех сторон наседают и англичане, и американцы, и немцы, и япошка, а товарищ Ленин — он про Сибирь думает. Вперед всего!

— Здесь дело не в том, что Владимир Ильич чувствует именно нашим, сибирским и алтайским ра-

бочим и крестьянам больше, чем другим. Ленин умеет всегда увидеть главное. На фронт борьбы с белочехами идет посланная партией подмога. Но и нам здесь, хоть мы и далеко от фронта, ждать сложа руки нельзя. Я, собственно, для того сейчас и путешествую по уезду, чтобы передать всем товарищам решения окружкома и укома партии.

Мурашова подробно рассказала, в чем суть этих решений.

— Ну, прежде всего — а это именно к вам и относится — надо всячески, слышите, Игнат Васильевич, всячески усиливать действия партизанских отрядов. Разрушать железнодорожные пути, на которых беляки чувствуют себя пока хозяевами, устраивать завалы на трактах, нарушать телеграфную, телефонную связь. Всеми способами препятствовать мобилизации населения в войска белой армии. И не упускать малейшей возможности вовлечь как можно большие массы населения в активную борьбу против врага.

— Пока что наши действия с этой директивой совпадают. Вот смотрите... — Гомозов кратко доложил обо всех операциях, проведенных за последнее время отрядом. — Ну, а наперед возьмем еще покруче... А вот насчет массы населения, Анна Васильевна, у нас здесь, в Поречном, есть одна заноза...

— Какая заноза?

— Поп, пореченский батюшка. Пока не отошлем его в рай божий, ни в какую активную борьбу здешних мужиков не вовлечешь. Всех запугал.

— Отец Евстигней? Да ведь он в первые месяцы революции проповеди читал и молитвы правил за нее: «Несть власти, аще не от бога». А теперь что же, те же молебны, но за беляков и чехов?

— Если бы только молебны!

Анна Васильевна не знала, что за время ее отсутствия имя попа из Поречного стало во всей округе едва ли не самым ненавистным.

Начал Масленников с того, что предал тайну исповеди. Женщина, исповедуясь ему, покаялась, что прячет от властей мужа, назначенного в белую армию, и проговорилась, где прячет. На следующий день мужа этой женщины, а с ним и еще троих мужиков схватили и судили военно-полевым судом за дезертирство. Потом отец Евстигней взялся за дело, от которого отказались два священника в соседних приходах: он стал сопровождать бандитов, отправляющихся в карательные экспедиции, и отпевать их жертвы.

— А сейчас до того дошел, что отпевает, не дожидаясь, пока приговоренных казнят, — рассказывал Гомозов. — Недавно было в Овражках: каратели выгнали несколько человек за село расстреливать. Приказали людям под наведенными дулами копать яму себе для могилы. В это время отец Евстигней давай читать отходную. Один из приговоренных крикнул: «Что же ты, батюшка, делаешь, ведь мы еще живые?» — а поп ему: «Чего время тянуть, все равно там будете». Жители всех окрестных сел ненавидят этого карателя в рясе. Ему бы давно и конец пришел, но люди боятся: в последнее время его дом стал пристанищем для белогвардейского отребья. Каратели из отряда Леньки Граева чуть не каждый день пьянствуют у него вместе со своим командиром. С этим «доблестным офицером» Масленников делит имущество казненных. Постепенно такую силу взял, что теперь не поймешь, кто из них главнее: Ленька этот Граев во всем его слушается... Вот какой чирей созрел в нашем с вами Поречном, Анна Васильевна, — подытожил Гомозов. — На него сейчас и нацеливаемся — вырвать с корнем.

— Прекрасно, — сказала Мурашова.

Гомозов заметил вдруг мелькнувшую у Анны Васильевны учительскую интонацию. Он в бытность председателем Совета заходил иногда к ней на уроки. Этим словом она выражала удовлетворение хорошим ответом.

— Прекрасно. Очень важно, что ваши действия совпадут с желанием большинства населения. Жители Поречного получают пример активной борьбы... Только один совет, — добавила она тихо. — Вернее, просьба, личная. Будьте, пожалуйста, осмотрительней... Вернее, расчетливей, что ли...

Почему-то на этот раз Анне Васильевне не удавалось объяснить свою мысль просто и ясно. Хотя мысль-то была совсем несложной: драться с вооруженными карателями, которые могут оказаться в доме попа, — дело особенно опасное. А он, партизанский командир, совсем не умеет себя беречь.

— Из ленинского лозунга «победа или смерть» оставим для себя первое — победа, а смерть пусть врагам достается, верно? — справившись с волнением, пошутила она.

— Спасибо за душевность, Анна Васильевна, — так же тихо ответил Гомозов. Сейчас он как бы впервые увидел эти тревожные серые глаза. Подумал с нежностью и болью: «Как же ты, товарищ, ходишь одна по дорогам и селам? В любую минуту тебя могут узнать враги, и тогда страшно представить, что сделают. Но ведь ходишь, не боишься...» Вслух, однако, больше ничего не сказал, постеснялся.

Кроме встречи с Гомозовым, у Мурашовой было в Поречном еще одно дело. По заданию укома она в селах создавала опорные группы для подпольной работы. Важно было найти одного-двух абсолютно надежных людей. А уж они подберут себе товарищей, которые и знать о ней, Мурашовой, не будут. Этого требовала конспирация. Посоветовалась с Гомозовым о Байкове Егоре Михайловиче, хозяине дома. Человек более чем надежный. Кремень. Но только следует ли ему быть руководителем группы? Пусть лучше о нем никто, кроме разве еще одного человека в селе, не знает.

Гомозов согласился. Вторым он предложил Корченко Карпо Семеновича, регента церковного хора.

— За него могу тоже поручиться. Кстати, кое-какие сведения о Масленникове-попе хочу у него спросить.

— Давайте заодно. Сейчас же и пойдем.

— Зачем ходить? А связные-разведчики у нас на что? — И, подмигнув лукавым желтым глазом, Гомозов распахнул дверь на лестницу. Костя, который сидел, уронив голову в колени, тотчас вскочил.

— Вон оно что... Значит, мы с тобой вместе, Костя? — дружески улыбнулась ему бывшая его учительница. — Так. И отметки вместе будем получать.

Костя не удивился вопросу о том, видится ли он с бывшей своей соученицей Лизой Масленниковой, не сможет ли поподробнее узнать, как живет эта семья.

— Да как еще им жить, когда у них свадьба вот-вот! Лизку выдают за карательного начальника, офицера, за Граева. В воскресенье, небось, и играть станут свадьбу-то!

Почему так оживился Игнат Васильевич при этом известии, поди пойми. Как будто сам женится.

— Вот что, сынок, — услышал озадаченный Костя, — сбегай к Корченкам да вызови сюда Карпо Семеновича. Только на всю улицу не шуми. Крадчи в окошко стукни, понял? Ну, сам знаешь. Скажи, пусть живой ногой здесь будет, ждем, мол.

...Толпятся люди возле церкви и дома священника. Гомонит молодежь. Тянут головы любопытствующие бабы. Тут и Костя со своей гармошкой. На нем новая шапка с голубым верхом, аккуратный зипунчик перехвачен пестро вытканной опояской: не куда-нибудь, на свадьбу пришел.

Только что окончилось венчание. Костя видел, как из церкви валит народ, как вышли жених с невестой. Лизка в подвенечном наряде почему-то кажется старше и от этого еще больше, чем всегда, похожа на мать.

В жениха Костя вглядывается особенно внимательно: надо запомнить карателя, чтобы, если придется, узнать и ночью. Вот он какой! Высокий, гибкий, узко перетянутый в талии. Блестят лаковые сапоги на стройных пружинящих ногах, блестят погоны. На смуглом, нежно-овальном лице, под высокими полукружьями темных бровей, холодно светятся зеленоватые, с темными точками глаза. Оглядели как бы сверху всех вокруг, и маленький рот капризно сморщился, будто раскусил что-то очень кислое и только удерживается, чтобы не сплюнуть.

Костя пытается представить себе этого человека на месте того офицера, что замучил Колесова, и не может. Тот красноречивый, страшный, а этот красивый. А если бы этому красивому попался сейчас дядя Пётра или Игнат Васильевич? Или сказали бы ему, кто выпустил партизан из холодной? Костя даже зажмурился от того, что представилось ему.

Молодых посадили в нарядный тарантас, запряженный тройкой украшенных лентами коней, за ними еще коробки¹, линейки, в которых расселись военные — много военных, отметил про себя Костя, — дочки из богатых семей Поречного и какие-то еще чужие гости, и покатило. В дом невесты поехали.

Косте смешно: Лизкин дом — вот он, у самой церковной ограды, даже крыши одной зеленой краской крашены. Могла бы пройти из дверей в двери, не припыливши ног. Но, в толпе говорят, так захотел жених, чтоб был свадебный поезд, чтоб все видели, с каким форсом он женится. Наверное, проедутся теперь по всем улицам Поречного, а может, еще куда закатятся, кто знает.

А оставшиеся ждут. Метут поповский двор длинными, широкими юбками женщины в крытых бархатом, атласом жакетках, в дорогих шляхах — приезжие и местные гости. Собравшись кучками, разговаривают богатые мужики. По их подернутым туманцем глазам и налитым красной кожей лицам видно: они еще накануне хорошо поздравились и утром перед венчанием времени не теряли. «К вечеру вовсе накачаются», — думает Костя. Он думает о той минуте, когда и хозяйка и гости, военные и мужики ульются до свинского беспамьяства. Когда предатель-поп и убийца-офицер и все их соратники по черным делам и собутельники обожрут и ульются на свадебном пиру, настанет час расплаты. Не зря Костя незванный пришел сюда с гармошкой. Не зря вертится среди народа со всей старательностью прячущий свои заплаты Гараська Самарцев. Партизанский командир поверил-таки Костиным уговорам и ручательствам, разрешил посвятить Гараську в кое-какие секреты.

И Костя и Гараська — связанные. Главный здесь от партизан — Карпо Семенович Корченко. Он в последние дни был так угодлив, так усердно напоминал попадье, какие песни «приличествуют обряду, времени и месту» и какие особенно могут «умилить сердца, утомленные бранным трудом», что матушка расчувствовалась, велела бедняку регенту прийти на

свадьбу. Пусть выпьет рюмку-другую самогона за Лизочкино счастье, зато сколько от него с его песнями приятности будет... Теперь Карпо Семенович вместе с другими гостями ждет возвращения молодых, чтобы сесть за стол. Потом, когда окажется нужно, подаст знак ребятам — Косте и Гараське...

Все ждут свадебный поезд. Попадья в нетерпении ходит перед воротами. К ней подплывает мельничиха, жена старостинного брата Петра Борискина.

— Долго-то как катаются, матушка, милая, — услышал Костя. — И так Лизочке короток покажется последний денек в родительском дому. Вечером провожать будете или уж завтра?

Попадья, не отводя озабоченных глаз от дороги и не особенно задумываясь над смыслом своих слов, отвечает, что и завтра провожать не будут, что Лизочка пока вовсе никуда не поедет. Одной ей делать нечего в мужниных палатах. Молодому супругу завтра же надо на службу отбывать. По случаю свадьбы и отпуску могли бы дать, но он сам не захотел. Выходит ему сопровождать баржу с новобранцами от города Каменска до самого Новониколаевска. Торопятся сплавить их, пока Обь не встала. А ему лестно в Новониколаевске побывать. Дела у него там, да и начальства побольше, чем в Каменске. Кое-кого повидать надо. Может, и награда выпадет. Потом уж, как вернется, так за женой и приедет.

Костя, всем своим видом изображая равнодушие, с напряжением ловит каждое слово. Потом отзывает в сторону регента, разводит меха гармошки и громко спрашивает, так ли надо начинать величальный марш. И еще добавляет кое-что шепотом, чтоб другие услышать не могли.

— Это, паря, надо не зевать, — отвечает так же тихо Корченко, прослушав его «мелодию». — Дуй домой и перескажи, что слышал, ей.

Костя пошептался с Гараськой и, на ходу перебравшись словами с ребятами, собравшимися поглазеть на богатую свадьбу, незаметно направился к своему дому, где тайно от всех все еще жила Анна Васильевна Мурашова.

Навстречу Косте, оглушительно трезвоня бубенцами, мчался свадебный поезд. Ленты повывернулись из грив взмыленных коней, запутались на оглоблях, в колесах. На облучке переднего тарантаса, впереди молодых, сидела до смерти перепуганная посаженная мать жениха, в сбившемся наискось платке, и судорожно прижимала к себе прыгающую в руках икону.

Прошло немного времени, и с такой же скоростью, только без лент и бубенцов, вылетел коробок из двора Байковых. Егор Михайлович спешно направился в Каменск передавать друзьям Анны Васильевны про отправку баржи с новобранцами. А Агафья Федоровна, закрывая ворота за стремительно отъехавшим мужем, объясняла соседке, что Егора Михальча слезно просил приехать знакомый мужик. Коровы у него набрела во дворе на кучу брюквы и обожралась, сердечная. Горой вздуло. Может, еще Егор, даст бог, спасти сумеет коровенку.

Свадьба шла своим чередом. Уже все песни по обряду первого свадебного дня были спеты (постарался Карпо Семенович со своим хором) и Лизка с подружками поплакала необходимыми по обряду слезами.

Уже под требовательные и оглушительные «горько» много раз поднимались со своих почетных мест молодые и Ленька Граев напоказ гостям, а иным на

¹ Коробок — возок с плетеным кузовом.



зависть жадно и бесстыдно целовал свою пунцовую от смущения супругу.

Уже Лизка обошла гостей и, беря с серебряного подноса, который несла за ней дородная тетка, высокую граненую рюмку и графин, потчевала каждого из своих белых ручек. Гости в ответ клали на поднос подарки молодым. Здесь каждый выхвалялся подарком побогаче, но гости со стороны невесты все равно не могли сравниться с карателями — гостями жениха. Они кидали на поднос золотые монеты царской чеканки, полотна — целыми штуками, дорогие шали, а то ненадеванные хромовые сапоги, полушубок, из которого еще не выветрился запах дубильни, отрезки сукна, атласа. Один из дружков-отрядников под общее завистливое одобрение достал из-под стола, где оно до времени лежало, новенькое кожаное седло. Поднял над головой, чтоб все видели, галантно прикоснулся кожаным боком седла к подносу и победно осушил рюмку.

Никто не спросил, где взято, с чьей конюшни унесено это седло, жив или мертв прежний хозяин этих сапог или полушубка, во скольких домах были разбиты сундуки и укладки, а хранившееся в них добро вывернуто под ноги, пока не сверкнула среди тряпья радостными узорами эта шаль, не привлекло тонкостью и белизной это полотно. Среди присутствующих некому было задавать подобные вопросы, а тем, кто готовился спросить разом за все, еще не пришло время сюда являться.

Свадьба шла своим чередом. Из кухни под неутомимым матушкиным наблюдением таскали все новые и новые блюда. Но все эти жареные гуси, пироги с целыми запеченными рыбинами, с пареной калиной, с грибами, тушеная баранина, калачи не манили больше сытых гостей. Из широко разинутой пасти граммофона, что выпяливался на комод, не-

слась слащавая песенка. Но и граммофон больше не слушали. Гости много съели, много выпили. Теперь они рвали в пляс. Грянула разухабистая частушка. Если бы Лизкина фата могла краснеть, она сразу стала бы кумачовой. Но фата краснеть не могла, только измялась и обвисла в духоте и толкотне поповской залы. Впрочем, на это уже никто не обращал внимания.

Выскобленные до бело-желтого цвета доски пола, теперь залепанные жирной едой и грязью, затряслись под плясунами. Сам Ленька Граев сбросил свой офицерский китель, расстегнул ворот рубашки и враз, без разгона, понесся в бешеном ритме. Ладонями отбивал такт, то шлепал себе по затылку, то по коленкам, а то, подкидывая ноги в лакированных сапогах, успевал отбить дробь на собственных подошвах. Эх, эх, чаще! Эх, гуляй! Шире круг!

Похоже, на Лизкину свадьбу все еще съезжаются гости. Весело катя по улицам легкие коробки, убранные лентами и бубенцами. А в них — что за народ чудной! В переднем, стоя, держит вожжи могучая баба в цветастом сарафане поверх мужской куртки. Голова низко, до бровей повязана платком с кистями. На щеках, чуть видных из-под платка, пламенеют бордовые круги, наведенные свеклой. Сзади «бабы» теснятся еще человек пять. Как только выдерживает коробок? Вот притиснулся к его плетеной стенке «баран». А чем не баран? На парне полушубок вывернут шерстью кверху, на лохматой шапке прикреплены бараньи рожки, а лицо сплошь вычернено сажей. У «турка» с чалмой на голове половина лица завешена рыжей бородой из пакли. «Цыган» присел на край коробка, свесил ноги и наяривает плясовую на балалайке.

В других коробках, тоже размалеванные, ярко и смешно одетые люди орут частушки, обнимаются, машут платками. А всего таких выездов — несколько.

— Ряженые, ряженые! На свадьбу ряженые едут! — волят ребятишки, припускаясь вслед за веселым поездом. Но матери живо окликают их и возвращают по домам. Побыстрее да поплотнее запирают ворота: страшный, лихой человек женится нынче в Поречном, недобрая это свадьба. А гости, что веселиться едут, видать, того же поля ягоды. От них подальше...

А они меж тем, веселясь, раскатывали себе по улицам. На одном углу встретился им деревенский парнишка Костя Байков. Замахал руками: «Дяденька, прокати!» — и уцепился за край переднего коробка. Немного пробежал рядом, торопливо что-то говоря, потом отстал.

Ряженые стянулись к поповскому дому. Составили таборок у церковной ограды, а сами с музыкой и прибаутками двинулись ко двору. Несколько человек отстали да так в дом и не вошли. Видно, им было все равно, где хохотать да приплясывать.

А в доме о ряженных уже прослышали, их ждали. Появление их вызвало у притомившихся на пиру гостей новое оживление. Жених, разгоряченный недавним танцем, поглядывал на дверь со снисходительным любопытством. Он не знал, кто такие, но само собой разумелось, что приезд ряженных входил в программу увеселения. «Небось», — думал он, — отец Евстигней или матушка позаботились. Те же, наоборот, поняли дело так, что ряженые — сюрприз жениха и что в пестрые тряпки разодеты его дружки из карательного отряда.

И вот ряженые здесь. От яркой шумной толпы сразу стало тесно в большой поповской горнице — «зале». Ряженые в дверях, ряженые у стен. На середину вышла та, что и ехала впереди, огромная

«баба» в платке и сарафане, из-под которого виднелись мужичьи сапоги. Балалайка в руках «цыгана» рассыпала залиvistую плясовую трель. Парень с вычерненным сажей лицом, несмотря на жаркий бараний полушубок, пошел вприсядку вокруг «бабы», вызывая на танец.

«Баба» развернула могучие плечи. Правой рукой уперлась себе в бок, как раз над карманом сарафана, а левую лихо отвела в сторону, помахивая платочком в такт песенке. Бордовые свекольные круги весело рдели на ее щеках, глаза же, широко поставленные желтые глаза, настороженно и цепко оглядывали всех сидящих в зале.

Попадья, по своему хозяйскому положению выпившая в этот день много меньше других и потому сохранившая трезвый разум, заметила какое-то несоответствие между взглядом и всем обликом чело- века, выраженного бабой. Пригляделась пристальнее и... встретила с взглядом желтых глаз. Какую-то секунду она и ряженный молча смотрели друг на друга. Дурная бледность разлилась по лицу попадьи. Приседая от страха и тыча пальцем в сторону ряженого, она дико завизжала:

— Гомозов это! Хватайте! Караул!

В тот же миг прогремел выстрел, и каратель Ленька Граев стал валиться со стула. Следом, сливаясь с первым, раздался второй выстрел: пуля настигла «батюшку». В руках Гомозова и «цыгана» дымилась маузеры.

Все это произошло так быстро, что пьяная компания сообразить ничего не успела. Так было условлено: при любой неожиданности сразу стрелять в Леньку Граева и предателя-попа. Чтобы уйти не сумели.

После мгновенного оцепенения «зала» взорвалась визгом, руганью, грохотом переворачивающихся столов и бьющейся посуды. Военные пытались схватиться за беспечно отложенное оружие, но в давке это не так просто было сделать. Зазвенели стекла: те, кто потрезвее, пытались выпрыгнуть в окна. Но и во дворе и за воротами их ждали партизаны.

— Стой! Руки вверх! Все на месте! — перебивая визг, рев, грохот, раздался громкий голос Игната Гомозова. Со всех сторон — от дверей, от стен, из углов, даже из окон — на перепившихся гостей уставились дула маузеров, наганов, обрезов. — А ну, слушай команду! Бабам оставаться на месте. Мужики выходи по одному. Руки не опускай!

Молча, не глядя друг на друга, двигались к дверям, где ряженые партизаны быстро разоружали их и связывали руки. В горнице стало гнетуще тихо. Только Лизка всхлипывала и громко сморкалась в ненужную теперь фату.

Глава VIII

Здесь все казалось Косте необыкновенным. Так мягко светился зимний день, и так вкусно пахло молодым снежком! На фоне свежей белизны, покрывшей все вокруг, такими яркими и новыми казались цветастые шали женщин, ходивших между рядами всякого крестьянского товара. Радовали глаз блеск обливных гончарных горшков, мисок и латушек, медовая желтизна деревянных ложек, ковшей, ведерок, бочек, пестрота расписных дуг. От тесно составленных саней, плетеных кошевок на полозьях, от привязанных к ним аппетитно жующих лошадей остро несло на морозце душистым сеном и лошадиным запахом.

Здесь, в торговом селе Ползухе, небольшие базарчики бывали каждый четверг, еженедельно. Но два раза в год, по санному первопутку и перед весенней распутицей, сюда съезжались крестьяне из многих деревень и сел. Все, что здесь продавали, покупали, выменивали, Костя видел и у себя дома в хозяйстве и у соседей. Но там все эти предметы были привычны, закопчены, затерханы, а здесь блестя свежестью красок и поражали праздничностью.

А вот эта тетка что-то чудное продает. Не то ряса поповская у нее в руках, не то еще что-то. Длинное такое, с шелковым блеском, само розовое, а по нем нацеплены кружева, как на мамино подвенечном платье, что в сундуке лежит.

Подошли две нарядные молодницы в одинаковых плюшевых жакетках. Стали щупать, переворачивать с подкладки, примеряться, выйдет ли из этой штуки две кофты. Костя стоял, смотрел. Тетка сказала цену — три меры муки. Женщины ахнули и возмущенно переглянулись.

— Этот пеньюар носила сама графиня Рукницкая. Понимаете вы? За одно бы поглядение на такую вещь платить должны, а им дорого! — Тетка сердито выдернула розовое из рук бойкой молодки.

— Мучки захотелось твоей графине, да? — Старшая наступала на тетку, нехорошо улыбаясь и показывая крепкие белые зубы. — Чего ж она дома-то не сидела в своем пенью... пенью... тьфу, пропасть, сарафане? Испугались большевиков, к нам же спастись прибежали да нас же лаеете?

Костя оторопело смотрел то на молодич, то на тетку, продающую рясу в кружевах с чудным названием.

Теперь он понял, что за люди попадались ему здесь на глаза, непохожие на местных крестьян, предлагающие на продажу или мену всякое барахло. Вот, значит, кто это. Беженцы от большевиков.

Костя сплюнул и пошел бродить дальше.

Снова привычное — кожи, хомуты, овчины, ложки. А вот стоит девчонка, видать, тоже беженка, не здешняя... Она стояла спиной к Косте. Он видел тоненькую, как хворостинка, фигурку, затянутую в голубое пальтецо с небольшой беличьей опушкой. Девчонка чуть покачивалась на тонких каблучках высокошнурованных ботинок — как только ее ветер не сдует! Подошел, заглянул в лицо и страшно удивился. Совсем не девчонка это была, а тетенька, давно не молодая. И зачем это она оделась так неподходяще?

Женщина ничего не продавала, не меняла. Просто стояла, осматриваясь, будто ждала чего-то. Потом она вздохнула, вынула руки из муфты, висевшей на шнурке, что-то сделала с ними — и на концах ее пальцев вспыхнули язычки пламени. Вот руки взлетели вверх, и над головой, над голубой шапочкой, загорались огоньки, как будто пламя плясало, разгораясь. Женщина изгибалась, все быстрее взмахивала руками, будто ей было так весело, что удержаться от пляски невозможно. Но глаза ее серьезно и внимательно вглядывались в людей. Когда собралась небольшая толпа, женщина опустила руки, и с кончиков пальцев безжизненно свесились язычки пламени — всего только лоскутки оранжевого, красного, багрового шелка. Потом сняла с правой руки проволочные колпачки, на которых были укреплены связки лоскутков, и протянула стоящим вокруг людям.

— Купите.

— Чего это ты делала? — спросил какой-то дюжий детина с прилипшей к губе шелухой от подсолнуховых семечек,

— Танцевала танец жрицы огня. Купите.

— А на кой? На кой его жрать, огонь-то? — захохотал громко парень, оглядываясь и ища поддержку своему веселью. Вокруг засмеялись.

Одна пожилая женщина сочувственно отозвалась:

— Пустяки такие кто купит? Вы бы что другое...

— У меня ничего нет больше. — Глаза у жрицы огня стали красными, и нос покраснел, лицо как-то сморщилось и сделалось совсем некрасивым.

— Как же так нет? Чай, кто из Расеи приехавши, у всех полно всякой одежды. Бедные-то тамот-ка, в Расее, остались.

— Нет ничего у меня. Я танцовщица. В театре служила. Знакомые уезжали, ну и я поехала. — Глаза, набрякшие слезой, смотрели тоскливо. — Купите, может, ребятишкам на забаву.

Костя разозлился на эту глупую старую жрицу, одетую, как девчонка. Кой черт ее тащил бежать от большевиков вслед за богатыми графинями, которые ходят, оказывается, в каких-то рясах с кружевами! Что бы ей сделали большевики, раз она сама бедная, служивая. Вот дура-то! Он пошарил в карманах — вдруг найдет, на что сменить эти ее лохмотки. И танцовщицу бы выручил и дома бы чудес напоказывал. Но в карманах ничего не нашлось. Зато под правой рукой через рубашку и полушубок прощупался некий металлический предмет, подвешенный на ремешке под мышкой. Костя осторожно коснулся глаза, не заметил ли кто со стороны, что у него спрятано под полушубком, и поспешил выбраться из кучки любопытных, окруживших жрицу огня.

Позже, в самый разгар торгового дня, перед всем этим народом, продающим, покупающим, просто глазающим, меняющим барахло на муку и сало, перед этими крестьянами, которые громко торгуются, пытаюсь приобрести самое необходимое в хозяйстве, перед всеми ними будет выступать Анна Васильевна. Костя специально ради этого привез ее сюда из Поречного, где она все еще скрывалась у них, у Байковых, время от времени отлучаясь на несколько дней и опять возвращаясь под гостеприимную крышу. В Ползухе уже ждали двое товарищей, которые будут ее охранять во время митинга. И тот металлический предмет — вороненый наган, подаренный Игнатом Васильевичем, — прилажен Костей на петле под мышкой тоже на случай, если агитаторшу на митинге придется защищать. Сама Анна Васильевна и не знает, что Костя взял наган с собой. Она даже особо предупредила — не брать оружия. В случае проверки или обыска в дороге как раз можно попасться... Но Костя взял.

Занятый своими мыслями, он не очень внимательно смотрел, куда идет. Не заметил, что движется прямоком на дородную тетку с двумя петухами в руках. Тетка эта, одетая в широченную овчинную шубу, топорщившуюся на боках толстыми сборками, сама была шириной с телегу, и петухи ее под стать хозяйке: большие, тяжелые, черные с зеленым отливом. Тетка высоко поднимала их, чтоб всем был виден ее товар, и время от времени встряхивала, чтоб петухи не закатывали глаз под пленку и не роняли вниз головы с пылающими гребнями.

Костя же не замечал ни тетки, ни ее петухов, пока не наскочил на нее, чуть не сбивши с ног. Та, обороняясь в испуге, двинула его зажатыми в руках тяжелыми петухами. Костя отпрянул, возмущенно ругаясь. Одновременно раздалось оглушительное «Ко-ко-ко-и-и! Ко-ко-ко-и-и!». Петухи заорали на весь базар резкими, металлическими голосами, забили крыльями, пытаюсь вырваться из рук хозяйки. Она не менее громко стала желать Косте и всей его

родне, чтоб их расшиб паралик, чтоб они треснули и провалились куда-то очень далеко. На этот тарарам стали собираться люди. Старик, который хотел было прицениться к полосам жести, разложенным на дерюге, тоже поглядел, что за шум. Старика показался знакомым парнишка, из-за которого разгорелся сыр-бор. Он даже прикрыл глаза ладонью, чтоб снежный блеск не мешал получше его рассмотреть. Но парнишка сразу куда-то делся, и старик, даже не пытаясь понять, куда, опять равнодушно поворотился к жести.

Костя же, когда увернулся от тетки с петухами, тоже заметил старика и, несмотря на то, что тот согнулся над жестяными полосками, сразу узнал его. Как он мог не узнать деда Балабанова, которого изо дня в день каждое утро встречал на крыльце школы с колокольчиком в руке? Балабанов, сдававший свой дом селу под школу, экономил на каждом грошике, скудно и удушливо топил классы, слепо освещал, рычал на ребятшек, когда те весной и осенью натаскивали грязь на обутках, иногда и оплеуху отвешивал или пинок. Но все-таки он был в сознании Кости нераздельно связан со школой, с колокольчиком, возвещавшим начало занятий и веселых переменок, и вспоминал о нем Костя всегда по-хорошему. Однако настал день, когда и у Кости и у других пореченцев отношение к этому человеку резко переменялось.

В тот день Игнат Гомозов от имени сельского Совета объявил, что учиться дети теперь будут бесплатно, за школьный дом Балабановым тоже никакой платы больше не будет, так как дом реквизируется и становится собственностью всех сельчан. А жить бывшим хозяевам разрешается там же, где они и раньше жили, то есть на первом этаже дома, с тем чтобы они, как и прежде, смотрели за порядком, топили и освещали школу, за что им от Совета будет идти еще и небольшая плата. Большинству пореченцев, и взрослым и ребятшкам, такое постановление очень понравилось. Только Балабанов принял его по-другому. В одну ночь вынул все стекла из окон, снял с дверей крючки и петли, все, что можно было вывернуть, выломать, снять, снял даже печи разрушил. И, подложив под изуродованный дом горящей соломы, подался куда-то со своей старухой.

Теперь встреча с ним вызвала у Кости неприятный холодок. Больше ему не захотелось бродить по базару. Он побежал прочь, скрываясь и от могучей тетки, и от ее горластых петухов, и от пристально глядящего Балабанова. Да и время уже было возвращаться в дом, где они остановились, к Анне Васильевне. Скоро, наверное, собираться на митинг.

— Люди добрые! Отцы, матери, жены, сестры! Слушайте, люди!

На голос Анны Васильевны, громкий, но все же не способный перекрыть шум базара, обернулись сначала те, что находились поблизости. К ним обращалась женщина, стоящая на высокой бочке, поставленной кверху днищем. Сбившаяся с ее головы ярко-желтая шаль открывала пышные волосы над выпуклым лбом, обветренное, как у всякой крестьянки, круглое, чуть скуластое лицо. Серые глаза ее глядели как бы на всех сразу и каждому отдельно — в глаза.

— Люди добрые! Все, что вы здесь, на базаре, выручили от торговли, что купили для хозяйства, все это не ваше!

— Чего, чего? Как не наше?

— Чё, паря, она кричит?
— Кто уворовал? У кого?
— Да не напирай, задавишь!
— Не твои, слышь, хомуты, которы продаешь.
— Ого! Это еще чьи же? Я счас покажу, чьи хомуты, ну-ка пропусти!

Убедившись, что слова ее заинтересовали, повернули к ней народ, учительница продолжала громко, на весь базар:

— Все это не ваше! Колчаковские власти, милиция да военные могут в любую минуту налететь и забрать все до крошки, все до нитки, до щепки, а вам и пикнуть нельзя.

— Вона про что-о! Ишь, смелая...

— У них сила, и власть, и оружие! Они приходят во дворы и дома, грабят открыто, не считаясь с вашими нуждами, не оставляя куска хлеба для детей! Не оставляя ни коня, ни колеса!

— Да уж это верно: пришли, так отдай! Спорить не приходится!

— Правильно говорит баба!

А «баба» продолжала, волнуясь и торопясь высказать главное, пока есть возможность говорить:

— Нет лютее врага для крестьянина, чем адмирал Колчак и все его прихвостни!

— Верна-а-а!

— Эй, заткни ей ро-от!

— Говори, не бо-ось!

Костя находился рядом с «трибуной» и тревожно поглядывал то на ораторшу, то на толпу, то на крепкого коренастого человека, который стоял ближе всех, почти прислонился к бочке и спокойно, с виду даже равнодушно, глядел вокруг. Это был Николай Иванович, один из двух товарищей Анны Васильевны, тоже приезжих, которых никто здесь не знал. Второй стоял сзади бочки-трибуны и хорошо видел всех, кто находился за спиной у выступавшей. Костя даже не знал имени второго. Тот был молчалив и за несколько часов знакомства не проронил ни слова. Когда раздался особенно злобный крик, Костя слегка подтолкнул Николая Ивановича: не пора ли? Тот в ответ чуть мотнул головой — не мешай, мол, — и продолжал глядеть вокруг все так же отчужденно и равнодушно, но Костя чувствовал: он напряжен и готов к действию.

— Вы отдаете безропотно самое дорогое — своих сыновей в солдаты Колчаку. Выходит, ваши же сыновья вас же и грабят, стреляют в вас и братьев своих, таких же крестьян!

Вдруг у самой головы учительницы просвистел какой-то снаряд и шлепнулся в снег. Костя скосил глаза и увидел здоровенную брюкву.

Анна Васильевна продолжала свою речь. Людей словно загипнотизировала эта женщина, так смело среди бела дня при всех произносящая бесстрашные, поражающие правдой слова. Костя увидел давешнюю тетку в сборчатой шубе. Она держала уже только одного петуха. Но не на весу — напоказ, как прежде, а прижимала к себе кулем, не замечая даже, что ее иззелена-черный красавец безжизненно свесил отягченную пыльным гребнем голову. Не до того ей было: приоткрыв рот и не сводя глаз с учительницы, она ловила каждое ее слово.

Пронзительно залился свисток. По пустому пространству площади сюда, к толпе, сгрудившейся вокруг бочки-трибуны, тяжело бежал колчаковский милиционер, и длинная сабля-седелка била его при каждом шаге по ногам. Косте он виден был сбоку. Видно было, как он смешно вытянулся на бегу: голова, как у гуся, устремилась вперед на длинной шее, вот-вот клюнет, подалось вперед и все туловище, а ноги в коротких, сгармошенных сапогах не

поспевали. Похоже, мешал нависающий толстый зад. Полушубок топорщился над ним, как отставленный хвост.

Увидела милиционера и учительница. Она зачистила, срывая голос, торопясь успеть, закончить:

— Одна только есть справедливая власть, это власть народа, Советская власть рабочих и крестьян! Не давайте сыновей в белую армию! Встречайте врага вилами, топорами, беритесь за оружие! Защищайте Советскую власть.

— Жми, тетка, твоя правда!

— Бей заразу!

— Долой Колчака, долой мобилизацию!

— Куда прешь, лешак, ногу, ноженьку-у!

Милиционер тщетно пытался прорваться сквозь плотно сгрудившиеся полушубки, зипуны, шали. Ему подоспело подкрепление — двое на конях.

Между тем на бочке уже никого не было. Анна Васильевна прыгнула на руки Николая Ивановича. Тот сильным движением толкнул ее вперед, вслед за своим молчаливым другом, расчищающим грудью и локтями путь. Толпа расступалась перед этими тремя и снова сливалась за ними, как стена колосьев. На ходу размоталась желтая шаль и поползла с головы учительницы. Николай Иванович едва успел ее поймать за конец. Теперь она ярким пятном маячила над толпой всякий раз, как он поднимал руки.

А размахивал он руками непрерывно, как мельница крыльями, опускал их на головы тех, кто рвался догонять агитаторшу. Кто-то в азарте дернул за шаль, отодрал клоч. Потом еще, еще, и вот уж то там, то здесь желтыми цветками мелькают над головами ее лоскуты.

Милицейские кони, храпя, напирали на толпу, она шарахалась, но за кем гнаться, не могли понять уже и сами милиционеры. Базарная площадь вся кипела, бурлила. Полетели, разбиваясь, горшки какого-то незадачливого гончара. В одном месте над головами взметнулась оглобля.

— Ты кричал «Долой Колчака»? Получай, варначья душа!

— Братцы, ейного помощника поймали!

— Где, где?

— Во-он, с желтой тряпкой в руке.

— Да ты што, свойх не узнал, дура?!

— Бей толстомордых!

Костю вертело и поворачивало в толпе помимо его воли. Все вокруг вздыбилось, закипело. Не поймешь сразу, кто за кого. Костя и сам тычет кулаками направо и налево, метаясь, как ему кажется, в противника. Только время от времени трогает локтем, проверяет, не потерялся ли наган с ременной петли под мышкой.

Те, кому было наплевать и на агитаторшу и на ее противников, торопливо кидали в мешки и кули привезенный скарб, наспех запрягали лошадей. Страх попасть хотя бы только свидетелями в руки колчаковской милиции подгонял их.

— Эй, поберегись! — раздавалось разом и с той стороны и с этой. — Поберегись! Но-о!

В движении конных, пеших, крестьян с мешками за спинами, с корзинами и ведрами, в движении любопытных, сочувствующих или озлобленных затерялась Анна Васильевна.

Даже Костя окончательно потерял ее из виду. Заметил, что в одном месте толпа особенно бурлит и любопытные тянут головы через плечи впереди стоящих, — с тревогой бросился туда. Там Анны Васильевны не оказалось. Люди столпились вокруг Сергея Петровича Балабанова, который размахивал зажатой в кулак шапкой и кричал, убеждая в чем-то колчаковского офицера.

— Говорю тебе, ваше благородие, учительница она. — Дальше следовали слова, которые Костя никогда бы не смог повторить при Анне Васильевне. — В Поречном детей учила, сука, в моем собственном доме. Я ее вот так знаю, вот как тебя вижу, так и ее видал каждый божий день. Хотя у людей спроси — скажут тебе, что я сам из Поречного, дома лишился через эти Советы, будь они прокляты!

— Дак чего орешь? — осадил его колчаковец. — Садись в сани.

Он толкнул Балабанова к ближайшей запряжке, на которой хозяин уже совсем было собирался трогаться прочь, сам прыгнул в передок и выхватил вожжи из рук остолбеневшего крестьянина. Тот и глазом не успел моргнуть, как его кони, нахлестываемые неожиданными седоками, понеслись, обгоняя пеших и конных, тянувшихся с базара.

— Стойте, — опомнился наконец хозяин, — там яйца, яйца в соломе, язви вас! Подавите!

Но санки умчались.

— В обгон ударились. Знать-то, на дороге станут, перенимать всех да осматривать, не опознают ли ее. Этот живо найдет, раз знакомый, — услышал Костя.

— Жалко ее, правду говорила... — и сразу же опасно: — Тихо, ты!

Толпа редела, разбрелась. Косте ничего не оставалось, как тоже побрести к дому, который дал им с Анной Васильевной приют. Как только вошел в дом, услышал от хозяйки:

— Пришел? Славу богу. А то сама места себе не находит. Надо, говорит, идти его искать...

Анна Васильевна и ее товарищи были, в общем, довольны: если сразу им удалось ускользнуть от преследователей, то дальше будет легче. Документы у каждого из них хорошие, можно надеяться пройти самую придирчивую проверку, а в том, что кто-то из присутствовавших на митинге сможет узнать агитаторшу в лицо, было мало вероятного. Она переделалась в дорогое городское платье, взбила волосы и стала очень похожа на фотографию, что наклеена была в углу паспорта, который удостоверять, что зовут ее Ефросинья, фамилия — Мездриня, а по званию она купчиха из города Каширы. Беженка, каких немало в эти месяцы появилось на Алтае. Костя со своими санками и конем Танцором тоже никого не мог удивить: приехал паренек на базар... Казалось, дела складывались как нельзя лучше.

Но вот прибежал Костя, рассказал, путаясь и ругаясь, что сейчас видел и слышал, и сразу все осложнилось. Теперь нельзя было больше надеяться ни на дорогое платье, ни на прическу, изменившую облик Анны Васильевны, ни на отлично изготовленный паспорт. О возвращении в Поречное тоже больше и думать нельзя: узнав из доноса Балабанова, что она учительствовала в этом селе, колчаковцы наверняка станут искать ее и там. После короткого совещания решили уезжать по дороге на Зубково, противоположной той, которая ведет на Поречное. Костя ответит ее до ближайшего села, где она сможет укрыться на время, а сам потом повернет домой.

Пока самым трудным было уйти из Ползухи. Решили первые шаги делать порознь. Костя выедет за село один. Отъехав версты три за околицу, свернет в ложок и там у начала таловых зарослей станет ждать Анну Васильевну. Она же, переодевшись нищенкой, пойдет пешком из села.

Все было решено и продумано, теперь оставалось действовать. Костя отправился к колодцу за водой, чтоб напоить Танцора перед отъездом. Заря долетела, присыпаясь тихим снежком попеременно с гус-

тым пеплом сумерек. Шел Костя открыто, ничего не опасаясь. Понимал: он-то сам ни для кого интереса не представляет.

А в это время по улицам Ползухи бродил один человек, заглядывая во дворы, всматривался, чуть ли не внюхивался в каждого мальчишку, в каждого парня, кто хоть издали был похож именно на него, Костю. И чем больше темнело, тем азартнее и нетерпеливей он искал. Балабанов больше не сомневался в том, что малый, встреченный им утром, был сыном пореченского коновала Егора Байкова и что появление его в далекой от Поречного Ползухе прямо связано с появлением Мурашовой. Сейчас, если бы удалось найти Костю, можно было бы считать, что и она в руках.

А Костя уже беспечно позванивал колодезную цепью, ловил отблески затухающей зари в гладкой лавине студеной воды, выливающейся из ведра в бадейку...

Что испытывал Балабанов, когда увидел Костю? Азартную радость удачно начинающейся охоты? Наверное, и это. Но главное — злобную гордость. Ведь как он, Балабанов, рассудил, так оно и есть! Здесь мальчишка, никуда не делся. Наверняка, здесь же и эта баба, не иначе!

Анна Васильевна собиралась в путь. Она решила выходить сразу, пока еще не настала глухая ночь и люди попадают на улицах. Если кто и увидит в это время горбатую нищенку с большой клюкой, не будет подозрительно.

Она надела рваные одежки, какие на всякий случай были припасены с собою, подмостила горб и стала торопливо пришивать к затрепанной холстяной суме оторвавшуюся ляжку.

Молодая хозяйка, выраженная по случаю пребывания в доме такой гостьи в новый передник и настиранный платочек, собирала ей подорожник. В зыбке тихо, с прихлебом посапывал младенец.

Сильно распахнулась дверь кухни и впустила кого-то. Обе женщины не отрывали глаз от своего дела, полагая, что вернулся со двора Костя, поивший коня, или хозяин, который вышел посмотреть, хорошо ли снаряжается в путь парнишка. Но по низу тянуло холодом, дверь не закрывалась. Хозяйка взглянула на вошедшего и сдавленно охнула. Ничего, конечно, особенного не было в том, что в избу без спросу вошел незнакомый, деревенский же старик. Особенное было в том, как он смотрел на гостью. Из его узких, заросших рыжеватой щетиной глазных щелок сочилась тяжелая ненависть. Казалось, в кухне, хотя в ней все оставалось по-прежнему, от этого взгляда что-то изменилось. Даже ребенок почувствовал недоброе и завозился, закричал в своей вишней колыбельке.

Наконец Балабанов разлепил губы:

— Что не привечаешь? Узнавать, однако, не хочешь, с-сука!

— Я поехал, Ан Васильна! — Возбужденный голос Кости зазвенел раньше, чем пропела дверь, впуская его. Влетел, ошеломленно уставился на Балабанова, стараясь сообразить, откуда тот мог взяться и что теперь делать.

Старик сразу отрезвел: их тут, может быть, много, а он один. Надо скорей людей звать. Злобно плюнув в сторону учительницы, Балабанов повернулся к выходу. В дверях, ощерясь, как волчонок, напрягнулся Костя. Левая его рука крепко уцепилась за дверную щеколду, а правая лихорадочно старалась нащупать и сорвать с петли прилаженный под мышкой наган.

— Ах ты, дерьмо собачье! — донеслось до Кости. Железные балабановские руки обхватили его и больно швырнули головой о косяк. Брызнули из глаз бестелесные светлячки... В сенях Балабанов загремел опрокинутым в темноте ведром, рванул выходную дверь. В тот самый миг, когда в лицо ему из двери хлынули отсветы белого снега, сзади страшно грохнуло и блеснул иной свет, которого Балабанов уже не увидел.

По сеням поплыл тошный запах пороха, в кухне в своей люльке визгливым плачем залился младенец. Сразу с нескольких сторон послышался собачий лай. Костя оцепенело, обеими руками сжимал наган и не двигался с места. К спине прилипла взмокшая холодная рубашка.

Одним прыжком взлетел на крыльцо хозяин, споткнулся о лежащее в сенях тело старика.

Потом хозяйка, зажимая рот фартуком, давилась беззвучным воем, а ее муж на нее же изливал свое отчаяние от того, что случилось в их доме.

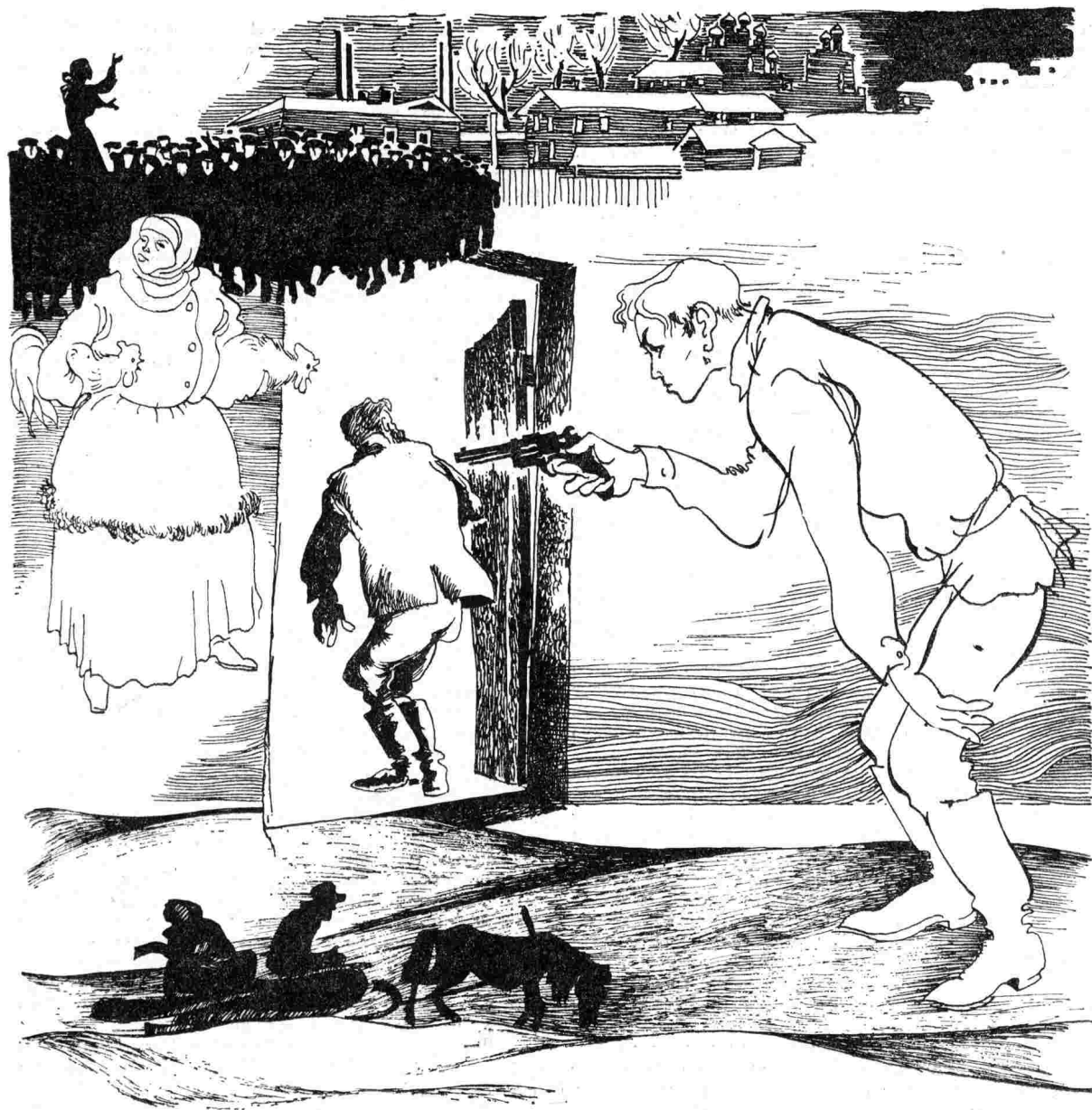
— Да умолкни ты, не рви душу! — остервенелым шепотом приказывал он ей. — Ведь ты должна в ногах у мальчика валяться. Не он бы, так нам бы всем, и ей, — он показывал на учительницу, — и мне, и тебе, и даже вот ему — кивок на ребенка, которого мать прижимала к себе, — всем бы живым не быть. Понимает ли твоя бабья колотушка, что беляки за укрывательство дают? Все добро — в огонь, а самим — смерть! Вас, баб, на войну хоть на денек. Знали бы, что стоит жись человечья... — Но у самого хозяина глаза были перепуганные и ошалелые, и говорил он больше для того, чтобы убедить себя самого, чем свою жену. — Уж это так сошлось, такая жизнь нынче, не ты его, так он тебя. Кто первый стрелял, тот и прав. Што поделаешь... — и искал подтверждения в глазах окружающих. А Костя слгатель твоя слюну. Разум его противился, не желал принять, что происшедшее здесь только сейчас страшное дело сделал он сам, его руки...

...Ехали быстро. Сначала, если оглянуться назад, еще видно было — на снежной равнине растекалось огромное темное пятно. Только так еще могли отличить глаза большое село Ползуху от остального пространства. Очень скоро и пятно пропало в полумгле зимней ночи. Танцор шел спокойной рысью, легкая кошевка скользила без всяких усилий по припорошенной колее. Оба молчали, и Костя и Анна Васильевна. Под мерный скрип полозьев Косте вспоминался прожитый день. И утренний базар, и вершина дня — митинг, и то состояние восторга, которое он испытывал во время речи своей учительницы, и бурные схватки после митинга. Вдруг уже не сознанием, а ладонями рук, кожей ладоней он вспомнил тяжесть балабановского тела, точно так, как он ощутил его часа три назад, когда вместе с хозяином дома переносил из сеней в ригу. Воспоминание это пронзило его. Неожиданно для себя, громко, судорожно всхлипнул и уж не смог удержать горького плача.

Он откашливался, шумно сморкался, рукавом вытирал глаза и нос, чтоб скрыть от учительницы свои слезы. Но они все лились, плач сотрясал его, не облегчая и не утоляя тяжелой, болючей тоски, какой он не испытывал до этого ни разу в жизни.

Анна Васильевна все понимала и не мешала ему. Только молча придвинулась теснее.

Полозья саней скрипели монотонно и успокаивающе. Тучи наплывали на пуну и втискивая ее в



каком-то тоже монотонном и успокаивающем ритме. Во всем мире будто не осталось ничего, кроме скрипа полозьев, мглистой снежной равнины и ныряющей меж туч луны.

Глава IX

Кружила над Алтаем весна 1919 года. Отплясывала дождями, то озорными, с солнечной прижмуркой, то будто секла землю частыми розгами холодных струй. Пронеслась ветрами над степью, расшевеливала прошлогодние травы, в колках у берез, только-только побрызганных зеленым накрапом, завивала кудри, перепутывала ветви

у боровых сосен. А то пригревала землю жаркими лучами, обещая тучные всходы, добрый урожай.

Однако мало кто бросал в землю семена. Жизнь людскую тоже кружили вихри, и покоя не предвиделось никакого. Работников во дворах осталось мало. Многие были мобилизованы Колчаком, иные сами ушли неизвестно куда. То есть кому-то, может, и было известно, но про то никто не говорил.

Опустел и двор Байковых. Костя накрепко пристал к партизанскому отряду Игната Васильевича Гомозова, который к весне стал намного больше. От бесконечных реквизиций в пользу армии, а попросту — открытого грабежа, от мобилизаций, от зверских наказаний, от всего, что делало все более ненавистной диктатуру Колчака, крестьяне бежали в леса, в степи, вливались в отряды партизан. К Гомозову приходили пожилые мужчины и молодежь, оружие добывали в бою. Так получил винтовку и Гараська Са-

марцев. Вначале отряд совершал не крупные, но сильно ранящие врага вылазки. Подстерегал на дорогах отдельные воинские части, навязывал бой, изматывая силы и перепутывая планы беляков. Налетал на мелкие воинские гарнизоны, уничтожал колчаковскую милицию, громил административные помещения, освобождал из тюрем политзаключенных.

Но положение на фронте против Колчака становилось все напряженнее. Красная Армия нуждалась в решительной поддержке отсюда, из колчаковского тыла. И действия отряда Гомозова становились все более широкими и дерзкими.

Всюду рядом с командиром, всегда у него под рукой находился командирский связной и разведчик Костя Байков на своем Танцоре.

Та тяжкая тоска, которая возникла у Кости зимней ночью при отъезде из торгового села Ползуха, давно прошла. Теперь больше не было ни жалости, ни страха. Костя за эту весну повидал столько жертв колчаковской лютости, столько замученных, порубанных ими, что горючая ненависть к врагу навсегда выжгла слезы.

Весну откружила над Алтаем. Лето развернуло пестроту лугового разнотравья. Стало легче устраивать партизанское житье-бытье. Где бы ни приткнулся отряд: в западине у речки или озера, в колке ли березовом — везде ему дом.

Вот и сейчас после нескольких дней непрерывных боев гомозовцы расположились на опушке ленточного бора.

Костя сидел под деревом, опершись спиной о ствол, и то рассеянно глядел на муравейник, вокруг которого в своем строгом порядке сновали муравьи, то жмурился на солнышко. Все вокруг дышало таким миром, будто никакой войны и нет нигде.

Родное Поречное, о котором давно не вспоминал Костя в горячке боевых дней, встало перед глазами. И почему-то особенно ясно одна хатка на краю села, а за ней огород. В последний раз Костя видел Груню на этом огороде ранней весной — она сгребала высохший прошлогодний бурьян и сор в кучки и зажигала их. Было прохладно, на Груне был старый мамин платок, крест-накрест перехлестнутый по груди и завязанный на спине. На ее лице впервые за многие месяцы обозначился слабый, сизоватый от ветра румянец. От зажженных куч тянулись толстые белые хвосты дыма и расстилались туманом.

Костя ей тогда хотел сказать, что уходит из Поречного надолго, а может, навсегда. Но почему-то не сказал. Так она и не знает, куда он подевался. Сейчас, этим мирным днем, ему пришла в голову мысль, показавшаяся очень простой и выполнимой: вот он встанет, найдет Игната Васильевича и отправится на денек слетать домой, пока отряд стоит на отдыхе. Так просто, почему бы и нет?

— Костя! — перебил его размышления сердитый голос Гараськи. — Его командир ищет, а он сидит прохлаждается! А еще связной!

Отпрашиваться не пришлось.

Гомозов получил известие, что верстах в двадцати пяти отсюда в село Сальковку, в котором — он это твердо знал — было лишь несколько колчаковских милиционеров, явилось много военных. Надо было срочно выяснить, понять, для чего противник сосредоточивает силы здесь, в глубоком тылу. Вот Гомозов и решил послать в Сальковку своего разведчика Костю и вместе с ним Герасима Самарцева. Командиром маленькой группы назначался Костя, так как Гомозов больше полагался на его сметливость и опыт разведчика.

— Вернуться должны до утренней зари. Ясно? В Сальковке живет мой знакомец Тимофей Пархомов — к нему зайдите. Но чтоб у него вас кто лишней не увидел. В случае — мало ли чего, к сроку не вернетесь — через него искать буду.

Хорошо бы в разведку ходить так: взял себе, приехал куда нужно, а там — перед самым тем местом — высокий холм или еще лучше — башня стоит. Брошенная башня, никто ее не охраняет. Забрался повыше и подзорную трубу к глазам, а то и бинокль. Разумеется, приехал не ночью, ночью ни в какую трубу ничего не увидишь. Глядишь, значит, с башни — все село как на ладони. Еще лучше бы, чтоб все, какое ни стоит в селе войско, на смотр собралось. Выстроились солдаты и офицеры, и сколько есть пулеметов — все на смотр, и даже если пушка есть, то и она бы стояла. А ты в это время с башни раз-раз, все осматрел, посчитал, а хочешь, так даже срисовать можно, и слезай себе потихонечку, езжай к своему командиру, докладывай.

Так бы хорошо, конечно, если бы Костя играл в войну с ребятами на выгонах за Поречным. А на самом деле...

— Ты, Гарась, подороже запрашивай. Если видишь, хозяину взаправду батрак нужен, согласен оставить тебя, ты заламывай такую цену, чтоб он от злости сразу выгнал за ворота. А то застрянешь в одном дворе и дале не вырвешься, ага?

— Да ладно учить, небось, соображу. Мне и проще: хоть кому буду говорить, а все одну правду. Никто не запутает. Сам из Поречного. Семья бедная, голодаем. Ищу работу — подкормиться и чтоб выгоднее... Ты-то вот сам лучше подумай, какие сказки сказывать. Если пойдем оба по одинаковому — могут взять на подозрение.

— У меня их несколько, сказок. Тоже близко к правде. На месте виднее будет, какая придется. О, смотри, Гарась, видишь вон в поле чернеет стог? Самое место под ним коней оставить. А то дальше же ни кустика не видать, степь, как тот стол, ровная.

И верно, на плоской, до головокружения плоской степи только одно укрытие — длинный прошлогодний стог, осевший посередине, будто на него верхом усаживалось целое войско и продавало спину. К нему сворачивают ребята, стреноживают коней.

Пора расставаться и самим разведчикам. В село войдут порознь. Сначала Герасим, потом через некоторое время — Костя. Гараська звонко шлепает друга по руке, пожимает ее.

— Вечером свидимся у Тимофея Пархомова. Ага?

Потом и Косте пора уходить. Он прячет уздечку в стог и прощается с конем:

— Ну, бывай, Танцор, пасись, в руки никому не давайся!

Крайние дома в Сальковке, огороженные ивовыми плетнями, как и в Поречном, неприглядные, низенькие. Будто борясь с каким-то злым богатырем, не осилили — ушли в землю по колено, по самые оконца, а подняться так и не смогли.

Посреди улицы на зеленой, незаезженной муравке бродят гуси, у одного из домов кружком сидят ребяташки.

Был час заката. Большой и круглый, как решето, раскаленный солнечный диск висел над самой землей, накаляя собой кромку горизонта. По небу вверх и в стороны растеклись золотые подпалыны. Потом солнце прожгло щель между небом и землей и соскользнуло туда. Но не все. Самый краешек зацепило, от этого он засиял еще нестерпимей, и во все стороны от него побежали так же нестерпимо сияю-



щие игольчатые лучи. Дети, сидящие на траве, то заглядывались на это ежедневное чудо, то снова принимались за свой, какой-то, видать, очень важный разговор. «Хорошо быть маленькими,— подумал Костя.— Война не война — у них свои дела, и ни о чем они больше знать не знают».

Костя шел, зорко поглядывая по сторонам. Сильно стоптанные обутки, отцовский пиджак с подвернутыми рукавами, сумка через плечо — не то, чтобы нищенская, а все ж таки сума,— показывали, что идет издалека.

Теперь он близко видел настоящих колчаковцев в военной, иностранного образца одежде, слышал их голоса. Не те голоса, которыми отдают команды каратели — их Костя вовек не забудет, и не те, хриплые, похожие на вой, какие доводилось слышать в ближнем бою, а обыкновенные, мирные, смеющиеся

и разговаривающие голоса с виду как будто обычных людей. Но Костя знал, что это нелюди, и от ненависти к ним, натягивающей каждый нерв, и оттого, что ее нельзя ничем выдать, ознобные мурашки покалывали его спину.

Костя обратил внимание на то, что, кроме военных, в селе есть еще чужие, без всякой военной формы, просто мужики. Что люди эти чужие, можно было заметить по тому, как они бездельно толпятся кучками, громко, праздно разговаривают, хотя во дворах в это время еще много работы. Кроме того, Костя заметил у некоторых из них оружие, притом неодинаковое. У одного большущий маузер в деревянной кобуре свисал с пояса, а у другого виден был вовсе не большой наганчик.

Солдаты — это было понятно, а вот эти мужики — что-то новое. Но ясно: они заодно с солдатами, раз

вместе здесь. У одного дома, где толпились такие люди, Костя остановился и присел на скамеечку у ворот.

Коренастый мужик в картузе с переломанным надвое козырьком, посверкивая хитрыми глазками, рассказывал про какого-то Мелентия из своего села, который съедал за один присест двадцать пять блинов и на спор мог еще сверх того умять незнамо сколько. Под такой разговор захотелось есть. Костя достал из сумки кусок хлеба, начал жевать — на него стали искоса поглядывать. Съел хлеб, обдернул на себе одежду и нарочито браво обратился к мужикам:

— Здравствуйте, дяденьки!

— Здоров, здоров, молодец! Кто таков будешь?

— А я — Байков Константин. Отца моего нету среди вас?

— Кого? Какого еще отца?

— Байкова Егора не знаете?

— Да он хоть где у тебя? Ты сам куда шел?

Костя рассказал обстоятельно и с подробностями свою «сказку»: он, Костя Байков, сын коновала из Поречного. Через их село недавно проезжали какие-то военные, у них лошади заболели. Несколько коней сразу. А отец-то, он не только коновалит, он и лечить умеет. Поправил тех коней и ушел добровольно с той частью. Сказал — вернусь, как всех красных разобьем.

— А я тогда что же? — продолжал Костя, заметив, что рассказ его нравится. — Раз отец у Колчака, и я себе пойду служить, бить красных. Вот только хочу туда, где батя!

— Ах ты, дуй его горой, так, перетак! — восхищенно выругался тот, с хитрыми глазками. — Ну парень!

— А мамка-то что ж, пустила тебя?

— Чё ему мамка! Сам, однако, с усам, убог, небось?

— Убог! — сознался Костя, весело и браво глядя на мужиков, чем еще больше расположил их к себе.

— Дак с нами оставайся!

— Чё, с нами. Ему в форменные военные охота. Мундир надо, верно, штоль? Хочет генералом! Ха-ха-ха, хо-хо-хо!

Очень хочется Косте спросить — а вы кто такие? — но он продолжает:

— Я бы и остался. Дак батя нешто у вас?

Вокруг собираются еще мужики. Вновь пришедшим показывают Костю, объясняют, кто такой, смеются.

— Дяденьки, — опять спрашивает Костя, — а котрые в мундирах, может, батя-то мой с ними?

— Эвон, увидал. Это ж пехота, а твой-то, говоришь, при конях? Какого же черта ему в пехоте состоять? Нету его тама.

— Братцы, а чего мы расталдыкиваем, не жрамши? Однако, живот подвело.

— Во-во, и главное дело не пимши! Айда в дом. Пошли, паря, с нами.

У крыльца их встречает старуха. Хмурый взгляд как бы пересчитывает, сколько их, нахлебников.

И вот уже Костя вместе со всеми за столом. Булькает, наливаясь в мутные стаканы и глиняные кружки, самогон, источает дразнящий дух горячая картошка в сметане. На загнетке, над горящими лучинками, шипит масло в раскаленной сковородке, с квакающим звуком плюхаются туда разбиваемые старухой яйца.

— Слышь, мать, — поднимается высокий с раздвоенной губой мужик. — А ты что одна копаешься здесь?

Старуха молчит, будто не к ней обращен вопрос.

— Молодая, говорю, тут была, как мы пришли, слышишь, что ли? Аль оглохла? Где она? Куды дела, ну?

Старуха молчит. Ногой, затянутой в добротный хромовый сапог, мужик с размаху пинает старуху и, длинно ругаясь, выходит из кухни. Остальные, будто ничего не случилось, продолжают свои разговоры. Сквозь гул этих разговоров Костя обостренно настроенным ухом слышит, как во дворе завохтели испуганные куры, как хлопают дверцы сараев и сараюшек, как рыщет по двору высокий.

А за столом беседа, в которой каждый слушает только самого себя, разгорается все жарче. Опустошаются и вновь наполняются стаканы и кружки. Сковорода, только что сившая на столе солнцеподобной яичницей, снова опустела, и лишь наиболее азартные едоки еще тянутся с кусками хлеба вымакивать растекившиеся по ней желтые лужицы.

Кто такие эти люди, яснее не стало. Костя уже подумывал, как бы самому начать похитрее выпрашивать, да услышал спор между двумя соседями по столу и заинтересовался.

— Да что ты мне тычешь — «капитан да капитан»! Нас... я, однако, на твоего капитана!

— Ты не сдурел, Агарок? — одернул его сидящий рядом мужик.

— Чего, сдурел! Раз мы дружина «Святого Креста», так и должны быть дружина, а не капитану Токмакову ж... лизать.

— Эй, заткни хлебало, Агарок! — опять одернули его, но Агарок разошелся и замолкать не собирался.

— Я, слышь, не набилизанный! — Стук по столу кулаком. — Я сам по себе пошел красную сволочь стрелять, и никто мне не указ! А этот Токмаков, гад, по роже доставать вздумал. Видал? Конь ему мой не поглянул, как прибран. Вы, говорит, мне приданная кавалерия, дак, мол, должны... А, фиг, говорю, я тебе должен. Выкуси. Он тогда за кобур. Слышь ты, нет? За кобур схватился! Ладно ребята подскочили, а то бы я ему показал кобур...

Агарок от злости протрезвел, говорил яростно и ясно.

— А чё вы ему рот затыкаете? — поддержал Агарка плотный рябой мужик. — Верно баит. То и главное-то, что эта пехота по роже норовит достать. Унтеру ихнему, халяве, тоже честь отдавай. А я еще в окопах ее наотдавал, чести этой. Как хотите, братцы, а я, как партизанов этих кончим, так домой, либо новую дружину сбивать надо. А так — вместе с этой пехотой — больше не согласный!

— Тише вы, варнаки, язык у вас отсохни!

Костя слушал каждое слово, вникал в его смысл и оценивал и одновременно вспоминал то, что раньше хотел навеки забыть. Так вот, значит, с кем он сидит за одним столом, яичницей лакомятся... Дружина «Святого Креста». Белая банда.

Да, Костя хотел бы навеки забыть то, с чем связаны были у него в памяти эти слова «дружина Святого Креста», но не мог.

Это случилось недели три назад. Костя и партизан ихнего отряда Захар Суренко повезли продукты во временный партизанский «госпиталь», размещенный на заимке Захара, в глухом месте, отдаленном от дорог и селений. Там Захарова жена Анастасия кашеварила раненым и врачевала, как умеет, потому что на настоящую врачебную помощь надежды не было. На всякий случай, для охраны с ней оставался еще старик отец, и двое из семи тяжело раненных могли держать в руках оружие.

Когда Костя с Захаром подъехали, их насторожила

необычная тишина. Над крышей избышки не вился дымок, нигде никого не было видно. Остановили телегу под деревьями и пошли к домику. И сейчас, когда Костя вспоминал о том, что увидел там, у него заболело внутри, будто кишки завязались узлом и тошнотным комом подкатили к горлу. У порога лежал зарубленный шашкой старик, теть Захара. Все семеро раненых были свалены на полу кухни в страшную кучу изуродованных тел. Захаровой жены тут не было.

Костя и Суренков вышли на волю и, разойдясь в разные стороны, стали осматривать окрестности домика. Суренков остановился как вкопанный, глядясь во что-то внизу, на земле, что ему, Косте, за высокой травой видно не было.

Услышал ли Суренков его шаги или сам понял, что Костя подойдет, но он закричал высоким, надрывающим голосом: «Не подходи! Не подходи!» — сделал руками жест, как бы загораживающий то, что лежало перед ним, и обернул к Косте лицо. Лица этого, искаженного нечеловеческой мукой, Костя тоже никогда не забудет.

Так и похоронили их в двух могилах: раненых партизан и деда в одной большой, эту копали оба — Костя и Захар, и отдельно Захарову жену. Муж могилу копал сам и похоронил сам — Косте не велел приближаться. Он все время молчал. Когда они сделали все, что должны были и могли сделать, и пошли запрягать лошадей, Суренков повернулся и пошел обратно к избышке. Костя — за ним по пятам. Суренков аккуратно прикрыл дверь избышки, постоял и после с четырех сторон поджег ее. Здесь на наружной стороне двери, перед тем, как пламя охватило домик, Костя увидел ранее не замеченную бумажку, на которой химическим карандашом было написано: «Поклон партизанам от дружины «Святого Креста» — и вместо подписи внизу стоял сильно наслонявленный крест.

Так вот с кем Костя сидит за одним столом, чьи речи слушает! И эти упыри, как и те солдаты на улице, с виду похожи на обыкновенных людей, на подвыпивших мужиков, которые высказывают друг другу жалобы на начальство...

Хорошо, что на улице стемнело, что на кухне туманом ходит махорочный дым, что маленькая лампочка светит тускло — никто не видит, с каким трудом сдерживает Костя желание вцепиться в ближайшую же морду, как напрягает он все свои силы, чтобы выдержать до конца.

Он отметил в памяти слова дружинника — «как кончим этих партизанов» — и теперь старается сообразить, что это может значить и что надо делать. Значить это может именно то, чего опасался Гомозов: эта дружина вместе с той пехотой собирается выступить против его отряда. А делать надо вот что — скорей лететь, докладывать дядьке Игнату. Но ведь в селе имеется еще пехотная воинская часть, а про нее Костя ничего не знает. Сколько людей, какое вооружение? Успел ли Гараська узнать что-нибудь об этом, пока неизвестно. И вот Костя, старательно поддельваясь под braveго мальчишку, каким он сюда вошел, обращается к своему первому знакомцу, тому, с хитрыми глазками:

— Дяденька, чего я у вас спрошу, а, дяденька?

— Ну, чё?

— Не сходили бы со мной к тем военным, спросить про моего бату? Одного меня, небось, и слушать не станут, а они, может, как раз про него и слыхали, знают, где найти? А, дяденька?

Дяденька ответить не успел, — в сенях послышался шум, громкие возгласы. Подваливали гости.

Может, гостей было трое-четверо, а может, вошло

сразу сто человек, Костя сказать не мог бы, потому что увидел входящего земляка своего, Никифора Редькина, и больше уж никого и ничего не замечал. Редькин, оказывается, был здесь своим. Его, как и остальных пришедших вместе с ним, встречали радужными возгласами, теснились, чтоб дать место за столом.

Поверх всегдашней домотканой рубахи на Никифоре красовалась дорогая жилетка в пестрых цветочках, а с головы он снял и держал в руке, не зная, куда деть, свою вечную шапку, облезшую до того, что трудно было определить, из какого она меха. И зимой и летом эта шапка торчала у Редькина на голове. По ней можно было узнать хозяина, еще не видя его самого. Теперь почему-то Костя не мог отвести глаз от этой шапки. Будто оттого, что он не смотрит Редькину в лицо, старый балабол и пьяница, неведомо почему оказавшийся вместе с этими бандитами, и сам его, Костю, не заметит.

Это продолжалось очень недолго. Когда Костя заставил себя спокойно и беспечно оглядеться вокруг, гости еще не успели сесть, еще стаканы в их руках были полны.

— Мотри-ка, — услышал он дребезжащий голос Редькина, — тута землячок сидит! Каким тебя ветром, паря, занесло?

Костя медлил с ответом. Его сосед по столу объяснил пришедшему, каким случаем оказался среди них мальчишка.

— Да ты что? — громко удивился Редькин. — Да быть же не может этого. Я сам вовсе недавно домой наведывался — там был коновал, в Поречке! И военных на лошадях никаких не было...

Вот этого боялся Костя с первой секунды, как увидел Редькина. Мужики, явно заинтересованные, стали замолкать и прислушиваться.

Костя пошел из-за стола навстречу Редькину, то есть поближе к двери. «Вовсе недавно — это когда, — быстро соображает он, — вчера? Неделю назад?» Ноги сами, без Костиного хотения, готовы вынести его вон из этого дома.

— Это третьеводни было! — выпаливает он, и что-то внутри у него сжимается: сейчас начнется...

— Третьеводни если, то так. Я-то ведь уж ден как пять дома был, — успокаивается Редькин.

Пронесло.

— Дак оставайся, паря, с нами. У нас и еще, однако, из Поречного есть. И знашь-ка, из каких самостоятельных есть-то!

Костя слушал молча, но во взгляде его Редькин уловил сомнение.

— Что, я, думаешь, несамостоятельный? Не-ет, Редькин, сказать, тоже не в дровах найденный. — Старик горделиво похлопал себя по животу, затаянному в дорогую жилетку с чужого плеча. — Плесника, мил человек, расскажу, как достался трохвей-то этот. Слышь, плесни говорю, — настойчиво протягивал он кружку, но наливать ему не спешили — в бутылки на столе и в жбане на полу было пусто.

Приступили к хозяйке.

— Нету более, — повалилась та в ноги, — ни рёсинки нету. Сами же, родименькие, выжрали до сухого дна, теперь хоть убейте — нету.

— Погоди-ка, — сказал один из тех, кто пришел вместе с Редькиным. — У нас-то, где мы стояли в избе, еще оставалась четверть непочатая. Сюда надо принести.

— Во, малого надо наладить, пусть притащит.

— Я к военным хотел, про бату спросить...

— Мало чего хотел! Ступай давай, еще вякает! — рыкнул на него Агарок.

— Иди, иди, а как принесешь, тебя тогда земляк

к пехоте-то и сводит,— добавил «дяденька», к которому обращался Костя.

Редькин, не очень понимая, куда это он должен будет сводить Костю, согласно кивал головой:

— Ага, сходи. Скажешь, Редькин Никифор велел вина выдать!

Очутившись за воротами, Костя глубоко вдохнул пахнувший дымом вечерней топки воздух. Ничего на свете ему так не хотелось, как прятнуть сейчас за угол и больше не возвращаться к бандитам из дружины «Святого Креста». Однако возможность заглянуть «по-свойски» в дома, где расквартирована вражеская пехота, такая возможность слишком редка, чтоб настоящий разведчик плюнул на нее и сбежал. Костя — разведчик. Тяжело вздохнув, он направляется в дом, который ему указали.

Приближаясь, услышал резкие выкрики, ругань, потом два выстрела подряд. В доме, за его желтосветящимися окнами, видно было беспорядочное движение, мелькание теней. Костя немного выждал и, так как выстрелов больше не слышно было, осторожно взшел на крыльцо и прислушался.

— Связать его надо, к чертовой матери! — донеслось до него. — Щенок еще, а в большие кобели лезет.

— И то свинья. С меня, однако, весь хмель сошел, как он стрелять начал. Надо же этак нахлебаться — по своим бухать. Мало не убил!

— Еще вязать дерьмо такое! Гляди, наган отнял, так он уже весь вышел, сейчас сам перекувырнется. Голоса звучали спокойнее. Видимо, того, с кем была драка, успели угомонить.

Костя потянул на себя дверь.

— Пить не умеет, сволочь. Другому бы давно морду своротили, а этот хорохорится, потому знает — всех богаче, сам Поклонов!

Отступать было поздно. Костя был уже в избе. И видел его — лампочка, стоящая на столе, хорошо освещала горницу. Да, это был он, Федька Поклонов, и сидел он на лавке, раскачиваясь из стороны в сторону, делая своей, по-отцовски короткопалой рукой какие-то вялые, неопределенные движения, не то грозил кому-то, не то песню вел перед невидимым хором. Кудрявые его волосы жалкими мокрыми сосульками облепили опухшее, как у утопленника, серо-синюшное лицо. Красивые полные Федькины губы обмякли, слюняво распустились. Глаза были открыты, но глядели без всякого смысла.

Трое мужиковоз воззрились на Костю. Он, не теряя из поля зрения Федьку, рассказал, зачем послан и от кого.

— Да кто они где жа? — спросил один из мужиков.

Костя объяснил, в каком доме дожидаются самогона их сотоварищи, и попросил выдать поскорее, а то ему не велено мешкать.

При первых звуках Костиного голоса Федька, качавшийся в пьяном забытии, как бы проснулся, стал вглядываться, лицо его подобралось и приобрело все более осмысленное выражение.

— Погоди, погоди, — спрашивает мужик, — а сам ты откуда? Не было у нас, однако, такого пацана.

— Я его знаю, г-гад-да, туд-ды его... — Тяжелые слова ругани, как грязная шелуха, скатываются с Федькиных губ. — Я его бил с Васькой приказчиком, да зря не до смерти. Гнил бы давно, зар-разза!

Горячая волна ударяет Косте в сердце. Он говорит срывающимся голосом, в котором мужики видят естественную обиду:

— Да что он несет? Меня дяденька Никифор послал. Пошли со мной, если не верите. — А взгляд, внимательный и быстрый — на дверь, на окно, на мужиков, берущихся за шапки, на встающего с лав-

ки Федьку. В кармане — наган. Но братья за него — гибель, ведь их здесь четверо. Рука вон из кармана.

— И то, пошли. Выпьем еще помалу с мужиками, а то Федька этот всю обедню испортил. — С этими словами один взял ведро, с сомнением поболтал остатки жидкости на дне и все-таки повесил ведро на руку. — А ты, малый, возьми вон, бутылку четвертая стоит под образами, и айда.

— Он к-красный гад, с Грунькой заодно, па-артизанский прихвостень! Наган отдайте, туда вашу!.. Уб-бю-у!

Федька быстро нагнулся под лавку, и в его короткопалой руке блеснул топор.

Это произошло почти одновременно. Федька взмахнул над головой топором, и одновременно с этим Костя прыгнул к столу, чтоб столкнуться с него лампу. Слабо бряцнуло, разбиваясь, ламповое стекло. С дребезгом вылетели оконные стекла.

Выскакивая из окна, Костя упал на колени, поднялся и, не оглядываясь, понесся. Вдогонку прогремел выстрел, но его не задело. За ворота, улицы, потом в проулок, еще в какую-то щель между забором и отдельно стоящим сараем... Отдышался. Нет, погони не слышно. Просто село взбудоражено нашестившим незваным и немилым постояльцем.

А вот из-за зубчатого гребня крытой соломой крыши вылезает красная луна. Скоро она поднимется, побелеет, станет светло кругом... Костя, сторожко оглядываясь, вышел из укрытия, чтобы успеть еще потемну найти дом Тимофея Пархомова по приметам, описанным командиром.

Едва он появился во дворе Тимофея Пархомова, как хозяин встретил его градом упреков:

— И где тебя носит до сей поры! Что за дети пошли, варнаки, сроду вовремя не угомонятся, а завтра вставать чем свет!

Костя попятился: что за странный разговор? Но решил молчать и ждать, что будет дальше.

— Теперь спать пойдешь в конюшню, с батраком! В избе, вон, хорошим людям тесно! — услышал дальше Костя.

На крыльце светился огонек папироски. Курил человек, одетый по-военному. Солдат.

Хозяин выдает за своего, понял Костя, а слова «в конюшню, с батраком» значат, что Гараська уже здесь. «Нанялся!»

Костя бросился в конюшню.

Не иначе, «батрак» хотел понравиться хозяину. Ведь считается, кто быстро и много ест, тот так же и работает. Гараська с превеликим усердием уничтожал из поставленного в колени горшочка кашу, щедро заправленную маслом, и прихрустывал соленым груздем прошлогоднего засола. Первым делом и Косте протянул еду. Костя отказался: «Я во, по самую завязку сыт. Еще чего и ел-то, ты бы знал, не как батрака какого-нибудь угощали, то-то!»

Гараська, рассказывая Косте о своих наблюдениях, частью подтвердил то, что Костя уже знал. Что колчаковской пехоты здесь стоит примерно с батальон — об этом Костя и сам догадался по тому, что дружинники называли командира части капитаном. А вот пулеметы Гараська разведал, про которые Костя ничего не знал, это было очень важно. Гараська видел три пулемета. Один на улице стоял, а возле него — солдаты кучкой. Второй в одном из дворов, куда Гараська ходил наниматься, а третий — третий стоял в сенях у хозяина этого дома, Тимофея Пархомова. Солдат, куривший на крыльце, был, по видимому, пулеметчиком.

«Вражеский пулемет, и так близко?!»

— Слушай, Гарась...

— Я и то думал, да как? Там возле него в сенях

тулуп брошен, небось, пулеметчик и спать рядом с ним собирается. И не подойдешь. А подойдешь — кто знает, с какого бока его трогать. Хозяин, может, сумеет чего сделать. Он сюда в конюшню придет, как управится: имеет что-то важное для передачи в отряд. Велел дожидаться. Вот ему и скажем про пулемет. А самим нам никак: сейчас не приступишься, а потом ведь и уходить надо.

Это было правильно, Костя согласился с Гараськой, хоть и не любил, когда последнее слово в делах разведки оставалось не за ним.

Хозяин дома медлил. Ребят стало клонить ко сну. Герасим уже несколько раз вкусно, с хрустом зевнул, Костя тоже почувствовал, как устал, как хочется спать. Чтобы не уснуть, стал вспоминать шаг за шагом все, что с ним сегодня произошло. Ведь он должен был все как следует запомнить, чтобы потом, когда встретится с Игнатом Васильевичем, ничего не упустить.

Так он сидел, как бы заново переживая прошедший вечер, встречи, разговоры. Постепенно Костя отвлекся от событий дня. Ему представилось сражение на улицах Сальковки, шум рукопашных схваток. Костя мысленно упивался мстостью врагу. И вдруг понял: того, что он в эту минуту себе представлял, на самом деле не было. Еще не было. Он сам все надумал! Дрожь охватила Костю. Теперь он знает, что надо делать!

— Гараська,— затормошил он друга.— Гараська, послушай! — и зашептал, захлебываясь и торопясь, Гараське на ухо, чтоб ни одного слова не мог услышать никто другой, хотя в конюшне, кроме Кости и Гараськи, были одни только лошади.

Гараська, однако, никакой радости не проявил: — Игнат Василич велел разведать и сразу вернуться, а не вон что выделывать. Твоя затея на словах-то хороша, а ну-ка если схватят нас? Тогда зачем и в разведку ездили, кто в отряд передаст то, что мы узнали?

Опять Гараська говорил правильно. Все-таки рассудительный человек! Но теперь Костя не хотел с ним соглашаться.

— Что задумано — сделаем, но только вот как. Я подам сигнал, ты начнешь и как только услышишь первые выстрелы — сразу ходу, на коня и в отряд, доложишь обо всем командиру. А я тут останусь. Да еще и песню им сыграю, посмотришь какую.

— И ни о чем не стану,— уперся Герасим.— Вместе пришли, вместе уходить будем. Не оставлю тебя одного, чтоб тут тебя...

— Да ты что? Кто командиром у нас? Приказываю! И все!

Может, Костя и еще бы объяснял товарищу про беспрекословное подчинение назначенному командиру, но тут пришел наконец хозяин дома, Тимофей Пархомов.

— Что за шум подняли, солдат побудите! — сразу прекратил он спор.

— Дядя Тимофей,— бросился к нему Костя,— а у вас в сенях возле пулемета спит кто, нет?

— Пулемет? — сурово возразил Пархомов.— Про него, паря, не могли даже вздумать! Случись что с оружием в моем-то доме, так ведь и детей малых не пожалеют, а не то, что... Знаешь, с кем шутишь? Вы лучше поскорей Гомозову передайте: по всему селу сегодня подводы занаряжали. Чтоб, значит, у какого хозяина сколько стоит пехотных солдат, под всех были поданы подводы, с лошадьми. А у кого нет лошадей, соседи должны снарядить. И чтоб при подводах ездовые. И, главное дело, все это велели готовить к завтрашнему утру. Вам бы, ребята, теперь не мешкать, бежать к Игнату Василичу-то.

Хозяин говорил тихо, а последние слова совсем еле выдохнул — боялся, чтоб не услышали.

— Видишь,— заволновался Герасим,— а ты еще чего-то выдумываешь! Уходить надо.

— А может, не надо? Может, мы их помешкать заставим. Тогда на завтра и подвод не потребуются.

Костя рассказал, в чем заключается его «затея», как он ее придумал, и стал просить Пархомова помочь в ее выполнении.— Вот как бы сам Игнат Васильевич просил бы. Ведь трое не двое. С вами насколько верней будет, а дядя Тимофей?

— Эть ты, малый, башковитый какой! — восхитился Тимофей.— А ведь хорошо бы такую кашу заварить. Только, ежели, трое — так ведь тоже мало для такого дела. Тут не миновать еще кого-нибудь сговаривать, да только не вдруг догадаешься, к кому с таким разговором пойти. Нынче народ пуганный. А иной со страху болтлив.

Порешили на том, что дядя Тимофей сейчас же пойдет и попытается привлечь на подмогу хотя бы одного-двух из самых надежных мужиков. Если сделать этого не удастся, от Костиной выдумки придется отказаться, и разведчики поспешат в отряд. А найдутся охотники, тогда все пойдет так, как и было задумано Костей: он подаст сигнал из центра села, от церкви. По этому сигналу каждый будет делать то, что ему назначено. Гараська, исполнив свою часть плана, сразу удерет из села.

Луна взошла уже высоко. Все вокруг было освещено ее голубовато-белым, неживым светом. Костя, держась тени, осторожно вышел из тесной улочки на сельскую площадь. Слева и справа тянулись ряды домиков с закрытыми ставнями, похожие на людей, нарочно закрывших глаза, чтоб казаться спящими. Впереди белели под луной вознесенные ввысь стены церкви. У ее подножия облаками черного серебра клубились березы. Блескуче отсвечивали поверху листва и стволы берез, внизу непроглядной чернью разливались тени.

Прямым через площадь, по усыпанной мерцающей росой травке, направился Костя туда, в темную темь, под березы. Отсюда самой луны не было видно, и казалось, что устремленный к небу крест сияет сам собой. Костя засмотрелся, притих. Потом прижался к решетке церковной ограды и внимательно оглядел все, что можно было увидеть внутри нее. Как он и думал, церковь была точно такой же, как и у них, в Поречном.

Только вот как войти в ограду? Очень просто залезть по завиткам узорных кованых ворот доверху и спрыгнуть вниз, но, когда обратно станешь уходить, может, уже так не получится... Костя поискал калитку и подергал висящий на ней замок, пробуя на прочность.

А луна все так же сияла над затихающей Сальковкой. Впрочем, полная тишина в ней долго не наступала. То там, то здесь взвизывалась пьяная песня, сбивчиво цокали подкованные железками заморские солдатские ботинки. Слышался конский топот, поскрипывали калитки и перелазы. На церковной площади тоже что-то постукивало и скрежетало, будто железом по железу.

Когда же вечерние шумы наконец замерли, на площади возле церкви прогремели три выстрела кряду. И сейчас же, как бы в ответ, с края села понесся пронзительный и долгий крик: «У-у-би-и-ва-а-ю-у-ут!» И через крохотную паузу: «Бра-а-т-цы, дру-у-жи-и-на-а! Наших бью-у-ут! Му-у-жи-и-ки, поднимайтесь, бьют дружину «Святого креста-а-а!»

Видно, кричавший — а голос был молодой и сильный — очень хотел, чтоб как можно дальше был слышен не только вопль, а и смысл его. Слова выговаривались нарочито отчетливо и ясно.

— Солдаты дружину бьют, руби служивых!

Загрохотали выстрелы, защелкало по заборам, по стенам домов. Как бы подтверждая первый крик, заорали сразу с обоих концов улицы басистые мужичьи голоса: «Дружина, сюда! Убиваю-у-ут на-а-аших! Солдаты сво-о-ло-чи!» — дальше пулеметной очередью следовала отборная ругань. И опять выстрелы.

На улице показались первые всполошенные фигуры разбуженных дружинников. Выбегали в одном белье, на ходу заряжая разнокалиберное свое оружие — наганы, маузеры, английские винтовки, русские трехлинейки.

— Где, кто? Откуда бьют? — спрашивали друг у друга и не ждали ответа. Теперь сами стреляли по теньям, по заборам, по канавам, в которые запрыгивали с ходу свои же.

Может быть, тревога как внезапно возникла, так и прекратилась бы, а недоразумение рассеялось, если бы не раздался, подхватывая панику и разнося дальше, похожий крик на другой улице, там, где расквартировано было много солдат колчаковской пехоты.

— Изме-е-на-а! Е-е-а-я рота — в ру-жье-о! — заорал зычный густой бас.

Какой роте команда — было не разобрать, но «измена» — это хорошо слышалось.

— Измена! Дружинники — шкуры! Дружина красным продана! Стреляй, кто живой!

Снова зацокало у церкви, громко, по железу и камню. И там благим матом кричал человек, у которого, видно, со страху, голос сделался тонким, как у подростка: «Капитана ранили, Токмакова-а! Спасай капитана! Мужики-и! Агарка убили-и! Караул!»

А через несколько минут мощное «ба-а-ам-м...» вдруг прогудело над селом. Гулкое дрожание разбуженной меди влилось в шум и гвалт, и все равно было слышно отдельно, придавая какую-то всеобщность возникшей тревоге. Ба-а-м-мм, бам-мм, бам, бам, бам — все учащаясь, забил набат. Как бы подстегиваемая этим неумолчным, требующим действия звоном, заторопилась перестрелка.

В мертвенном полусвете-полусумраке заматывались не различающие противника, бьющие наугад, одинаково раздетые и переполошенные дружинники и солдаты.

По одной из улиц, остервенело ругаясь и размахивая чужой винтовкой, бежал Федор Поклонов. После того, как «братья»-дружинники оставили его одного в пустом темном доме, он еще побесновался, рубанул топором по столу и лавке и свалился в мертвецком сне. Проснулся от криков и выстрелов, но сознание оставалось неясным: обрывки снов перепутывались с пьяными воспоминаниями и явью. Смутно помнил, что перед ним стоял Костя Байков, давнишний его враг, и опять он не поддавался ему, Федору Поклонову, а, наоборот, сделал что-то очень вредное и оскорбительное для него. Только вот что именно, Федор припомнить не мог. С улицы до Поклонова донеслись крики о том, что кто-то продан красным, призывы в кого-то стрелять. Его туманному сознанию представилось, что среди тех, против кого поднимают дружину по тревоге, именно Костя Байков является самым главным и вредным. Именно его нужно найти и уничтожить. Федор схватил винтовку одного из дружков, которые, возвратившись с пирушки, спали в горнице на

полу, и побежал на улицу, искать, догонять незидимого Костю.

Из калитки показался человек в одном белье с наганом — дружинник. Федор выстрелил в него, перезарядил винтовку. Увидел солдата, прячущегося в тени забора, — выстрелил в него. И побежал дальше, выпучив свои серые, с пьяной поволокой глаза, корча круглый рот остервенелой руганью.

Наступил миг — его дернуло назад. Еще не понимая, какая исполинская рука схватила его и не выпускает, стал отклоняться назад и набок. Его закружило и ткнуло лицом в дорожную пыль. Чья-то шальная пуля, может, своего же дружинника или своего же колчаковца, догнала и навек уложила наследника дома Поклоновых.

Человек на колокольне, крепко уцепившись за веревку колокола, раскачивая ее, прыгал вместе с нею из стороны в сторону. Он сам будто стал частью этого колокола, из чьей груди вырывается гневное гудение, зовущее врагов истреблять друг друга.

Но долго звонить было нельзя. Нужно было уходить, пока столкновение между солдатами и дружинниками не стихло, пока те и другие не поняли, что их одурачили.

Наверное, еще не перестали дрожать медные горла колоколов, когда Костя достиг окраинных мазанок Сальковки. В лицо ему пахло ночным дыханием цветущей степи. Он поехал ходкой рысью, смотрел, как все дальше раздвигается круг горизонта, как постепенно и земля в травах, и облака в небе, и сам воздух — все меняет цвет, светлеет. Потом впереди по горизонту заалело, больше, больше, и вот уж во весь размах ничем не загороженного неба распылалась заря. У самого горизонта по ней обозначился круг чуть более яркий, чем остальное пространство. Это были как бы круглые края гигантского колодца, круглая дыра, за которой что-то накалялось, накалялось, и вот переплеснулось через край. В глаза ударил блеск, и уже невозможно стало смотреть на восходящее солнце. Высоко в небе, прямо над Костиной головой, залился жаворонок.

Костя не наслаждался бы так спокойно рождением нового утра, если бы знал, что секрет его сальковской «разведки боем» станет вскоре известен врагу. Что Никифор Редькин, раненный той ночью в руку, вернется в Поречное. В трактире за кружкой браги будет рассказывать вперемежку с другими былями и небылицами о том, где и при каких обстоятельствах видел сына коновала Егора Байкова, и какая после этого вышла странная история — свои своих принялись колошматить...

Глава X

Ночное происшествие в Сальковке привело колчаковцев в ярость.

У партизан Костина проделка тоже не осталась незамеченной. Молва о ней разошлась сначала по отряду Гомозова, потом и по другим. На привалах партизаны рассказывали о ней тем, кто еще не слышал, и всякий раз добавляли от себя новые, тут же придуманные подробности. Так что теперь и сам Костя, если бы услышал эту историю, вряд ли узнал бы себя в том хитроумном и бесстрашном разведчике, о котором шла молва.

Командир отряда награбил Костю часами. Это были его собственные карманные часы — тяжелый кругляш из почерневшей от времени стали с торчащим набоку рубчатым винтиком. На крышке часов не сделали никакой надписи. Передавая Косте награду, Гомозов сказал, чтоб носил он ее пока так, а когда отряд получит отдых, тогда на крышке часов изобразят, кому, от кого и за что дарены.

— А главное,— сказал еще Игнат Васильевич.— дел у тебя тогда еще поприбавится, вот все заодно и впишем. Так, что ли?

О том, что «дел тогда поприбавится», Гомозов говорил правду. Спустя немного, Костя снова по заданию командира очутился в незнакомом месте, один, без отряда.

Теперь он устроился учеником на кожевню, довольно крупную, по сельским представлениям, кожевную мастерскую, почти заводик, принадлежащую Филиппу Куприянову в селе Барсучиха. Это село было недавно освобождено от колчаковцев. Его жители с радостью встречали партизан, целыми семьями записывались в отряды, уходили вместе с ними дальше воевать за Советскую власть. Но было в Барсучихе много и крепких кулацких хозяйств, которым возвращение Советов не сулило ничего хорошего. Кулацкая верхушка, сбиваясь вокруг Филиппа Куприянова, начала готовить контрвыступление, удар в спину партизанским войскам. Об этом стало известно в сельском Совете, дали знать в ближайшую часть, которая оказалась гомозовским отрядом.

Вот тогда-то и появился в кожевне Куприянова новый ученик, вернее, мальчик на посылках. Он назвался сиротой, дальним родственником одного из рабочих кожевни, Матвея Банных.

Прошло несколько дней. Мастеру понадобилось куда-то послать ученика, но того не оказалось под рукой. Стал звать — не дозволялся. Кто-то услужливо подсказал, что мальчишку, лентя и лежебоку, уже несколько раз находили в складском сарае, уснувшим на тюках с кожами. Он, небось, и сейчас там спит.

Со вчерашнего утра сарай запирался на три замка, и еще при нем находился в качестве сторожа родственник хозяина. Очень ценные шкуры привезли вчера для выделки, целых три подводы. И сгружали их не возле сарая, как обычно, а прямо внутрь закатывали телеги. После этого стали особенно беречь склад. Запросто забраться туда и уснуть ученик никак не мог. Рассерженный мастер решил: как только мальчишка покажется, отлупить, чтоб помнил, да и выгнать в три шеи. Кусок хлеба в день, за который мальчишку нанимали, не даром дается... Да и тому Матвею, который за него просил, тоже показать, где раки зимуют.

Однако мастеру не пришлось исполнить свою угрозу. Еще не стемнело, как кожевню окружила группа вооруженных партизан, только что вернувшаяся в Барсучиху. Напрасно пытался стрелять хозяйский родственник, стерегший склад. Замки сбили. Из нижних тюков готовых кож и из вороха вчере привезенных «ценных шкур» партизаны, а вместе с ними Матвей Банных, стали доставать винтовки, обрезы — целый арсенал. Доставали с такой уверенностью, будто сами лично видели, как закладывалось оружие в эти тюки. Оно так и было. Во всяком случае, уж один-то из них точно видел, самый младший в партизанской группе. Мальчишка, недавно принятый в кожевню, мнимый родственник рабочего Матвея Банных, разведчик Костя Байков.

«Службу» в кожевне Косте тоже следовало бы записать на дареных часах, «заодно», как сказал

Игнат Васильевич. Но не хватило бы на круглой крышке места, чтоб написать обо всех делах партизанского разведчика лета тысяча девятьсот девятнадцатого года. У кулачья и колчаковцев имя парнишки Константина Байкова все чаще становилось рядом с ненавистными для них именами партизанских командиров, известных большевиков и агитаторов.

Отряд Гомозова продвигался с непрерывными боями. Сейчас он стремительным броском занял село Мочаги. Навстречу бежали ребятишки, пристраивались с боков колонны запыленных конников.

Игнат Васильевич определился со своим штабом в просторной избе, глядящей на улицу окнами в затейливых резных наличниках. Здесь было довольно широкий двор, во дворе сложена побеленная летняя печка-каменка с вмазанной самоварной трубой.

По заведенному раз навсегда порядку Костя сначала расседлал Танцора, обтер его, подкинул сенца, щедро предоставленного стариком хозяином, и лишь тогда почувствовал себя свободным. Он лег в тени забора, неподалеку от печки, прямо на теплую землю, чуть прикрытую кудреватым руном низенькой подсохшей травки, уткнул лицо в согнутый локоть и сразу провалился в зыбкое полузабытье.

В детстве, играя зимними днями на улице, Костя не раз замечал: если после больших холодов вдруг начинается оттепель, то на стволах сильно промерзших деревьев выступает иней. Кругом снег подтаивает, воробьи в лужицы носы макают, а стволы деревьев сплошь покрыты седой, даже на вид студеной изморозью. «Кругом-то тепло, а внутри-то еще мороз. Вот он наружу-то и выходит», — объясняли тогда ребята друг другу. Что-то похожее происходило сейчас с Костей. Он отдыхал в покое, на теплой земле. Вокруг слышались мирные звуки: лошади хрумкали сеном, разговаривали люди, хозяйка суетилась возле печки. А он вздрагивал от шумов, которые еще держались, жили в глубине его сознания. Чудился ему отрывисто-частый стук пулемета, эхом отдавался гулкий накат атаки с могучим партизанским «ур-р-а-а», ружейная стрельба, шум рукопашной. Все эти звуки, как тот мороз изнутри дерева, постепенно выходили, таяли, глохли. Ощущение отдыха и покоя все больше овладевало им.

Он потянулся, лег поудобнее и стал из-под прижмуренных век рассматривать, что делается вокруг. Хлопотавшая у печки хозяйка оказалась пожилой женщиной со скуластым, курносым лицом, в бегущих от скул к вискам морщинках и маленькими светлыми глазками. Ей помогала соседка, тоже немолодая, высокая тетка с голубоватым лицом. Это Косте в первую секунду оно показалось голубоватым. На самом деле крупное лицо с красивыми, правильными чертами и открытым лбом было очень бледным, и губы бледные, под глазами глубокие тени, а сами глаза, большие и неподвижные, поражали неожиданно яркой синевой. Их бездонная голубень и придавала свой оттенок всему облику. Костя по привычке внимательно присматривался на новом месте хорошо разглядел обеих женщин, хоть и смотрел и слушал сквозь сон.

На печке калились большие сковороды, и еще отдельно на двух камнях над костерком кипели большие котлы, в каких готовят обычно на свадьбу или когда сельская «помощь» собирается на общую работу в один двор. Пахло кислыми щами и еще чем-то очень вкусным, немного позабытым.

Неподалеку отдыхал, обхватив руками колени, Карпо Семенович Корченко, еще с весны, как и Ко-

стя и Гараська, сражавшийся в отряде Гомозова. Его пышные, когда-то пшеничного цвета усы и кустистые брови совершенно выцвели на солнце и теперь еще больше, чем раньше, казались приклеенными на темном от загара лице.

По-видимому, Карпо Семенович, как и Костя, обратил внимание на вкусный запах.

— У вас, гляжу, и мука еще осталась после Колчака,— добродушно заговорил он.— Блины, однако, завели...

— Небось бы, и все сожрали, как бы на глаза-то показать. И так под метлу грабили. Да ведь нам голова тоже на что-то дадена. У меня маленько припрятано было, да вот она принесла.— Хозяйка кивнула на помогавшую ей соседку.— Гулять будем, раз свои пришли. Теперь ничего не жаль, ешьте на здоровье.

— Да хоть бы они, ироды проклятые, все бы забирали, подавились бы жрамши, только людей бы так не изводили,— сказала высокая, глядя своими неподвижными синими глазами не на собеседников, а куда-то перед собой, где ей виделось то, чего они в этот момент видеть не могли.— Я уж вот сколькую ночь не сплю. Как мужика того казнили, что к нам в избу-то приводили, с той поры и не сплю, уж четыре ночи: все он передо мной. Какого человека казнили!

Косте это слово потом так и вспоминалось, как она его произносила, делая ударение на первом слоге,— казнили. Так и слилось оно с его горем и болью. А пока он слушал и не слушал. Усталость сморила его, колыхала в зыбком челне: сон — явь, сон — явь...

— Что за мужик,— поинтересовался Корченко,— за что хоть они его?

— Да не нашенький он, не из Мочагов, дальний человек,— пояснила хозяйка,— в нашем селе смерть принял. Вот у них,— кивнула на высокую тетку,— вон изба-то рядом, так там последнюю ночьку свою ночевал.

— Вперед я на улице его увидела,— заговорила опять высокая.— Телега какая-то ехала, по бокам верховые, эти колчаки, значит, солдаты. Что на телеге, не видать, народ кругом сбежался, заслоняет. Я протиснулась. Батюшки-и!.. К телеге, к задку, привязан человек, как скотина какая. Идет босый, ступит ногой — красный след на дороге остается. По всей дороге эти следы запеклись, может, и сейчас есть, люди их обходили, не топтали. Руки к бокам веревками прикручены, а спина — вся рубаха исполосована клочьями и тоже — запеклось там. Я испугалась и не стала больше смотреть, побежала домой. А телега эта по всем улицам проехала и мужика этого протащила, потом они на нашу улицу да к нам и свернули. Почему им моя изба показалась, и по-сейчас не знаю, ну только встали у нас на постой. Мужичу этому руки так и не развязали, посадили на лавку, он к стенке привалился и глаза закрыл.

— Ну, велели они есть подавать. Я подала, что было, еще сгношила того-другого. Как не сделаешь, что велят, ведь страшно! Потом к нему подошла с миской — молочная лапша была там у меня налита, — думаю, покормлю маленько мученика этого. А старшой тех колчаков, он в золотых погонах был, подскочил да и выбил у меня миску ту из рук. Вся лапша по полу. «Нечего,— говорит,— на него добро переводить, пусть его,— говорит,— сынок кормит...» Тот поглядел на него — глаза чер-рные, глубоко эдак под бровями. Глазами-то черными поглядел, как прожег, а сказать ничего не сказал, опять закрыл. Я потом ему потихоньку воды поднесла, крадчи, пока те жрали. Он выпил и сказал тоже ти-

хо: «Спасибо тебе». Они снова к нему — спрашивают, а он сперва попросил развязать руки. «Никуда ведь не убеги. Вас много, а я вон какой истерзанный, чего боитесь-то?» А тот, в погонах, офицер и говорит: «Видали мы, какой ты истерзанный. У тебя силы за десятерых». Ну, однако, маленько ослабили веревки и опять стали спрашивать. Я все слова не запомнила, а главно-то они о сыне его допрашивали. Говори, мол, где щенок твой? А тот ему: «Про щенка вон у пса спрашивай, ваше благородие, а я, пока жив,— человек!»

Костя видел человеческие страдания каждый день. Они стали тем тяжким бытием, среди которого надо было приучиться есть, спать, даже петь. Иначе нельзя было бы жить и воевать. Костя приучился. Сейчас, несмотря на то, что рядом слышалось такое, он, усталый до отупения, засыпал. Зыбкий челнок сна, качивая, уносил его все дальше от этого двора, от пахнущей горящим кизяком печки, от женщины, рассказывающей страшную быль. И постепенно унес так далеко, что Костя уж ничего больше не слышал.

А женщина рассказывала далее про то, как допрашивали старика, как то битьем, то хитростью пытались узнать, где находится его сын, которого называли то щенком и волчком, то сыном, когда старались подольститься к отцу. Из допроса выходило, что парнишка им очень досадил. Они пытались внушить старику, что если он сам выдаст, где прячется сын или где стоит отряд, в котором он воюет, то этим спасет ему жизнь. Потому что тогда мальчишку только запрут, чтоб не безобразил больше, пока война кончится, а худого ему ничего не сделают. А старик все молчал. И только раз, когда офицер назвал его сына разбойником, возразил, что уж если его мальчонка, который никогда никого не обижал, против них разбойничает,— значит, вся земля вздыбилась против их неправды.

Женщина, глядя на слушающих ее партизан — а их уже несколько человек присело вокруг нее — своими исплаканными синими глазами, то прерывала рассказ, беззвучно глотая слезы, то вспоминала какую-то упущенную подробность и начинала сначала. Так она вспомнила — офицер допытывался, что еще из односельчан старика ушел в партизаны, кто им помогает. И еще называл разные фамилии, спрашивая: а такого-то знаешь? А такой-то где? На что старик ответил тоже один только раз: «Моей совестью, ваше благородие, не пытай. Зря мучаешься». Потом опять замолчал.

Когда она кончила говорить и объяснила, где колчаковцы зарыли тело казненного ими человека, вокруг долго молчали. Карпо Семенович глубоко задумался. Потом спросил вполголоса, не упомнит ли женщина, как звали того человека и откуда он родом.

— А я не сказала? — удивилась та.— Как же не упомянуть! Перед той самой минутой, как ему из избы выходить, я шепнула: скажи, мол, как звать, кого в церкви помянуть? А он мне: «В церкви — без толку, а людям скажи, кланялся, мол, им коновал Байков Егор».

Костя проснулся с ощущением, будто его зовут. Явственно слышал, как глухо, с волнением называли его фамилию: Байков, Байков. И не один голос, а несколько. Он поднялся — нет, не зовут. Наоборот, почему-то отводят глаза...

Потом был митинг над свежей могилой Костиного отца. Тело его партизаны вырыли из того места за селом, где оно было закопано колчаковцами, и перенесли на кладбище. Здесь, над могилой Егора Байкова, прощальным залпом отсалютовали ему партизанские винтовки.

Глава XI

Отряд Гомозова получил задание участвовать в прорыве на Каменск. Этот город был не только хорошо укрепленным крупным вражеским пунктом, но это был порт, захватив который можно было бы получить господство над большим отрезком Оби. Ощутимо важная, каждому понятная цель вдохновляла бойцов. Кроме того, многие партизаны-гомозовцы были из тех мест, из Каменского уезда. Теперь они участвовали в боях за освобождение своих собственных сел. И это придавало им особые силы и равнение. Через две недели непрерывных боев, заняв Ступиху, они вышли на дорогу, прямо ведущую на Каменск.

Накануне из Ступихи ушел военный обоз противника со специальным отрядом, забиравшим у крестьян муку, зерно, шерсть, кожи, одежду. Все, чем богато было это цветущее село, грузили на подводы, которые забирали во дворах и присоединяли к своему обозу. Стояла пора уборки, у многих хозяев уже были свезены в риги снопы, у иных было и свежемолоченное зерно — грабители ничего не оставляли ни на зиму, ни на семена. При обозе, как рассказывали крестьяне, было всего человек тридцать, но все вооруженные и при них пулемет. К тому же они в случае сопротивления могли вызвать на подмогу карателей.

О том, куда из Ступихи направился этот обоз, очевидцы рассказывали разное. Одни говорили — на запад, то есть напрямик на Каменск, другие — на Головлево, то есть южнее, третьи — на восход, где верстах в сорока отсюда лежало село Поречное.

Гомозов, выслушав все эти толки, стал держать совет с комиссаром отряда, как поступить. Нужно было во что бы то ни стало попытаться догнать обоз и вернуть ограбленным их имущество. А для этого надо наверняка знать, где обоз находится сегодня, где будет завтра, срочно посылать разведку.

Костя во время разговора командира с комиссаром затягивал дратвой оторвавшуюся подметку на сапоге и внимательно прислушивался. Теперь он положил свою работу на лавку и как был, одна нога в сапоге, другая — босая, вытянулся «смирно» перед Гомозовым.

— Товарищ командир, меня — в Поречное, а? Пошлите, Игнат Василич!

— Тебя-то? — Гомозов на минуту задумался. — Тебя-то, выходит, и нельзя. — И с изменившимся, каким-то очень домашним выражением лица, Гомозов тихо повторил: — Нельзя, сынок. Дома тебя каждая собака знает. Иная, глядишь, и укусит. Показал же какой-то варнак на Егора Михалыча...

Это был еще не приказ, а только разговор. Гомозов, по-видимому, и сам еще раздумывал.

— Я крадчи, никто не увидит. Маму проведаю... А, Игнат Василич?

Командир решал задачу: пошлешь Костю или хоть того же Гараську Самарцева, — рискуешь. Потому что их там слишком хорошо знают. Чужого пошлешь — опять рискуешь. Потому, что он не знает села. А Костя — никто, кроме него, не смог бы с такой ловкостью проникнуть в любой закоулок Поречного и тут же исчезнуть из него совсем с другой стороны...

— Поедешь!

Вскоре из Ступихи по трем разным направлениям выехало трое разведчиков. Всем троим одно задание: в пункте назначения ожидать обоз не больше суток. За сутки, как бы грабители ни отклонялись с

дороги, они все равно придут в один из этих пунктов. Задержаться дольше назначенного срока каждому из разведчиков разрешается только при крайне важных обстоятельствах. В этом случае, если кто из трех не вернется к послезавтрашнему полдню, тому навстречу и в поддержку будет выслана вспомогательная группа, партизанский разезд...

Странно выглядит родное село, когда после долгого отсутствия въезжаешь в него ночью, как чужой, остерегаясь любого взгляда, любой встречи. Костя поравнялся с местом, где было подворье кузнеца. Печная труба, которая одна торчала после пожара, теперь пообвалилась, пепелище глядело черно и печально. Две кошки одна за другой выскочили оттуда и, хищно мяукая, побежали, догоняя друг друга. Костя придержал коня, постоял так немного и спустился к речке. Потом спешился и осторожно повел за собой Танцора огородами, перепрыгивая через плетни, помогая перешагнуть коню. Узнавал знакомые места и радовался этому. Пожалуй, мог бы пройти здесь с закрытыми глазами. Вот здесь, Костя помнит, плетешок обвалился еще в прошлом году. До сих пор никто не поправил. Чей же это? Ага, вспомнил, Кондрата-Лихая Година огород. А вон и дом Кондрата наверху. Спят ли там? Знать бы, по чьему доносу схватили отца, из каких окон подглядывает предатель... Но как узнать? Кругом тихо. Спит Поречное. Костя идет дальше. А на этом вот огороде всегда капусту сажали. И сейчас крепкие кочешки белеют круглыми боками. На один Танцор наступил копытом, в тишине хрустко лопнули сочные листья.

Дальше Косте вовсе расхотелось остерегаться. Невозможно было здесь, в Поречном, красться, будто в стане врага. Он дома.

Поднимаясь от речки к своему двору, ждал, что сейчас выскочит Репейка, залает, как когда-то на дядьку Игната лаял. Узнает Костю и виновато завилает хвостом. Но было тихо. Только слышно, как Танцор фыркает, с шумом втягивая ноздрями близкий запах своей конюшни. После Костя узнал, что собаку пристрелили каратели, когда выводили отца из дома. Очень бросался Репей, а одному даже в штанину вцепился...

Кажется, Костя и стукнуть не успел, только прикоснулся к оконному стеклу, как сразу изнутри к окну прильнуло лицо матери: кто?

В кухне у входа, как всегда, висела на гвозде отцовская сумка с коновальскими инструментами и его заляпанный карболкой и дегтем, зипун, в котором он обычно ездил работать.

В темноте казалось, будто какой-то человек, горбатясь, прислонился к стене лицом. Костя помедлил немного возле, как бы невзначай потрогал заскорузлый бок сумки. Прикосновение к ее шершавой поверхности, нагретой домашним теплом, пронзило его болью и жалостью. Только сейчас — не там, в Мочагах, на кладбище, когда командир говорил речь, а только сейчас, здесь, возле этой висящей на стене сумки, Костя до конца понял, что отца больше нет. Он хотел сказать что-то матери, может быть, спросить, как уходил отец из дому, но перехватило горло.

Потом они долго сидели рядом на лавке. Постепенно Костя рассказал матери, где похоронен отец, и про митинг и салют над его могилой. Правда, о том, что услышал о последних его днях, утаил, чтоб не увеличивать ее горе. Мать рассказала сыну, как пришли, забирали отца из дому.

Когда в окнах посветлело, Костя обратил внимание, что мать одета, как днем: кофта, юбка, даже фартук повязан. А ведь он разбудил ее среди ночи.

— Ты уж не спала, как я пришел?

— А я теперь так и сплю, сынок, не раздеваюсь. Все жду: и за мной придут.

— Не придут, мама! Белякам теперь только ноги уносить. Наши совсем близко! Может, завтра же здесь будут. Выгоним белых всех до единого. Станем жить. Отцову науку вспомню, подучусь. Не пропадем, слышишь, мам, ну что плачешь, мам?!
Начался день. Военный обоз в Поречном не показывался. Как во всякий спокойный день этого неспокойного лета, крестьяне старались успеть как можно больше сделать по хозяйству, так как что сулит завтра — было неясно. Женщины, несмотря на занятость, успевали, однако, как всегда, приметить все, что делается вокруг и еще поделиться своими наблюдениями друг с дружкой.

— Слышь, кума, — обратилась соседка к соседке. — Что это Агафья Байкова нынче так шустро?

— А чё?

— Да как же. То, бывало, как Егор Михалыча забрали, так она за ворота, если только по воду покажется, и то не всяк день. Марья еще ей помогала, говорила, все хворает Агафья. А нынче, гляжу, она то с коромыслом туда-сюда, то чуть не бегом во-он туда куда-то, в горку подалась, то опять обратно...

— Кто ж ее знает! Может, какое известие получила. Весела из себя-то?

— Не сказать, чтоб весела. Сильно, однако, плоха стала последнее время. А так ничего. Поздоровалась и пошла.

— Кто ж ее знает...

Вот так. Даже всевидящие бабы Поречного не могли знать, почему не сидится дома Агафья Байковой. Костя рассказал матери, что должен, как только здесь появится колчаковский обоз, сообщить о нем в отряд, не мешкая ни минуты. Конечно, узнать о приходе врагов можно и не выходя из двора, такая весть сама постучится в ворота. Но лучше не ждать, а самому идти ей навстречу. Косте нельзя показываться на улицах. Ну что ж, мать за него — находит себе заделье сходить туда-сюда, посмотреть, нет ли новостей.

День склонялся к вечеру, и мать стала заметно успокаиваться.

— Видишь, — говорит она сыну, придя к нему на сеновал, где он прятался от случайного глаза, — нет никого. Халуг-то этих, обозников, видать, нечистый понес в другое село... Небось, уж Игнат Василичу доложено про них, где разбойничают. А ты, сынок, — голос матери стал просящим и тихим, — ты бы, может, уж хватит воевать, а? Сейчас бы, как стемнеет, выбрался на заимку, а оттуда бором, бором, да на теткин Феклушин сенокос. Там никто не найдет. Пересидел бы, пока все утихомирится, а? Отца уж у нас нет. Другие-то, небось... Что ж нам за всех-то...

— Не буду пересидживать! — резко, почти на вскрик перебивает ее Костя. — В кустах! На теткин сенокосе! — Упрямые желваки жестко бугрятся у его губ, глаза взблескивают сердито, почти враждебно. — Если бы все-то в кустах сидели... Что хоть говоришь? «Одни мы за всех!» — Костя повторяет это едким голосом, почти передразнивает. — Одних нас видишь! А сколько народу бьется с беляками, не знаешь? Только из нашего Поречного полсела ушло. Они-то не люди? Другие пусть воюют, а меня к тетке Феклуше под запон, да? — Все это Костя выпаливает на одном дыхании. Он особенно сердит оттого, что слышит такое от матери, которой привык

подчиняться. Сейчас ему кажется, — она хочет своей материнской властью удержать, не пустить его больше в отряд. И он защищается, бунтует, высвобождается.

Но, странно, на его слова мать ничего не отвечает, не строит его. Поникла, смотрит печально, руки бессильно и горестно опущены. И внезапно Косте открывается, что мама уже не может запретить ему идти своей дорогой, как запрещала раньше делать то или это. Она только просит его остаться дома, потому что боится за него. Просит как взрослого, как просила раньше о чем-нибудь отца, а его несогласие принимала с покорностью.

И Косте становится нестерпимо жаль маму и известно, что так злился на нее. Уже по-иному, ласково, будто уговаривая маленькую, он продолжает:

— Да ты не бойся, мам, говорю тебе, прогоним беляков скоро... Из Каменска прогоним, потом из Барнаула, да за синие горы выпрем. А там и мировая революция. Так я сразу и ворочусь. А сейчас никак нельзя — война, я разведчиком. На меня, знаешь, как командир надеется?

То шепча про себя молитвы, чтоб бог сохранил ее сына от всяких бедствий, то оборачиваясь, чтоб еще раз полюбоваться на него, мать идет собирать сыну ужин.

Если до утра вражеский обоз не появится здесь, — тогда уж точно, колчаковцы пошли либо прямо на Каменск, либо на Головлево. Здесь их ждать больше нечего. Косте надо будет возвращаться в отряд. А до утра он дома. Дома. Знакомые запахи, звуки окружают его со всех сторон. Знакомыми голосами поют соседские петухи, оповещая мир, что настала пора отдыха. А совсем недалеко от Костиного двора, правда, в другом конце села, но ведь же здесь, в Поречном, стоит избушка Терентьевых. Там Груня. Она даже не догадывается, что Костя так близко.

— Мама...

— Что, сынок?

— Ну... Тебя тут проведать заходит кто, нет?

— Проведать-то? А как же. Чай не в лесу живем. Тетка Марья вот чуть не по два раза в день забегает, а то через забор окликнет: ты, мол, как там, Агаша. Знает, что неможется мне.

— И другой кто заходит?

— И другие заходят, как же. Не забывают люди. Катерина тоже частенько забегает. Терентьева. Да ты ешь, Костенька, ешь, не откладывая ложку-то. Теперь маминой-то каши когда придет... кхм... — Агафья Федоровна поперхнулась и смолкла. — «Старая, я старая», — мысленно ругнула сама себя. И продолжала, будто ни о чем не догадавшись: — Дочка вот тоже Катеринина, Груня, прибегает. Она уж ничего, отошла от хвори-то, поправилась. Тут недавно под вечер пришла, а я что-то и встать не могу, она и говорит: «Давай, тетя Агаша, я коров тебе подою». Такая желанная ко мне девчонка...

— Спасибо, мама, наелся.

— А еще-то?

— Пойду маленько пройдусь.

— Ох, не ходил бы, Костенька! Еще ведь не сильно стемнело, а у злодеев-то на грех глаза зорки! Не ходи, милый сын, а?

— Ничего. Отрепки не робки, лоскутиков не боится! Да я, правда, аккуратно, не боюсь!

Голос сына, беспричинно повеселевший, еще звучит возле матери здесь, на темном сеновале, куда она приносила ему ужинать, а самого Кости уже нет. Он бесшумно соскользнул по лесенке вниз и растаял.

И вот они вместе. Сидят за Груниной избушкой на облоге. Сразу у ног начинаются огородные гряды. Уже прошло первое изумление с отрывочными, беспорядочными восклицаниями, но они все еще присматриваются, как изменились за эти месяцы, что не выдвинулось.

— Ты какой большой стал, Костя.

— А я и был большой.

— Нет, еще вырос. Смотри-ка, много выше меня.

— Ну-ка, ну-ка, докуда ты мне достанешь?

Костя осторожно кладет ладони на непокрытую Грунину голову, на теплый ее пробор, потом, держа их дощечкой на той же высоте, прикладывает к себе. От шелковистого тепла ее волос становится тревожаще жарко. Костя, запинаясь, как-то слишком усердно удивляется:

— И верно. Только до бороды ты мне. Это надо ж!

— Докуда, докуда? Где еще она, борода-то? Не то мох, не то пух. Ой, не могу! Вон у козла Филимона вот это борода! — Груня смеется, не прикрывая, как обычно, рот рукой, открыто и весело.

— Чё смеешься? Думаешь, не вырастет? Еще во какое помело будет, куда твоему Филимону. М-ме-е-е! — трясет Костя несуществующей бородой, метет по Груниным волосам, теперь уже всем лицом прикасаясь к ним. Его обдаёт таким жаром, что сердце начинает колотиться сильно и часто. Пронзившее его, доселе не изведанное чувство сковывает, никак не дает повернуть разговор в сторону от несчастной бороды. Костя старается, но оказывается все на том же месте.

— Да шут с ней, с бородой. Я, небось, не Филимон-козел, обойдусь. Все равно ты против меня во какая, — показал совсем невысоко от земли, — птюха.

Костина мать, Агафья Федоровна, так любит называть всех маленьких, кого приласкать хочет. Вылупится цыпленок из скорлупы, пообсохнет, она поймает в ладони пушистый желтый комочек: «Ну, что, живешь, птюха?» — птаха, значит, пташка. А то приковыляет тетки Марьяна девчонка, Любка, крохотная, ростом с колобок, мать ей шаньгу даст или молока, по головке погладит — пей, птюха. Так и вошло в Костю это доброе смешное словцо, обернулось на Груню.

Птюха. Махонькая.

Как много, оказывается, можно выразить одним, двумя словами, если говорятся они вот так, ломким от волнения, мальчишеским баском!

Стучат в ушах частые молоточки. Кузнечики ли стрекочут в ночи, или где-то шумят водопады?.. Что это с ним? Спасаясь, Костя глубоко вдыхает сыроватый ночной воздух, удивительно душистый.

— Чем пахнет эдак хорошо у вас в огороде?

— Мята пахнет. Летось принесла три корешочка, посадила с краешку. А теперь она разрослась, хоть плачь. Что хошь с ней, то и делай. Уж я ее полола, выпалывала. Мама говорит...

Неважно, что говорит о мяте мама. Важно самой сыпать словами, не умолкая, чтоб заглушить в себе то радостное, наполняющее ее беспокойным смущением чувство, которого она почему-то стесняется так, что холодеют руки. Потянулась, сорвала с высокого стебля мягкий листок.

— Гляди, какой лопухастенький. Понюхай-ко.

Прохладный запах мяты не остужает Костиной головы. Разве он не воюет, как взрослые парни и мужики, разве не повидал за это лето столько, что иной до седой старости не увидит — крови, смерти, торопливых объятий своих однополчан с девками и

бабами? Разве он сам от всего этого не стал взрослым?

Резким, сильным движением притянул ее к себе.

— Что ты, Костя, ой, что ты, не озоруй! — Твердые Грунины ладони отталкивают, шлепают, но Косте совсем не больно. — Отпусти, слышишь!

Он слышит. Он отпускает. Только бы она насовсем не рассердилась и не ушла.

— Не сердчай, Грунь, не буду, ладно? Ну, не сердчай, право слово, не буду больше. Слышишь!

Не поймешь, сердится еще или нет. Надо говорить о чем-нибудь. Неважно о чем, только бы не молчать. Может быть, тогда скорей пройдет это горячее наваждение. Неуверенно, еще не зная, о чем скажет, Костя начинает:

— А вот у нас, одна...

Но, видно, и у Груни та же забота. Одновременно с Костиными словами раздаётся и ее, столь же красноречивое:

— А давеча наша Катька...

Столкнулись встречными словами, словно лбами, и расмеялись. Снова стало просто и легко.

— Расскажи, Костя, где был, что видел, слышал?

В самом деле, они не виделись все лето, такое лето, что иной целой жизни стоит. А говорят о каком-то козле...

— Расскажи, Кось...

— Бывал-то? Да все больше здесь, на Алтае, не сильно далеко. А что повидал, об том лучше не рассказывать...

Опять, как тогда, когда вернулся с Украины... Груня задумывается. Удивительный он, Костя. Непохожий на других ребят.

— Ну и шатущий ты, однако. Все тебя куда-то тянет, все не дома. Небось, всю жизнь эдак будешь? — серьезно, совсем как взрослая баба, не то спросила, не то посетовала она.

— Не, это сейчас только. Война. Как вы, девки-бабы, не возьмете в толк? Вот прогоним беляков, дома жить стану. — Они помолчали. Потом Костя продолжил: — А вот есть один человек, комиссаром он у нас, так тот в Питер меня звал. Правда-правда. «По-едем, — говорит, — со мной, как войну кончим. Горю тебе покажу, а хошь — на завод устрою. Ты, — говорит, — сметливый, быстро научишься...»

— А ты что же? — Вопрос был задан таким упавшим голосом, что Костя отвечал как можно неопределеннее:

— А я «не знаю еще, — говорю, — подумаю». Он как начнет вспоминать про Питер, думаешь, сказки скаывает. Куда тебе с добром наш Барнаул или Новониколаевск.

— Да что ты? — уважительно удивилась Груня, хотя сама никогда не видывала никакого города, даже Каменска.

— Ну! Цари там жили. Дворцы кругом. Пароходы прямо серед города по реке плавают. А главный крейсер, который подавал знак революцию делать, зовут «Аврора». Утренняя, значит, звезда. Ленина он видел в Питере, наш комиссар, близко. Вот как я тебя вижу.

Чтоб показать, как близко видел комиссар Ленина, Костя потянулся, дотронулся до Груни и тут же отдернул руку. Все-таки удивительно, до чего он робеет ее и до чего ему от этого хорошо...

— Так и есть, что подашься ты в Питер этот, — грустно сказала Груня.

— Здесь, что ли, худо? Да и нельзя мне. Мама как же? Вот ежели только посмотреть... А то поехали вместе?

— Ну, мне-то куда?

— А чё? Комиссар говорит, знаешь какая жизнь пойдет? Дай только беляков да богатеев выгнать. Советская власть для всех учение откроеет, кто на кого хочет. Я бы, к примеру, на командира выучился, красного. А то, может, на ветеринара, скот лечить. Отец-то самоуком до всего доходил, а мне говорил — учись, по науке — вернее... А ты бы на сестрицу милосердия выучилась. Вернулись бы — в белом стала бы ходить, раны перевязывать...

— Война кончится, так откудова раны? — практически заметила Груня. Она увлеклась и уж с безусловной доверчивостью воспринимала его мечты. Только вот это — откудова раны, когда не будет войны, — смутило ее, не привыкшую ни к каким сказкам.

— Ну, мало ли... — для Кости не важны были подробности, — мало ли. Не раны, так просто лечить. Я видел одну милосердную сестру, в больнице. Строгая.

— Ох-ти, мне! В больнице ты лежал?

— Да нет. Одно дело одному дяденьке передать надо было. В одну больницу, вот.

«Одно дело, да одному дяденьке...» — Какой-то непонятной, сложной жизнью живет он. И ничего-то она о нем не знает...

— Слушай-ка, я что тебе, Костя, сказать хочу, да все... Тсс... — смолкла на полуслове. Оба прислушались. В чуткой ночной тишине послышался быстрый топот нескольких кованых коней.

Костя забеспокоился. Что бы это могло быть? Поречное спит. Днем тоже незаметно было никаких подозрительных движений. И вдруг этот топот. Какие-то люди — их несколько, может, трое, а может, пятеро, въехали верхом и, главное, спешно. Кто, зачем? У кого остановились? Отсюда, с огорода, не увидишь. Не выскочить ли к центру села? Нет, все равно уже проехали. Надо слушать, что дальше будет...

Еще минуту тому назад казалось: война с ее беспощадностью, с постоянным тревожным напряжением, пронизывающим сам воздух, которым дышали люди, отступила было от Груниной хатки, от огорода, пахнущего мятой. От этих двух ребят, удивленно и застенчиво прислушивающихся к чуду, происходящему в них самих. Вечному чуду превращения детской влюбленности в молодую любовь, в счастье, одно для двоих. Сейчас топот кованых копыт, прозвучавший в тишине, как бы разрушил невидимую стену, отделявшую этих двух от всего остального мира. Костя теперь жадно ловил каждый шорох, доносящийся издалека.

Груне ничего не сказал о том, что его волновало. Как бы приглашая продолжить начатый ею разговор, спросил:

— Дак чё? Чё сказать-то хотела?

— Боязно очень за тебя, Костя. И сейчас испугалась. Уж не по тебя ли, мол, прискакали... Мне Настя рябая рассказала недавно, чего на мельнице слышала. Вот с тех пор и боязно...

— Да чего боязно? Рассказывай. Может, страхи зряшные?

— Ну вот, поехала она на мельницу новины смолот. Отец-то у них без вести пропавши, так она одна ездит. Ну, возле мельницы очередь на помол. Ее-то после всех отодвинули. Ждет. А у телег собрались Максютя Борискин, староста, да Иваннихина, богатея зять, да сам мельник подошел, Петр Борискин, да еще двое-трое, все к одному на подбор. Черт их вместе свел. Настю им то ли за мешками не видать было — она прикорнула в телеге, то ли видели ее, да не стеснялись, чего им ее бояться? — болтали, ни на кого не глядя.

— Во, видишь. Болтовни ихней Настя испугалась и тебя перепугала.

— Нет, ты вперед послушай, потом смейся. Сперва они партизан ругали. Мол, только установилась твердая власть, — про колчаков они так, — а от этих партизан, мол, жизни никакой нету. Армия, мол, Красная сюда никак не долезет, так партизаны ей встречь прутся. И, главное дело, в селах помогают им многие, оттого и держатся. Обрубить бы, мол, эти уши-глаза, какие на партизан работают, сразу бы тише стало. Потом про тебя вспомнили, называли имя — Коська, Байкова коновала отсевок. Говорили, вот бы кого поймать. Он, мол, все знает, вместе с самим Игнашкой Гомозовым ест-пьет, первый у него помощник. Настя говорит, очень тебя ругали. Какую-то Сальковку, село, поминали и еще — Федьку поклоновского. Один сказал: «Своими бы руками удавил» — это тебя, Костя, а другой: «Его перед выпытать бы надо. За каждое словечко, мол, по жилочке выдергать, — ничего бы не утаил. Вот бы когда все карты в наших руках оказались...» А те опять: «Поймай-ка его вперед...» Настя рассказывает, а сама смеется: вот, мол, один молодец-парень скольким старым головам заботы придал. А мне-то...

— А тебе? — переспросил Костя как-то совсем тихо. Хотя тут переспрашивать и вовсе не надо было, ему очень хотелось, чтоб она еще сказала про то, как беспокоится за него.

Но Груня молчала, и Костя беспечно, как только мог, подтвердил:

— Верно, что вперед еще поймать надо, потом грозиться. Ты не бойсь. Вы, девки-бабы, все чего-то боитесь. А их бить надо, не бояться. — Здесь Костя явно повторил слова, какими Гомозов говорил с партизанами, но сам этого не заметил. — Конечно, с умом тоже надо. Ты, к примеру, никому не говори, что меня видела.

— Что ты! Умру — не скажу.

Костя верит — она не скажет. Уж раз пытались, спрашивали. Ему представилась Груня, какой он увидел ее в прошлом году, после поклоновского допроса, когда и мед показался ей щипучим. Боль за нее, желание защитить, укрыть от всего, что может ей угрожать, не находили выхода в словах. Мысли повернулись по привычному руслу — к ненависти против тех, от кого шло все зло, какое он видел в жизни.

— Откуда только заводится на земле эта нечисть, богатеи эти? Люди не люди, волки не волки. На отца моего кто-то из них же, гадов, показал. Погоди, Груняха, выгоним белых, тогда и богатеям крышка. Жизнь справедливая пойдет. У этих власти больше не... — Костя смолк. Какая-то часть его существа независимо от всего, что он говорил и чувствовал все эти минуты, продолжала чутко прислушиваться к каждому звуку, и теперь он услышал снова конский топот. Скакали те же кони — так показалось Косте. Но теперь — в обратном направлении, вон из села.

Костя мысленно ругнул себя, почему сразу, как услышал этих коней, не бросился поближе в улицу, где они ехали. Теперь бы, может, увидал, откуда выехали обратно. То, что неизвестные всадники заехали в Поречное на короткое время и вскоре столь же спешно повернули обратно, особенно насторожило его. Он задумался, по привычке разведчика прикидывая про себя возможные варианты: кто бы это мог быть, зачем и что поэтому надо делать.

Груня молча сидела рядом, обхватив колени руками.

Так ведь это, похоже, разведка, посланная вперед от продовольственного обоза колчаковцев, сообра-

жал он про себя. Ну, скорее всего, что она — при- скакали прозвать, нет ли в Поречном красных партизан, свободно ли можно въезжать и грабить. Как же теперь проверить свою догадку? А что, если к реке спуститься? Обоз до того, как въедет в село, должен будет через мост переехать. По воде далеко голос идет. У реки обязательно услышишь. А будет тихо — значит, неверно догадывался.

— Слушай, Грунь, чё это мы сидим тут, ровно две кочки. Походим давай маленько, к речке спустимся, а?

Над рекой течет белый, как молоко, туман, ключьями заползает на берег, неся с собой холодную сырость. Груня зябко съежилась. Такими худенькими показались Косте ее плечи, такой неизведанной доселе жалостью и нежностью стиснуло ему сердце, что он быстро сдернул с себя выдавший виды пиджачишко и накинул на Груню.

— Зачем, ну зачем ты, а сам-то?..

— Теперь теплее тебе, махонькая? — спрашивает Костя, и снова его голос перехватывает волнение. Ему-то нисколько не холодно. Скорей жарко. Они сидят на давно вынесенной на берег коряжине близко друг от друга. Течет перед ними туман по реке, над ними мигают, постепенно бледнея и угасая, мелкие, редкие звезды. Сверху, с огорода, тянет запахом мяты и укропа. Обоза не слышно, может, то была никакая не разведка? Хоть бы его век, не было слышно. Сидеть бы так долго-долго...

— Эх ты, птюха!..

— Ой, гляди, Костя, небо с восхода светлеет. Люди-то уж, небось, выспались. Мамка мне что скажет? — Она решительно поднимается. Seriously смотря на Костю продолговатые, ясно-коричневые глаза, побледневшее от бессонной ночи лицо с узким подбородком кажется еще бледнее в сероватом предутреннем свете. Костя быстро наклоняется и неловко прикасается губами к ее щеке, пушистой и прохладной, как листик мяты.

— Завтра придешь?

— Не знаю, где буду. Ежели уеду, так все равно скоро вернусь.

— Я ждать буду.

Высокая трава на меже, примята на бэгу Груней, за ней не распрямляется. В августе травы ломкие. Так и остается след — узкая стежка, темно-зеленая среди матовой травы. Костя задумчиво смотрит на эту стежку.

Что же делать-то теперь? Обоз так и не появился. А люди и правда вот-вот вставать начнут, если уж не начали. Он решает идти домой, взять Танцора и возвращаться в отряд. Ведь так и было условлено: если до сегодняшнего утра колчаковские грабители не придут в Поречное, — больше их не ждать.

Пошел сначала берегом. Пока можно — лучше вот так пройти, за кустами. Чуть подалее река делает петлю, здесь уж надо будет подняться по тропке и бегом к своему двору.

Но, чу! По воде явственно, действительно гораздо яснее, чем по суше, доносится сначала какой-то непонятный, смешанный гул, потом из него выделяется kloкающий стук копыт по дощатому мосту, размеренный скрип многих тяжелых груженых возов. Обоз! Как здорово, что Костя не успел уехать из Поречного до того, как эти гады сюда пожаловали! Теперь скорей за конем и — к партизанам!

Хорошо еще и то, думает на бегу Костя, что он в это время здесь у реки оказался. Если бы на сеновале сидел, — еще бы сейчас и не услышал ничего. Отсюда их даже и увидеть можно, если встать на этот вот камень. Из-за пригорка маячат лошадиные морды, одна за другой. Телеги скрипят да

скрипят. Много, однако, награбили господа. Ну, погодите же!

— Мама, ухожу я. Припасу никакого не надо, хлеба только. Скоро вернусь, не тужи.

Проверил наган, патроны — в барабане семь штук да еще несколько в кармане.

— Айда, Танцор, поехали.

Глава XII

Жене целовальника, Ваньшиной матери, сегодня что-то плохо спалось. Колики мучали, а то мухи мешали — августовские, больно жалищие мухи. Поднялась, когда еще ночь не кончилась. Еще и коров было рано доить. Решила с утра пораньше выполоскать белье, настиранное еще с вечера. А то днем пойдет круговерть, не успеешь ничего. Только она пристроилась на лавинке меж кустами, только взялась за мужнину рубаху — глядь, через реку кто-то переправляется вплавь. С конем вместе. «К чему бы это! — задумалась баба. — Ведь мост целехонек?» — пригляделась своими темными, окруженными фиолетовыми растеками глазами и чуть громко не вскрикнула. Она узнала его. Как же узнать — к сыну сколько раз приходил! Ну, точно же, это Коська, сын коновала Егора Байкова, о котором она столько наслышалась в последнее время. Забыв про все, бросив на берегу обе бадейки с бельем, она подхватила свои юбки и бегом затрусилась к дому, будить мужа.

Пробудился и Ваньша. До него доносились лишь отдельные слова из захлебывающегося шепота матери. Из того, что уловил, понял не все и не совсем точно. Но когда отец стал поспешно одеваться...

Агафья Федоровна, проводив сына, горячо молилась за него, стоя на коленях перед образами, крестясь и кладя поклоны. Внезапно, рывком открылась дверь.

— Теть Агафья, Костя где?

— Очумел ты, нет? — внутренне холодея, сердито обернулась Агафья Федоровна. — Я его все лето в глаза не видала... Господи, Иисусе... пресвятая Богородица.

— Врешь, теть Агафья, мне ему слово сказать...

— Ах ты, песье отродье! — трудно поднимаясь с пола, вся трясясь от гнева, закричала Костина мать. — Иди отсюда, пока ухват на спине не сломала. — И обеими руками схватила закопченное вечное свое оружие.

— Тетк Ага... тетка Аг-гафья! — Ваньша крупно вздрагивал всем телом, как собака, которая знает, что ее побьют, но долг верности не велит убежать. Маленькие Ваньшины глазки смотрят с преданностью и страхом. Но не ухват, видно, так перепугал его. Еще что-то выражали эти глазки, что слова его выразить не могли.

— Тетк Агафья! Ведь здесь Костя! Сейчас видели — он коня поил... у реки. А мой... а один дяденька побежал на него показывать. Иметь его будет сейчас. Награду за него получить хочут, как за волка, за Коську. Вели уходить поскорее!

Слова ли Ваньшины, весь ли облик его, выражавший растерянность и отчаяние, убедили мать, — она поверила парню.

— Ваня-а, — протянула удивленно. — Да ты милый сын! Спасибо тебе. А Костенька ушел. Не догнать теперь. Ты сам беги-ко, не застали бы тебя здесь.

Уходи! — Завязала потуже платок под подбородком и опять встала к образам. Сейчас сюда придут, так уж за ней. Что ж, будь что будет, спаси господи. Зато сына они уж не догонят...

Берег реки со стороны села пологий, луговой. Противоположный — глинистый и хоть не с сильной, но крутизной. Выходя на него из реки, понукаемый Костей, Танцор оскользнулся на гладком, съехал вниз и припал на правое переднее колено. Забился, загребая обоими передними копытами и, наконец, выбрался. Но тронуться вперед, как раньше, уже не смог. Правая передняя была подогнута и только чуть осторожно прикасалась к земле.

Костя кинулся осматривать ногу коня. Эх, так и есть, вывих колена. Сколько раз Костя видел, как отец вправлял такие вывихи! Был бы жив отец!..

Делать нечего, надо двигаться. Хотел было идти пешком один, а Танцора оставить. Но пожалел: не добредет конь через реку домой. Повел за собой под уздцы. Так они прошли немного. Костя чувствовал, что двигаются слишком медленно.

«Была не была! — решил он, на трех-то все равно быстрее, чем на двух. Подставляй, Танцор, спину».

Опять, как тогда, когда возвращался из Сальковки, Костя один едет степью, без дороги, под бескрайним — ничем не загороженным от глаз — утренним небом. Оглянешься — еще видна петляющая около села и бегущая вдаль от него речка. Четко видна ее синева — в отличие от размытой голубизны неба, густая, пронзительная и неласковая синева августовской реки, уже таящая в себе студеность близкой осени. Путаются в ногах у Танцора некошенные, кое-где поникие травы. А ягод! Эх ты, сколько ягод! Воздух манко пахнет настоем степной клубники, крупной, круглой ягоды, сладкой и ароматной.

Раньше, бывало, Костя ее брал еще зеленоватую, одну бок чуть покрасневший. Все равно была мягкая и сладкая. А теперь мало кому до того, чтоб ягоду собирать. Вот доспела. Целые кисти клонятся на тонких стеблях к земле. А то еще кучками краснеет, будто красные платки разбросаны по траве. Прийти бы с Груней сюда, в раздолье это. Набрали бы — ешь не хочу, да еще мама из ягод лепешек бы насушила на зиму.

Ягодные лепешки... Косте представилось, будто он сейчас держит ее на ладони, ту последнюю, пересошую, какую достал из своей сумки в идущем на Украину поезде и поделил пополам со Степкой Гавриленковым. А она еще, как нарочно, сильно крошилась на изломе. Пахла та драгоценная лепешка степью, мамиными руками, оставленным навсегда детством... И была почему-то самой маленькой из всех, что приходилось когда бы то ни было есть. Хватило только по одному глотку ему и Степке...

Впереди замаячил небольшой перелесок. «За ним, — вспомнил Костя, — поле Гавриленковых. Клинь углом к леску, а широкая сторона как раз к дороге». Но, хоть по дороге хромому Танцору и легче шагать, ехать пока придется все-таки степью. Подалее от возможных встреч.

Костя слушал, покачиваясь на спине Танцора, шелест трав, посвистывание ветра.

Внезапно к постоянным степным звукам добавились иные. Не то крик «о-о-о-й», не то гул тяжелого конского топота. Послышался хлопок, будто с треском лопнул под босой ногой крепкий гриб-пыхтун. Костя оглянулся. Со стороны Поречного, тем же путем, что ехал и он сам, по его следу во весь опор скакало человек двадцать или тридцать всадников, у всех винтовки.

«Выследили!» — короткое, как выстрел, слово пронзило сознание.

— Танцорушко, миленький, хоть до лесочка донеси! — Костя припадает к шее коня, а сам что есть силы колотит его по бокам. «Там, в леске, кусты, а за леском у Гавриленковых еще, небось, хлеб нежатый есть. Спрячусь», — мелькает надежда.

Конь и сам чувствует беду. Он весь вытянулся над землей, силится вскинуть разом обе передние ноги для летящего намета и не может. А за спиной хлопки слышны все ближе. Их уже не спутаешь со звуком лопнувшего гриба... Конь еще отчаяннее пытается убыстрить свой бег. Но вдруг на всем скаку останавливается, вытягивая вперед шею, будто еще продолжает мчаться, и валится на бок, в высокую траву. — Танцорушко!

Костя стремительно высвободил ногу, которую придавил раненый конь, поднялся и побежал, что есть сил, петляя из стороны в сторону. «Только бы до лесочка, ведь близко же, ведь уже видны листья на деревьях».

А топот сзади все слышнее. Кажется, Костя даже слышит шумящее конское дыхание. Или это сам дышит так тяжело? Нет, не убежать ему. На ходу выдернул из кармана заряженный наган и дальше, вперед.

Чуть поближе леска, немного в сторонке от него, растет одинокая береза. Стоит на каком-то бугре, колышется. «Так ведь это не бугор!» — узнает Костя. Это землянка — станок, сложенная из земляных пластов, обложенных дерном. Ведь он бывал в ней! А на крыше березка выросла. И ее помнит. Будто новые силы прибавились у Кости. Резко свернул к той землянке, и вот она, дверь! Полуоткрыта!

На миг, самый кратчайший, в памяти промелькнуло ощущение: он дома, играет с ребятами в прятки; запалился от бега и — ух! — в прохладную темноту погребла. Но только на миг. Глаза еще плохо видят в сумраке, а руки уже нащупывают в углу знакомый обрубок бревна, чем припереть дверь изнутри.

Сразу охватило тишиной. Все звуки остались снаружи. Темноватое пространство внутри землянки прорезается нитями света потоньше и пошире, в которых толкутся пылинки. Это между выветрившимися земляными пластами образовались щели.

Странно раздваивалось его сознание. Он был охвачен страхом, как зверек, попавший в ловушку. Страх ежесекундно грозившей смерти, присущий всему живому, страх в тугой холодной комоч сжимал все внутри, оставляя лишь одно желание — зарыться еще глубже, куда-нибудь под землянку, спрятаться. И в то же самое время он сохранил способность обостренно наблюдать, сопоставлять, принимать решения.

Вот они где, увидел он, спешили, стоят кучкой недалеко от леска, метрах в двухстах от землянки. Костя мгновенно соображает: «Ага, ближе подойти боятся, как бы я из нагана не достал». Главный, вокруг которого собрались все, человек со сверкающими под солнцем погонами на плечах знаком чьего-то Косте. Э, да это же поручик Курдюмов, каратель, который еще в прошлом году приезжал в Поречное допрашивать пойманных партизан — дядю Петра Петракова с товарищами. Партизаны с Костиной помощью убежали, а Курдюмов остался в Поречном. Мальчишки его сразу же прозвали «Подкорень», потому что он без конца приговаривал: «Я выведу здесь партизанскую заразу. Всех под корень...»

Значит, этот Подкорень все еще в Поречном... Рядом с ним солдаты. А еще есть одетые как мужики, на конях, с оружием. Похожи на дружинников из «Святого Креста», а может, обозники. Еще Костя

видит: знакомая фигура мельтешит среди его преследователей, пореченский целовальник, Ваньшин отец. «Знает ли об этом Ваньша?» — зачем-то наплывает вопрос и тут же исчезает.

Костина мысль возвращается к отряду. Теперь уж, наверное, двое других разведчиков вернулись, доложили, что колчаковского обоза не обнаружили ни по дороге на Каменск, ни в Головлеве. Игнат Василевич догадается, что обоз пошел на Поречное, станет ждать Костю и, не дождавшись, все поймет. И пошлет бойцов. Обозников громить. Костю выручать.

Если бы мама знала или Груня, — побежали бы в отряд, сообщили. Хотя бы птица какая полетела к командиру, отнесла бы на крыльях весть про его разведчика и связного... Тяжкая тоска сосет Костино сердце. Вот, значит, какая бывает смертная тоска...

А преследователи, видно, что-то решили. Вот солдаты разбегаются, залегают и ползут к землянке.

Костя усмехается. Почему-то он перестает бояться. Целое войско против него одного. Ладно, поборемся. Он-то в укрытии, попробуй попади в него. А они-то все на виду. Берет наган, взводит курок, чуть отклоняется от щели, чтоб самого не увидели.

Солдаты ближе, ближе. Почему не стреляют? Костя выбирает мишень — ближайшего справа солдата. Напряженно целится.

Когда те подползают так близко, что он уже не боится промахнуться, стреляет. Солдат замирает, винтовка падает. Костя берет на прицел другого — и тот припадает к земле, роняет винтовку.

Ура! Буйное веселье охватывает Костю. Враги повернули. Они бегут! Обратно! Один на ходу стреляет по избушке. Струйки земли текут поперек щели, из которой стрелял Костя. Значит, заметили, надо осторожнее. Поручик что-то кричит тому, стрелявшему. Ругает? Почему? Непонятно, и от этого тревожно.

Медленно тянется время. Подкорень снова гонит свою «армию» на приступ партизанской «крепости» с ее единственным защитником и воином. И снова падает один из штурмующих, а остальные поворачивают назад.

«Три», — считает про себя Костя. Целых три! Ура! Он готов кувыркаться, кричать от радости. Но некогда. Поспешно шарит в карманах — заложить запасные патроны в барабан нагана. Пока еще можно держаться. Эх, если бы птица какая пролетела к командиру, поторопила его выручить своего разведчика и связного...

Костя замечает — противник изменил тактику. Рассыпались редко, редко друг от друга, охватывают избушку кольцом. Костя перекидывается от своей пристрелянной уже «амбразуры» к противоположной стенке. И там есть щель. Выстрел опрокидывает одного — убит или ранен — разглядывать некогда. Еще выстрел из приоткрытой двери — солдаты разбегаются и снова залегают. Наступает тишина. И вдруг — не грезится ли? Костя не верит собственным ушам — над степью раздается песня. Бунтарская песня, вывезенная кем-то с Украины:

За Сибирью солнце всходит,
хлопцы, не зевайте...

Погромыживает пустая телега, Степка Гавриленко едет на свой клин. Он еще не видит солдат и распевает во все горло.

— Сте-епка-а! — кричит Костя, и получается у него тонко и немного жалобно. — Сте-пу-урка-а!

Вот та птица, что отнесет командиру весть о Косте. Степку, небось, и Подкорень знает, и целовальнику хорошо известно, это не партизан. Трогать его не станут.

Громыкает телега, Степка не слышит Костиного

зова. Даже не оборачивается. Но нет, приостановился. Только почему-то смотрит не на избушку, а на Костиных преследователей. Ясно: Подкорень встал во весь рост, машет рукой, подзывает Степку к себе. Ага, вот для чего: на телегу складывают убитых. Наверное, есть и раненые, вот один силится встать. Но в телегу сел и погнал лошадей какой-то мужик, а Степка остался. Он стоит перед офицером, вытянувшись в струнку, как солдат. Приучил-таки Подкорень перед ним тянуться. Что же дальше-то будет?

Степушка! Он идет сюда, к Костиной землянке! Оглянется на офицера, тот махнет: иди, мол. Сам посылает. Это уже совсем непонятно. Степка почему-то руки странно держит. То над головой их поднимет, будто идет сдаваться, то в стороны разведет и пальцами пошевеливает, словно отряхивает. Будто хочет показать, что в руках ничего нет, никакого оружия. Дурачок Степка. Неужели Костя в него стрелять станет? С ума он, что ли, сошел?

Костя решил притаиться, ждать, что будет. Из щелки ему хорошо видно приближающегося Степку, а тому его не видеть.

Подходит. Да какой же белый! Костя не раз видел Степку таким — лицо сразу сожмется в кулачок, побледнеет, прямо иззелена станет, а по нем густо конопушки проступят, как на сорочинном яйце. Глаза Степкины бегают, как всполошенные мышата.

Степка в нерешительности останавливается, немножко не дойдя до двери.

— Костя, Кость! Ты живой?

— А то какой же?

— Выдь сюда!

— Ты что, сдурел? Чтоб подстрелили? Иди сам ко мне.

— Я боюсь. Тех, что с тобой сидят.

— Кого? Один я, иди скорей!

— Ну да, один! Они, — Степка кивнул на офицера, — говорят: «Не может быть, чтоб один... Там, небось, уже сидели, ожидали тебя». Выдь, Костя!

— Степушка, скорей сюда, — Костя чуть-чуть открывает дверь, но так, чтоб те не заметили, — скорей! Мне-то ведь никак нельзя. Убьют ведь, Степка, что же ты стоишь?

— Не, они не станут стрелять. Вот послушай-ка. Подкорень велел сказать, чтобы вы все, сколько есть, выходили сдаваться. Оружие побросайте так, чтоб он видел. Он никому ничего худого не сделает. Из-за тебя всех отпустит, потому ты один ему нужен. И тебе ничего худого, а разговор есть.

Костя про себя соображает — верно, вот почему Подкорень даже ругал солдата, который выстрелил... Убивать его, по-видимому, не собирались. Но про каких остальных речь — ведь он один здесь... Костя думает и молчит, а Степка то оглядывается на офицера с солдатами, то опять заглядывает к Косте в щелку и даже как-то весь двигается от нетерпения, стучает нога об ногу, будто сучит ими.

— Слышь, что ли, Коська, что молчишь? Они велели сказать, что, мол, клянутся, вот крест, убивать не станут, только поговорят чего-то...

«Ну да, для того и обложили, как медведя в берлоге, и на приступ шли, вроде на вражью крепость, чтоб просто поговорить. Что-то тут не так. И Степка тоже, глупый или какой?»

— Скажи им, Степ, дураков нет, пусть середь себя поищут. Хотя нет, не говори этого, а то они на тебя обозлятся. Ты передай, так, мол, и так, не идет, и все. Пусть что хочут... А сам, Степушка, душой прошу отпросись от них скорей и лети, что есть духу, а то коня возьми и — к партизанам, к Гомозову Игнату Василевичу. Слышишь? Они стоят...

Ох, как забегали Степкины глазки! Даже затрясся весь. Отчего он так? И тут Косте почему-то не захотелось говорить, где стоит партизанский отряд и как Степке его найти. Почему, он и сам не знал, но почувствовал: нельзя. Этому дрожащему парню, бывшему другу, Костя про себя и мог бы что-то сказать, а про отряд нет. И он замолчал. Степка, дрожа, выжидательно смотрел на него, а он молчал, будто перед ним снова только пустая степь и вдалеке враги, будто рядом вовсе никого нет.

— Ой, да никак же невозможно без тебя ворочаться. Убьют они меня. Этот, страшный-то, — каратель, Подкорень-то, сказал: вернешься без дружка — пристрелю! Ему целовальник сказал, что мы, мол, дружки с тобой...

Вот чего он боится...

— Пойдем, айда, Костя, — хныкает тот, а Костя его слышит как бы издали: у Кости свои думы. — Пойдем, айда! Ведь застрелят меня насмерть. — Зуб на зуб не попадает у Степки. — Слышишь, что ли! Они ведь клялись, что тебе ничего не сделают.

— Враки все. Тебя-то не за что. Ты не виноватый, раз я сам не иду. И не трясись. А хошь, Степка... Эй, Степ! Прыгай сюда, в землянку. Запремся с тобой. Живым хотят взять, так стрелять не будут. До ночи досидим, а там потемну-то им нас не устеречь. Трава высокая, лесок — вот он, а подале — ваша рожь. В темноте-то поди, поищи. А? Давай! Сюда и пули не достают, через земляные пласты. Верно спасемся!

Дрожит Степка. Не знает, где страшней. Вернешься, проситься станешь, может, еще и простят, а сюда, с Костей в пару, нет.

— Не останусь с тобой. Ты и сам тут пропадешь.

Ну, что такому скажешь? Молчит Костя.

И пошел Степка назад один. Теперь и Костя снова один на всем свете. И думает он не о Степке, что сейчас стоял здесь, не поймешь какой, а думает совсем о другом. Ему теперь доподлинно ясно, что Подкорень с солдатами хотят взять его живым. В памяти будто высветились Грунины слова о том, что говорили о нем богатеи на мельнице: «По жилочке бы выдергать за каждое слово, все бы рассказал». Не зря рядом с карателями крутится целовальник. Вот о чем хотят с ним поговорить...

Надо подумать, принять решение, как принимают в трудную минуту решение Гомозов и комиссар Ивин. Пожалуй, то, что сгоряча предложил Степке, и есть самое верное. Живым они его могут схватить, если выйдет, или, скажем, сейчас вздумает выскочить и бежать. А будешь сидеть в этом станочке — как достанут? Никак. Дверь приперта. Ломать станут — он стрелять. Или стены станут разваливать — тоже застрелит первого же. А день идет. Может быть, скоро подгадает партизанский разъезд. А нет — так досидеть до ночи и уж тогда пытаться...

Решение принято. Костя деловит и почти спокоен. Теперь надо проверить, сколько у него патронов. В барабане... в барабане всего два. В кармане засохший листик, крошки. Патронов нет. Пусто. Потерял, наверное. И в другом пусто. Всего два. Всего два. Не заметил, как извел все. Холод страха снова касается Костиного сердца, но Костя отгоняет его. Два патрона есть. Можно держаться. Надо держаться.

Текут минуты. Кажется, Костя слышит, как они шелестят. Это шелестят под ветром листья на березке, что выросла на крыше землянки, у самого дымового отверстия. Что это? Опять Степка бежит. Да проворно этак. Рад, что не стали его наказывать. Чего еще хочет? Смотрит на бегущего Степку и не видит, что зашедший заранее далеко в сторону теперь сюда же поспешает солдат с винтовкой.

— Костя, а Кось, выйди сюда. Я к тебе туда боюсь, ты выйди, они тебе ничего...

А было так: Степка вернулся, заикаясь и давясь слезами, доложил Подкореню, что Костя идти с ним не захотел. Степка все повторял «я не виноватый, ваше благородие» и весь был мокрый от страха. Но их благородие убивать Степку не стал, а стал подробно расспрашивать его, что он говорил своему другу и что тот отвечал.

— Ну, а он что на это? Ну, а ты что ему? — понукал каратель вконец потерявшегося мальчишку, требуя передачи всего разговора слово в слово.

— А потом он что?

—...Потом Костя и говорит: «Давай, — говорит, — иди сюда, досидим здесь до вечера, а потемну они (это вы, мол, ваше благородие) нас не устерегут... А я не захотел с ним вязаться, потому что...

Вот тут-то их благородие сделался задумчивым и перестал слушать, почему Степка не захотел вязаться с Костей. Он покрутил головой, поглядел на небо, высоко ли еще солнце и долго ли до вечера. Потом подозвал одного солдата, что-то ему шепотом объяснил. А уж после этого снова позвал Степку и велел ему еще раз возвратиться к землянке. Да обязательно вызвать бывшего друга наружу. Он сам, по ручику, попробует с ним договориться. Вот Степка и вызывает.

— Костя, а Кось, ты выйди. Они тебе ничего. Подкорень сам тебе что-то сейчас покричит.

И Костя решается. Он ведь понимает, что нужен карателям живой, значит, стрелять они не станут. Может, и правда Подкорень хочет ему что-то покричать. Так ведь зря. Ну, пусть поорет. Снаружи так светло, так привольно колышутся травы...

Костя осторожно выходит, придерживая рукой дверь, чтоб в случае чего сразу вскочить обратно. И снова слышит:

— Ты подойди сюда поближе.

— Пусть кричит, отсюда слышно...

А у Степки уж совсем тревожное лицо. Он вроде что-то еще сказать хочет, но только открывает рот и закрывает, а сказать — не говорит. Он, Степка, видит то, чего не видит Костя.

В этот-то момент Костю что-то сильно толкнуло сзади, в бедро. И нога сразу перестала держать его. Он осел наземь. Сгоряча не почувствовал боли, только теплая мокреть пошла по ноге. Костя, опираясь рукой о траву, а в другой держал наган, обернулся назад, туда, откуда толкнуло. Увидел белобрисое лицо с приподнятыми бровями и выстрелил в него. Может, промахнулся, может, нет, он не глядел.

Делая огромные усилия, стал отползать обратно в избушку и захлопнул за собой дверь.

Степка, который все это видел, вдруг сорвался и побежал. Прочь от избушки, от карателей с их начальником Курдюмовым, по прозвищу Подкорень, с вооруженными обозниками. Он бежал, и ветер гудел в его ушах, а потом над головой просвистела пуля, и еще как будто бичом хлестанул лихой, в два пальца, разбойничий свист: лови, мол, его. Но, по правде, никому он не был нужен. Просто полугать хотели. Он мчался, не останавливаясь, пока в легкиххватило воздух, а потом задохнулся и упал. Полежав немного, поднялся. Никого вокруг уже не видно, значит, далеко убежал. Пошел себе дальше шагом, пока не дошел до реки. И тут ему ужасно захотелось помыть ноги. Они так и горели, исколотые ломкими травами, натруженные в беге. Сел на бережок и опустил босые ноги в текущие струи. Через воду они



показались белыми и неживыми. Тогда он посмотрел на свое отражение в реке. Лицо зыбилось на волне, корчилось, расплывалось, совсем не похожее на живое человеческое лицо. Но этого боязливый Степка совсем не испугался. Он-то знал, что жив-здоров. Вот они — руки, ноги, голова, — все цело. И он тихо засмеялся от радости. А на текучей волне закачалась изломанная, исковерканная гримаса, расплылась и исчезла без следа.

Избушка-станок была немного заглублена. Внутри вела одна ступенька. Костя сел на землю, навалившись на эту ступеньку, потому что сидеть прямо было трудно. Очень кружилась голова, сохло во рту. Штанина на простреленной ноге намочла кровью. Костя оторвал рукав от рубахи, разорвал на две полосы и, не снимая брюк, потому что это было очень

больно, прямо сверх штанины перетянул рану, как это делали санитары, когда хотели остановить кровь. Потом тяжело задумался.

«Зачем они это сделали? Нарочно подкрадывался, чтобы ранить. Убивать не велели, значит. В то время, как Степка... Ага, Степка, наверное, и сболтнул, что Костя ночью собирается удирать. Так. Чтоб не удрал, значит. Очень им нужно «поговорить». Они не знали, что у него оставалось всего два патрона. Не догадывались. И Степка не знал. Вот что. Значит, и теперь не знают, что патрон один. Будут дразнить, чтоб он скорей истратил все патроны, сколько их есть, а потом... Они теперь знают: удрать он не сможет. Не сможет... Так... Один патрон».

Костя будто видит его, этот туго загнанный в барaban нагана патрон. Он понимает, что надо делать, но все его существо противится этому.

«Нет! Жить!» — Сознание лихорадочно ищет выход.

Ведь можно еще попытаться перехитрить врага. Можно сделать так: выползти на волю, крикнуть им, что готов, мол. Да они и сами увидят. Готов, мол, разговаривать. Спрашивайте. Прибегут, станут мучить, допрашивать. Так ведь не сразу помрешь. Даже очень может быть, что выживешь. Вон одного дядьку партизаны от карателей отбили — те успели уши ему отрезать, искололи всего, но был еще жив. Потом поправился и еще плясал. Костя сам видел.

Ох, какие круги плавают перед глазами, прозрачные колеса крутятся! Это, наверное, от потери крови...

Да, вполне может быть, что живым останешься. Небось, командир все же выслал ребят. Те придут в село, разобьют обозников и наверняка нападут на его след. Искать ведь будут. И спасти могут. От смерти. Надо идти. С одним патроном все равно не продержаться долго. Да и слабнет он. А те, небось, еще и перевяжут, чтобы выдержал, пока будут спрашивать...

Костя стал думать, о чем они могут спрашивать и как надо будет в ответ молчать. Спросят, где сейчас отряд и куда собирается выступить, какое в отряде оружие и сколько в нем людей... И про каждого в отдельности, кто какой человек, откуда родом и на какой капкан его ловить можно: и про Гомозова Игната Василича и комиссара Ивина Егора Семеныча, большевика из Питера. И еще про всех, кто в селах и деревнях, в городе Каменске и на лесных да степных заимках помогает отряду Гомозова быть неуловимым, когда надвигается опасность, и непобедимым в бою. Если он назовет хоть одного из них, тому человеку не жить. И, может, дальше потянутся ниточки: враги узнают связи, тайные партизанские пристанища, начнут гибнуть люди, десятки друзей...

Как все-таки хочется пить. А бедро уже сильно разболелось. Жжется. Будто к нему прикладывают раскаленное железо. Костя в кузне. Дядя Арсений, кузнец, кует для коньков железный полозок и прикладывает Косте к бедру. Дядя Арсений... «Фу, засыпаю я, что ли», — пугается Костя. Но он не спит. Только кружится голова. Перед глазами крутятся и крутятся прозрачные колеса. Костя крепко зажмуривает глаза и снова открывает. Ему нужно думать, думать. Хорошо бы враз забыть все, что может быть интересно врагам. Забыть названия сел, фамилии людей, лица. Забыть. Кого? Вот они здесь. Обступают его. Учительница Анна Васильевна наклоняется к Косте, садится рядом. Он теснее приваливается к земляной ступеньке, будто опирается на плечо учительницы. А вот хозяин дома в Ползухе, что дал им приют в день митинга, и сейчас продолжает помогать партизанам, его жена с ребенком на руках. В землянке стало трудно дышать, тесно от людей. Вот дядя Тимофей Пархомов из Сальковки; вот брат партизана Суренкова; вот усатый регент Корченко, чья жена уверяет всех, что он в колчакках; вот улыбается физиономия Гараськи Самарцева. А вот тот раненый большевик, которого сестра милосердия прятала в больнице, а Костя ему передавал записку. Здесь и дядя Петр Петраков и многие другие, кого хорошо знал Костя, у кого иногда ночевал, а с иными вместе выполнял задания.

Все, кого он узнал за этот год не только в Каменском уезде, но и по всей губернии. Теперь они неслышно прошли сквозь стены землянки, обступили Костю так тесно, что совсем нечем дышать. Костя облизнул пересохшие, горячие губы. Провел рукой по глазам. Никого нет. А как ясно видел каждого... Но ведь надо, наоборот, забыть всех. Враз. Чтоб никто даже издали не припомнился на допросе. Нельзя.

Отца Костиного как мучили — никого не выдал, совесть не позволила. И сын не выдаст.

А вдруг не выдержит мучений, ослабнет, впадет в беспамятство да и начнет болтать, сам того не ведая? Так бывало с некоторыми, он слышал...

Сидит в станке-земляночке крестьянский сын из села Поречного, шестнадцатый год от роду, истекает кровью, думает великую горькую думу. О людях. О жизни. О смерти. О совести.

Выползти бы на волю, под ветерок. Пусть те враги напоят его и перевяжут рану. Потом пусть хоть и мучают, зато ведь жить останется. Жить. А те люди, если он не выдержит?

Да что же это такое?! Сильная злость закипает в Косте. Он уж ничего и не чувствует, кроме этой злости. Кого хотя бы сделать из него эти гады, предателя? Не будет этого!

Злость придает силу приподняться, толкнуть дверь, выбраться наружу. Приподнялся, привалился к стенке, чтоб не рухнуть. Видит: офицер и с ним трое солдат медленно идут к нему. А другие на большом расстоянии от землянки окружили ее. Стоят далеко друг от друга. Ждут. Как волки окружают жертву, ожидая, когда она ослабнет.

Не ослабнет. Не ждите. В барабане нагана есть еще патрон.

— Эй, вы! — закричал Костя изо всех сил. Вышло не очень громко, но все же слышно. — Эй, вы! Допрашивать меня хотели? Не дамся! Шиш вам! — Пальцами свободной от нагана руки Костя сложил дерзкий узелок и слабо взмахнул им навстречу идущим. — Шиш!

Потом прислонился затылком к дерновой стене землянки, будто к обросшей щетиной родной щеке, еще помедлил мгновение. От вольного воздуха и ветра кружилась голова, звон стоял в ушах. И послышалось Косте будто отдаленное конское ржание, гул земли под копытами. Это мчатся партизаны ему на выручку. Вот уже мелькают за лесом партизанские пики. На их остриях огненными точками трепещут красные флажки. Огненными точками.

А враги подходят все ближе.

Как тяжело поднимать к виску вороненый наган. А в нем всего один патрон.

Чем пахнет степной ветер? Мятой, родными руками. Мама...

Огненные точки флажков. Выстрел. Тьма.

А в мире по-прежнему было светло. Неярко прострели среди увядающих трав поздние цветы. Березка на крыше степной избушки-станка горестно клонилась вниз, как бы желая в последний раз взглянуть на лежащего на земле крестьянского сына. И тосливо струились по ветру ее недавно зеленые, а теперь перевитые желтыми прядями, будто поседевшие косы.



**Магомед
Аминов**



Меня воспитали
Вонзенные в небо ребристые скалы.
Там птицы летали.
Меня воспитали
Дороги, которые виться над бездной
Устали.
Меня воспитали
Потоки воды, монолитной и звонкой,
Как будто из стали.
Меня воспитали
Сады в белоснежном цветенье
И чистые дали,
Горячие песни горянок,
Чьи долгие звуки
Звучат в моем сердце так больно,
Как годы разлуки,
И мужество горца,
Когда хладнокровно и смело
На дикую лошадь взметнет он вдруг
Быстрое тело...
И буду я счастлив,
Когда хоть чертою одною
Во мне повторится тот мир,
Что живет предо мною.

Лети

Едва заботы и обиды
Обступят сердце, как туман,
И пропадет оно из виду,
Как свет костра, мираж, обман,
Для всех,— мой друг, ставь ногу в стремя
Коня — тебя он долго ждал! —
И мчись, чтоб ветер, словно время,
Один тебя сопровождал.
Лети! Пути твои открыты,
Копыта землю бьют, звеня,
И падают твои обиды,
Как пена падает с коня.
Лети! Почувствуй в чистом поле,
Что молодость в тебе жива.
Утихнут мелочные боли,
Как перед бурей листья.



И только на дороге стертой
Вдруг ощутить тебе дано,
Что небо наполняет взор твой
И сердце мужества полно.
И в душу, что парит, живая,
Над гривой бешеной средь гор,
Как будто песня дорогая,
Войдет нетронутый простор.

Луга

Когда ты, сердце, разучилось
Смеяться и грустить, скажи!
Луга родные, сделай милость,
Глазам усталым покажи!
И вот опять я, как когда-то,
Иду по ним, почти парю,
И чистый пересвет заката
Похож на дальнюю зарю.
Я видел радость и печали,
Познал и доброту и зло,
Но ветры родины звучали
В душе моей, храня тепло.
Отсюда, от травы узорной,
К чужим летели небесам...
И слезы застилают взор мой,
А почему, не знаю сам.

Красота

О белый жеребец, замри!
Дай наглядеться — ты из пены
Так возникаешь постепенно
И светишься весь изнутри.
Как будто ясная луна,
Бежишь ты не спеша по кругу,
По летнему родному лугу
Вокруг меня и табуна.
Отдай, табунщик, жеребца!
Я приручу его, быть может.
Пускай любовь его стреножит —
Не зло и не елей лъстеца!
И белая его спина
Тогда совсем не равнодушно —
Легко, упруго и послушно
Меня подымет, как волна.
Прибегну если я к кнуту,
Лишь для того, чтоб, словно кремнем,
Объездчикам подобно древним,
Как искру, высечь красоту.



О, ночи горной сладкие минуты!
Тропинки, уходящие в луга!
Еще бы раз пройти по ним разутым!
Как жадно там ступала бы нога!

Кто ходит там сейчас, как я, и милой
Мои слова, быть может, говорит!
Над кем сейчас любовь в ночи унылой
Такой веселой звездочкой горит!

Перевел Н. ЗЛОТНИКОВ.

Феликс
Кузнецов



ПОГОВОРИМ
О
ПРОЧИТАННОМ

ГЛАВНАЯ КНИГА

Статья первая

В

1

«Дневных звездах» Ольга Берггольц пишет:

«...Если не у каждого, то у большинства писателей есть Главная книга, которая всегда впереди. Самая любимая его, самая заветная, зовущая к себе неотделимо... Писатель может не знать заранее, в какой форме она воплотится — в поэме ли, в стихах ли, в романе, в воспоминаниях ли, но твердо знает, чем она будет по главной сути, знает, что стержнем ее он будет сам, его жизнь, и в первую очередь жизнь его души, путь его совести, становление его сознания, — и все это неотделимое от жизни народа».

Главная книга в представлении писательницы начинается с истоков и посвящена единому, всеобъемлющему и ясному чувству — «нашей великой идее». Главная книга писателя должна быть «насыщена предельной правдой нашего общего бытия, прошедшего через мое сердце», — говорит О. Берггольц. «Исповедью сына века» является Главная книга. Если автор достоин своего времени, утверждает она, то, рассказывая о своем сердце, о самых тайных его движениях, он обязательно расскажет и о сердце родного народа, о главном в его судьбе.

И глубоко закономерно, что в своей устремленности к Главной книге, в своих лирических раздумьях о кровной причастности каждого настоящего советского человека к судьбе своей Отчизны, к судьбе нашей идеи, писательница как к неоспоримому итогу, а точнее, как к «началу всех начал» приходит к Ленину.

Ленин для О. Берггольц — символ «нашего неукротимого времени... Он давно уже стал неотъемлемой частью сознания и входит в его непрерывное движение».

Родина и коммунизм, судьба народа и Ленин — вот органический сплав тех глубоких и искренних убеждений, которые с такой силой исповедует О. Берггольц в «Дневных звездах».

«Как великая, порой грозная сила, как великий добрый свет, так с самого раннего детства входил Ленин в сердце моего поколения. По мере того, как мы росли, образ его становился все человечней, все ближе к душе, и любовь наша к нему была глубоко

человечной — она была постоянна, естественна и спокойна, как дыхание здорового человека».

Каждый подлинный писатель устремлен к своей Главной книге — самой любимой, самой заветной, самой зовущей, которая всегда впереди. Главная книга советской литературы — книга о Ленине, о революции. Книга эта пишется многими писателями в течение десятилетий, основу ее заложили Горький и Маяковский. Еще на первом Всесоюзном съезде писателей в 1934 году Н. Тихонов говорил: у советской литературы «главный герой — строитель бесклассового общества, это — положительный герой, как бы мал или как бы велик он не был. Во главе главных героев — грандиозный образ Ленина, который многократно повторен поэтами».

Наша поэтическая Лениниана открывается поэмой В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин», стихами В. Брюсова, С. Есенина, Д. Бедного, Н. Асеева, Б. Пастернака. Она была продолжена «Домиком в Шушенском» С. Щипачева, «Балладой о Ленинизме» И. Сельвинского, «Ленин» М. Рыльского, «Лонжюмо» А. Вознесенского.

Лениниана в советской прозе начиналась очерками М. Горького, «Мужицким сказом о Ленине» Л. Сейфуллиной и очерком М. Пришвина «Ленин на охоте»; рассказом «Рисунок с Ленина» К. Федина и сказом «Солнечный камень» П. Бажова. Она продолжена книгами Э. Казакевича, Е. Драбниной, М. Шагинян, В. Катаева, А. Кононова, З. Воскресенской, А. Коптелова, С. Дангулова, М. Прилежаевой, Б. Яковлева, Б. Галина, С. Виноградской, С. Алексеева и других писателей.

Успехи нашей Ленинианы — особенно в последние годы — очевидны. Но потому она и Главная книга нашей литературы, что находится в непрерывном движении, совпадающем с движением жизни, с ростом и движением нашего общественного самосознания, а поэтому, говоря словами О. Берггольц, всегда как бы черновик... Всегда впереди... Ибо художническое постижение ленинского гения во всем его масштабе, во всей глубине и человечности — дело неизмеримо трудное.

У нас нет возможности в объеме статьи сколь-нибудь подробно рассмотреть всю современную Лениниану. Вчитаемся хотя бы в некоторые главы Главной книги советской литературы.

Роман-хроника «Семья Ульяновых» Мариэтты Шагинян, посвятившей много лет жизни и труда ленинской теме, заканчивается поздравлением родителей «с новым жителем на земле, Владимиром Ильичем».

Вторая книга М. Шагинян, «Первая Всероссийская», завершается 1873 годом — Ленин присутствует в романе-хронике трехлетним мальчуганом в шароварах и белой рубашке навыворот.

И тем не менее без этих книг М. Шагинян Лениниана была бы неполной. Значение этих романов-хроник в том, что в них художнически исследуется та историческая необходимость, те предопределения, которые сделали неизбежными Революцию и Ленина. Оба романа по смыслу и значению шире темы, вынесенной в название первого из них: «Семья Ульяновых». Задачей автора было выявить органическую преемственность эпохи Ленина делу его великих предшественников, вождей и наставников передовой русской интеллигенции прошлого века, глубинные народные, демократические корни ленинизма в России.

М. Шагинян определяет жанр обеих своих книг как роман-хронику. Это не формальное определение. И «Семья Ульяновых» и «Первая Всероссийская» — книги строго документальной прозы; в основе их — собственные архивные изыскания писательницы, кропотливый и долгий труд историка-исследователя, воплощенный незаурядным талантом автора в цельное художественное произведение.

В романах прослежен жизненный путь Ильи Николаевича Ульянова — его учительство в Пензе, потом в Нижнем Новгороде и, наконец, в Симбирске, рассказано о его жизненных и педагогических принципах, о его подвижническом труде на ниве народного просвещения. А главное, Мариэттой Шагинян воссоздана личность Ильи Николаевича Ульянова, подлинного русского интеллигента из разночинцев, выбившегося из бедности, нечеловеческим трудом получившего образование, поднявшегося до высокой культуры. Личность прежде всего гуманная, истинно человеческая, одухотворенная, щепетильно, безукоризненно нравственная. Таким предстает он в обоих романах-хрониках — в отношении к своим воспитанникам, в отношении к близким, в отношении к людям вообще. Его одухотворенность была одухотворенностью труженика, истово и честно относившегося к своему делу, видевшего в просвещении народа прежде всего гражданский, общественный смысл.

В романах писательницы, особенно в «Первой Всероссийской», документально исследованы и труд и борьба Ильи Николаевича за народную школу, за то, чтобы проломить гигантскую стену невежества, суеверия и нищеты народа. И в этой борьбе, пишет М. Шагинян, мягкий, ласковый, казалось бы, уступчивый — веревки из него вить — Ульянов оказался кремнем, твердыней, человеком системы, убежденный, дела.

Борьба шла за сердце, за доверие крестьян, чувашей в особенности. За деньги, за средства на народное образование, на строительство школ. За центральную фигуру на ниве народного просвещения — настоящего народного учителя. Ибо поставить школьное дело так, чтобы это дело стало реальностью, можно было лишь с помощью учителей, десятков учителей, вооруженных не только новыми методами преподавания, но и чисто практическими познаниями — как построить школу, меблировать классы, из чего и какой формы сделать школьные парты, — а главное,

обуреваемых желанием идти в народ, чтобы учить крестьянство, нести свет в деревню. В романах М. Шагинян воочию показано, как инспектор Ульянов «словно сеял и возвращал» таких людей вокруг себя, как тянулись к Ульянову все «честно мыслящие умы» в среде учительства, с какой бережностью и чуткостью пестовал он замечательных народных учителей, получивших позднее почетное прозвание «ульяновцев».

Воспитание этого нового типа народного учителя было возможно только на идейной основе, на фундаменте строгих гражданских и нравственных принципов. Исследования и изыскания писательницы убеждают, что вся жизнь Ильи Николаевича Ульянова — не только в Симбирске, но и в Нижнем Новгороде — была борьбой за передовые педагогические принципы, ежедневной, упорной, мужественной, а главное, не одинокой, бок о бок с друзьями-современниками, с единомышленниками.

Мало кому известно, что само понятие интеллигенции возникло в России и вошло в английские, французские словари как калька с русского. Не образовательный ценз и не мера интеллектуальности — свойства необходимые, но недостаточные — определяли сущность того социального явления, которое называлось русской демократической интеллигенцией. Главным здесь были качества нравственные, качества духовности, проистекающие из чувства кровной сопричастности с жизнью и судьбой народа, из чувства личной ответственности, долга перед народом, подвижнического служения ему.

Образование, наука, знание в глазах лучших представителей разночинной интеллигенции, потом и трудом приобщавшихся к этим плодам цивилизации, были не самоцелью, не средством корысти и эгоизма, но условием гражданского, нравственного развития личности.

Интеллигентом человек становился по мере того, как под влиянием знания, образования и воздействия жизни в нем формировалось гражданское самосознание, пробуждалась гражданская совесть.

Евангелием для русской демократической интеллигенции звучали строки из «Исторических писем» Лаврова, наиболее точно и полно выразившие мироощущение лучших представителей этого «цивилизованного меньшинства»:

«Каждое удобство жизни, которым я пользуюсь, каждая мысль, которую я имел досуг приобрести или выработать, куплена кровью, страданиями или трудом миллионов. Прошедшее я исправить не могу, и как ни дорого оплачено мое развитие, я от него отказываться не могу: оно именно и составляет идеал, возбуждающий меня к деятельности. Лишь бессильный и неразвитый человек падает под ответственностью, на нем лежачей, и бежит от зла в Фиванду¹ или в могилу. Зло надо исправить насколько можно, а это можно сделать лишь в жизни. Зло надо зажить. Я сниму с себя ответственность за кровавую цену своего развития, если употреблю это самое развитие на то, чтобы уменьшить зло в настоящем и в будущем...»

Строки эти дважды приводятся М. Шагинян; они справедливо представляются ей крайне важными для понимания нравственных процессов, которые шли в русском обществе 60—70-х годов. В свою очередь, вне общей картины российской жизни, вне социальных и нравственных процессов, которые шли в ту пору в ней, невозможно ни понять, ни объяснить характер Ильи Николаевича Ульянова, одного из светлых представителей русской демократической интеллигенции того времени.

¹ Имеется в виду пустыня, куда спасались от греха верующие.

Книги М. Шагинян — хроники не семейные, но социальные, исторические. Причем атмосфера жизни России 60—70-х годов, которая наполняет обе книги М. Шагинян, отнюдь не исторический фон, но та органическая, естественная среда, тот живительный воздух эпохи, в котором формировался характер отца Ленина.

С первых страниц «Семья Ульяновых», где рассказывается об учительстве Ильи Николаевича в Пензе, читатель погружается в пульсирующее время прославленных шестидесятих годов. Крестьянское восстание в Бездне, волнения в Пензенской губернии, охваченное заревами бунтов Поволжье, равно как проповедь Чернышевского, Добролюбова, Писарева могучими токами пронизывают жизнь Пензенского дворянского института, где преподает физику Илья Николаевич Ульянов.

По рукам воспитанников ходил трепанный, засаленный номер «Современника» — его углы стали хрупко-прозрачными.

В лирическом отступлении, которое высекала в романе эта встреча юности с «Современником», Чернышевским, писательница нашла точные слова, чтобы выразить нечто чрезвычайно важное и принципиальное для нее. «Помнит ли кто из нас, — пишет она, — людей совсем иного времени и поколения, первую решающую встречу с книгой, которой суждено стать вашим вторым рождением в мире? Неясный большой ком идет к горлу и спирает дыхание. Вы не видите частностей. Не соображаете своих прошлых привычек и мыслей, может быть, совсем не похожих на то, что сейчас. Вы не критикуете — наоборот, у вас потребность тотчас же, высоким, еще ломающимся, беззвучным голосом, с невероятной верой, невероятным апломбом говорить, говорить, говорить не слушая, презирая всякое возражение, — говорить о том, что в один миг стало для вас непреложной истиной. И это самый естественный, самый чистый миг в человеческой жизни, подобный тому, как с треском лопается сухая чешуйка, отдавая созревшие семена, — миг вашей гражданской зрелости».

Так читала русская молодежь статьи «Современника» и «Русского слова», а позднее «Отечественных записок».

Это не значит, что Илья Николаевич Ульянов сердцем и умом принимал революционный путь преобразования действительности, на который стремились направить Россию публицисты «Современника». Он брал в «Современнике» то, что было близко ему: «— Учить, учить надо, идти с букварем к народу... у Добролюбова то и хорошо, что он просветитель народа...», — так откладывалась в сознании Ильи Николаевича проповедь «Современника».

Эта страстная проповедь вкупе с могущественным гласом русской литературы сформировала нравственно целый культурный слой разночинной, демократической, просветительской интеллигенции России второй половины XIX века, той самой интеллигенции, к которой принадлежал и Илья Николаевич Ульянов. Именно их усилиями «по всей стране поднималась волна интереса к народу», святого, подвижнического отношения к нему. Они сделали демократическое мирозерцание, демократическую нравственность наиболее авторитетными, преобладающими в обществе. И хотя демократически настроенные интеллигенты тех лет по-разному понимали свой долг перед народом — одни стремились просветить народ, другие шли в народ, чтобы готовить его к революции, третьи проповедовали непременно взрыв, восстание, полагая, что в народе уже все назрело для этого, — при всех этих различиях они были «одинаковы в чувстве долга перед народом». В том самом чувстве, которое и со-

ставляло нравственную основу, было истоком высокой духовности передовой русской интеллигенции.

Недаром охранительные силы, выступавшие против русского освободительного движения, ставили знак равенства между понятиями «крамола» и «интеллигенция». Печально известный сборник «Вехи», этот «сплошной поток реакционных помоев, вылитых на демократию» (Ленин), именовался «сборником статей о русской интеллигенции». Авторы «Вех» уничтожили «интеллигенцию», с одной стороны, за «народопоклонничество», за то, что, по ленинскому комментарию, «у ненавистного «интеллигента» «бог есть народ, единственная цель есть счастье большинства», а с другой стороны, за «чужебские», утверждая, будто основы «интеллигентского» мирозерцания чужды истинно народному, русскому духу и являются не более как «бесовское наваждение», ибо, собственно говоря, по натуре своей, как давно уже открыли Катков и Победоносцев, — иронически комментирует Ленин, — народ питает «ненависть к интеллигенции».

Спор «веховцев» с русской демократией имел немалую историю. Отзвуки его слышны и на страницах романов М. Шагинян.

В конечном счете спор шел о судьбе России, о разном понимании патриотизма и народности, о путях развития родной страны.

Этот спор с теми, кто отвергал (и отвергает) демократическую традицию отечественной истории как чисто «интеллигентскую», которая при всем ее «народопоклонничестве» якобы инородна «исконному народному духу».

Этот спор с теми, для кого и марксизм, и Ленин, и революция казались слепо заимствованным «чужебием», чем-то наносным и чуждым исконно русской национальной основе.

Значение книг М. Шагинян в том, что они художественной правдой убеждают в органичности и закономерности революции и Ленина для России.

В романах исследованы социальные предпосылки к тому: безысходное положение трудящихся масс, безрезультативность усилий демократов и просветителей разрешить коренные противоречия русской жизни, усугубляемые развитием молодого и агрессивного русского капитализма. Первая Всероссийская политехническая выставка в Москве, именем которой писательница назвала второй свой роман, история которой, включая приезд Ульянова на выставку, легла сюжетной канвой романа, дала писательнице возможность наглядно обнажить процесс бурной капитализации России, начавшийся после реформы 60-х годов.

Однако главной задачей писательницы — этому посвящено и документальное постижение ею характера Ильи Николаевича Ульянова, и художественное воссоздание облика русской демократической интеллигенции, всей духовной атмосферы, ее формировавшей, — было исследовать нравственные корни, нравственные предпосылки ленинизма, не просто выросшего на почве русской демократической мысли, но и отринувшего многое из ее утопических заблуждений. Исследовать русские корни революционного, научного коммунизма.

3

«Семья Ульяновых» и «Первая Всероссийская» тугими, незримыми нитями связаны с последующими работами М. Шагинян, посвященными уже непосредственно Ленину: «Воспитание коммуниста», «По следам Ильича», «В Библиотеке Британского музея», «Рождество в Сорренто». Эти документальные очерки, опубликованные в пе-

рводике (журналы «Октябрь», «Дружба народов»), составили, как говорится в предисловии к одному из них, новую книгу «Четыре урока у Ленина». Книга эта достойно продолжает тот нелегкий труд, который писательница начала «Семьей Ульяновых» и «Первой Всероссийской», и вместе с тем оттеняет недостатки ее первых романов, связанные, как правило, с беллетризацией событий, которая там имеет место, порой утяжеляя и ускуняя повествование. Любопытный парадокс: ведь элементы беллетристики — скажем, вся линия молодого интеллигента Федора Ивановича в его взаимоотношениях с социалистом Жоржем Феррари и народницей Леночкой — и призваны, казалось бы, облегчить книгу, сделать более доступным ее содержание. На самом же деле многие страницы, где действуют вымышленные герои, звучат настолько иллюстративно-назидательно, что эффект получается обратный.

Видимо, жанр исторического романа стеснял, говоря словами М. Шагинян, ее «жадное чувство исследователя», и в своих работах, посвященных непосредственно Ленину, она полностью отказалась от беллетризации, более того, — от какой бы то ни было жанровой определенности. В какой-то момент с ней случился внутренний перелом, о котором сама писательница в очерке «Рождество в Сорренто» поведала так: «Читатель, может быть, заметил, а скорей всего, не заметил (как и я сама), что, работая над темой «Ленин», я мыслила и жила в прошлом, в той отодвинутой времени, когда мы, люди пера, или, как нас окрестили, люди буквы (литеры), воспринимаем его исторически. А воспринимать время исторически — это значит чувствовать себя отсутствующими (или, точнее, не присутствующими лично) в этой эпохе, какую стараемся описать». Именно так, в строгих канонах жанра исторического романа, и писала «Семью Ульяновых» и «Первую Всероссийскую» М. Шагинян. Но существует еще один жанр, кроме романа, который естественно было бы назвать «историческим», поскольку он говорит о прошлом, продолжает свою мысль М. Шагинян, — это мемуары. «А между тем нет в мире, и абсолютно быть не может, таких «воспоминаний», которые «писались бы исторически». Дело в том, что в них стержнем (или осью) сидит живое человеческое «я», вокруг которого и вертится материал, сразу становящийся не фактами истории, а фактами жизни».

Так пишет книгу «Четыре урока у Ленина» М. Шагинян, хотя это отнюдь не мемуары, а нечто трудно определяемое по жанру. Дело в том, что Ленина, этого «небольшого, простого на вид... — величайшего человека эпохи», которого она на всю жизнь заключила «в сердце и разум», писательница «никогда, ни разу в жизни не видела». Она идет к постижению Ленина частично «по его следам», следам его поездок, местопребывания в Италии или в Лондоне, но, главное, через написанное им и о нем или же через взаимоотношения Ленина с другими людьми, например, с Горьким (очерк «Рождество в Сорренто»). Работы М. Шагинян о Ленине — удивительный сплав очерка, отмеченного присущей писательнице изощренной зоркостью глаза и ее раздумий о Ленине, о жизни, о себе, это не столько пластическое воспроизведение облика Ленина, сколько лирическое, философское, публицистическое осмысление его, осмысление на взрывных, подчас совершенно неожиданных ассоциативных связях, где «стержнем (или осью) сидит живое человеческое «я» писательницы, где «ключ — любовь», как пишет М. Шагинян. Любовь к Ленину и соразмерная ей ответственность.

Мне кажется принципиально важным для всей нашей Ленинианы размышление писательницы о том,

как надо, а точнее, как не надо писать о Ленине. Толчком к этому размышлению послужило высказывание А. М. Горького, где он сравнивает Ленина с Колумбом. Сравнение, показавшееся сначала писательнице еретическим: «Кто такой Христофор Колумб, чтоб сметь его сравнивать с Лениным!..» Писательница проникает как бы в подспудную работу собственной мысли и души, ведет трудный спор с собой. Аргументы в этом споре ей поставляют жизнь, встречи, воспоминания молодости, озонизирующие душу, помогающие понять: «Дело-то не в Колумбе, не в сравнении, не в Горьком и даже, вот сейчас, не в Ленине, дело идет о моем собственном существовании, тоже человека на земле, какого ни на есть, но человека же. Что же произошло со мною за истекшие несколько десятков лет, если я стала вдруг воспринимать самого дорогого, самого любимого из людей, Ленина, как что-то не человеческое, и ад человеческое, с чем нельзя сравнивать никого другого, будь это архи-Колумбы? Что произошло со мною, человеком восьми десятков лет, потерявшим ощущение живого бытия настолько, что воспринимаю просто живое, как ересь, возрождаю понятие «еретический»? Начинаю возводить условности, участвовать в создании мифа, делать из фактов жизни — мифологемы? Это корка — сказала я сама себе очень громко, потому что мне захотелось выговорить свою мысль вслух».

С годами человеческое сознание обрастает коркой, размышляет писательница. Эти корки старости выглядят как штампы, как трафареты, как «модели» — модное слово современности, — модели, в которых, в сущности, закупорено остановленное на ходу развитие человеческого сознания. Человек обязан уметь «соскабливать с себя корку», так, как это делает змея, меняя кожу. «Нельзя нам стареть и обрастать ею — слишком много еще дела на земле, слишком важно с живым трепетом осваивать прошлое, потому что прошлое — еще в росте, его нельзя останавливать на ходу, нельзя создавать из него штампы и «модели». А тем более — в работе над темой о Ленине...»

«— Я себя под Лениным чищу», — сказал поэт. Каждый подлинный писатель, приступая с трепетом к теме о Ленине, стремится снять с глаз, говоря словами М. Шагинян, «катаракту на кристаллике», чтобы с максимумом зоркости и приближения к истине увидеть своего «живого Ленина».

У М. Шагинян также свой Ленин. Она пристально вглядывается в целостный облик Ильича, человека и вождя, ее притягивает в первую очередь личность Ленина, духовный масштаб ее и нравственная суть.

Когда речь идет о нравственных основах личности Ленина, подчеркивается в первую очередь его чуткость, человечность, доброта — неоспоримые черты, естественно и органично присущие ленинской натуре.

М. Шагинян также пишет об этом, подчеркивая, что именно «теплый след Ильича, его личности, его дела», который «не мог не остаться жить в народе», и помогал ей в поисках. Но писательница видит, ощущает теплоту личности Ильича, его человечность и доброту в специфически ленинских качествах. Это активная человечность и доброта, а еще точнее, социально активная человечность и доброта. «Тут больше, чем обыкновенная старая доброта, — писала она в очерке «Воспитание коммуниста». — И ответная любовь людей к Ленину неизмеримо больше простой ответной любви за простую обыкновенную доброту».

В своем выступлении на XXII съезде КПСС А. Твардовский привел одно место из воспоминаний Крупской о Ленине: «Как бы отвечая на вопрос о том,

что побудило Владимира Ильича вступить на путь революционной борьбы, она просто говорит: он очень любил рабочих людей. Действительно, только обладая чувством большой человеческой любви к людям труда, можно было постигнуть всю меру их страданий и унижений под гнетом эксплуататоров и не ограничиться сочувствием, как это делали многие почтенные либеральные интеллигентные люди, а обратиться к чувству, избрав тернистый путь профессионального революционера. Любовь к людям! Не та христианская, евангелическая любовь, которая призывает людей к смирению и послушанию, а та коммунистическая любовь, которая пробуждает в людях чувство человеческого достоинства, поправного угнетателями, веру в свои силы и готовность на борьбу во имя справедливости».

Так осмысляет духовные, нравственные залоги личности Ленина М. Шагинян. Она верна здесь пафосу своих романов об отце Ленина, о демократической русской интеллигенции второй половины XIX века, для которой служение людям было «потребностью народной совести и главным делом передового русского человека». Ленин обогатил гражданскую нравственность — великое завоевание шестидесятников и семидесятников — принципиально новым качеством: результативностью, действительностью, уверенностью в победе, научными методами и путями борьбы. «...Я не могу представить его себе без этой прекрасной мечты о будущем счастье всех людей о светлой, радостной жизни...» — писал о руководившем нравственным чувстве Ленина М. Горький. — Ленин больше человек, чем кто-либо иной из моих современников, и хотя мысль его, конечно, занятая по преимуществу теми соображениями политики, которые романтик должен назвать «узко-практическими», но я уверен, что в редкие минуты отдыха эта боевая мысль уносится в прекрасное будущее гораздо дальше и видит больше, чем я могу представить себе. Основная цель всей жизни Ленина — общечеловеческое благо, и он неизбежно должен прозревать в отдалении веков конец того великого процесса, началу коего аскетически и мужественно служил вся его воля».

Эти горьковские строки из статьи «Владимир Ильич Ленин», опубликованной в «Коммунистическом Интернационале» в 1920 году, занимают в очерке М. Шагинян особое, ключевое место. Дело в том, что опубликованная при жизни Ленина, человека предельной скромности, статья эта вызвала гнев Ильича и даже решение ЦК, «указывающего на неуместность подобных статей и запрещающего впредь помещать их в журнале». А незадолго до смерти Ильич, писала Крупская Горькому, «попросил перечитать ему эту статью. Когда я читала ему ее — он слушал с глубоким вниманием...» Шесть лет спустя Крупская в письме Горькому вновь вспоминала о том, как вслух читала Ленину эту горьковскую статью: «Стоит у меня перед глазами лицо Ильича, как он слушал и смотрел в окно куда-то вдаль — итоги жизни подводил и о Вас думал».

Почему Ленин в тягостные дни болезни, когда он уже ни говорить, ни читать не мог, захотел прослушать давным-давно знакомую, порядком обозлившую его статью старого друга? — размышляет М. Шагинян. Ведь не для того же, чтоб обласкать себя волной хвалебных слов на прощание? И не для того, чтоб проверить, правильно ли он тогда возмущался статьей?!

Заглянуть в тот миг в его душу нельзя, говорит писательница, но ей кажется, она уверена, что эта предсмертная «встреча памятью» Ленина с Горьким, это одно из последних желаний Ленина было связано с потребностью перед уходом в небытие оглянуться на себя самого, задуматься о своем про-

шлом и о себе, как о человеке, мыслившем, болевшем, страдавшем, любившем.

Силой интуиции, художнического прозрения писательница стремится понять, почувствовать этот ленинский «взгляд, уходящий вдаль, в окно, — словно не в будущее, а — в прошедшее... Словно набег волны Времени поверх всего — поднял и понес память не от себя к миру, а от мира к себе, может быть, в первый раз с вопросом — какой я, какова прожитая жизнь, каким представляет меня воображение художника, друга».

Бережно и вдумчиво исследует она это движение души Ленина и по справедливости горько сетует, «как до сих пор относимся мы к человеческому в биографии Ленина, покрыв непроницаемой шторкой то самое «окно в даль», куда перед смертью смотрел уходящий взгляд человека — Ленина».

Ленин вслушивается в строки Горького: «Основная цель всей жизни Ленина — общечеловеческое благо, и он неизбежно должен прозревать в отдалении веков конец того великого процесса, началу коего аскетически и мужественно служил вся его воля...» — и писательнице мерещится, как уголки губ Ильича тронула чуть заметная улыбка. Ей даже кажется — «я вхожу теперь в область догадок, — оговаривается она. — что Ленин мысленно прозрел в этот момент свое выразительное «Гм-гм... аскетически и мужественно». Неверно формально: аскеза несовместима с мужеством, бегство от жизни — трусость, а не мужество. И фактически не верно, никогда он не был аскетом. Он был борец».

Полностью принимая горьковскую концепцию нравственной основы ленинского характера: «Основная цель всей жизни Ленина — общечеловеческое благо», — М. Шагинян яростно спорит с мыслью Горького об аскетизме Ленина. Ленин ненавидел аскетизм, он страстно любил жизнь, утверждает писательница. Он прошел через благодарную личную любовь. Он даже о Марксе и Энгельсе страстно писал: «Я все еще «влюблен» в Маркса и Энгельса, и никакой хулы на них выносить не могу спокойно». «Огромная жизнь прожита, но не аскетическая». «Жизнь на... великом отказе от увлекательного, захватывающего, отвлекающего, личного, во имя народного счастья, — великого творческого счастья главной любви, главной темы жизни».

Таков единственно возможный ответ о нравственном смысле жизни Ленина. Такова основа, суть, «ядро ореха» нравственности Ленина. Вы ощущаете родственность такого понимания смысла жизни той подвижнической демократической среде, к которой принадлежал его отец, Илья Николаевич Ульянов, из которой вышел Ленин? Это, если смотреть в прошлое, думать об истоках, о формировании нравственного облика Ленина. А теперь посмотрим в будущее, задумаемся в ленинское понимание коммунистической нравственности, коммунистической морали.

С первых шагов революции Ленин огромное внимание уделял моральным, нравственным ценностям социализма, яростно спорил с теми, кто обвинял коммунистов, будто они отрицают мораль. «Это — способ подменять понятия, бросать песок в глаза рабочим и крестьянам», — утверждал Ленин, подчеркивая, что коммунисты отрицают лишь ту мораль, которую проповедовала буржуазия, выводившая нравственность из велений бога или же из идеалистических и полуидеалистических фраз. «Всякую такую нравственность, взятую из внечеловеческого, внеклассового понятия, мы отрицаем...» — писал Ленин. — Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата».

Отрицая «нравственность, взятую вне человеческого общества», Ленин говорил на III Всероссийском съезде комсомола: «Нравственность это то, что слу-

жит разрушению старого эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся вокруг пролетариата, создающего новое общество коммунистов». И далее: «В основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма».

На первый, поверхностный взгляд может показаться, что в таком определении нравственности есть что-то утилитарно-практическое. В действительности в этих чеканных формулировках вмещен и осмыслен весь нравственный, духовный опыт русской революции, для которой нравственность началась не с прописей и заповедей, но с подвижнического служения личности общечеловеческому благу, благу трудящегося народа. Только это и делало человека высокодуховной, одухотворенной, истинно нравственной личностью.

Ленинское понимание нравственности было выношено, выстрадано прежде всего его собственным огромным опытом, опытом борьбы его партии. Но не только. Оно было выстрадано опытом всей русской революции начиная с Радищева, декабристов и Герцена, оно органично и естественно росло из жизни прошлой и настоящей.

Постигая духовный облик Ленина — и М. Шагинян это осознает вполне, — невозможно изолировать его от истории, от предшествующей работы человеческого духа, высшей точкой развития которого явился марксизм.

Масштаб ленинского духа определялся незаурядными качествами его гражданской совести и интеллекта, тем, что он был великий революционер, посвятивший всего себя человеческому благу, и одновременно — великий мыслитель.

«Ленин был великим диалектиком, ненавидевшим все стоячее, и особенно остановившееся, обезжизненное слово, — пишет М. Шагинян. — Надо понять и помнить его гениальное рассуждение в письме к Инессе Арманд:

«Люди большей частью (99% из буржуазии, 98% из ликвидаторов, около 60—70% из большевиков) не умеют думать, а только заучивают слова. Заучили слово: «подполье». Твердо. Повторить могут. Наизусть знают.

А как надо изменить его формы в новой обстановке, как для этого заново учиться и думать надо, этого мы не понимаем».

В своем очерке «В Библиотеке Британского музея» М. Шагинян вводит читателя в лабораторию ленинского духа, стремится постичь отношение Ленина к разуму, к знанию, к интеллектуальным ценностям.

«Кто хочет хорошо понять человека Ленина, вжиться в его характер, тому не миновать глубокого раздумья о роли библиотеки в сложной ленинской жизни», — замечает писательница. И далее следует подлинный апофеоз книги, библиотеке, выходящий далеко за пределы темы и вместе с тем имеющий к ней отношение прямое и непосредственное:

«Библиотека — это не только книга. Это прежде всего колоссальный концентрат спрессованного времени, как бы сопряжение тысячелетий человеческой мысли, перенесенной на пергамент, папирус, бумагу, — для жизни в настоящем, а не в текучести. Вы входите в храм Сбереженного Времени, чтоб приобщиться к этому великому постоянству в текучести — как бы становитесь его частичкой. Вы становитесь его естественной, органической частичкой, потому что здесь нельзя читать без отдачи своей собственной творческой энергии для понимания и усвоения прочитанного».

В том, как читал Ленин книги, М. Шагинян видит проявление чего-то более общего: глубоко уважительного отношения Ильича к «тысячелетиям чело-

веческой мысли», к культуре, знанию, к духовным — художественным и интеллектуальным — ценностям.

Эта мысль отчетливо звучит в очерке, а точнее, документальной, лирической повести «Рождество в Сорренто», на мой взгляд, лучше, чем то М. Шагинян написала пока о Ленине. В своей повести, являющейся сплавом публицистических раздумий, научного исследования и лирического дневника, писательница стремится постичь сложность драматических и высоких взаимоотношений Максима Горького и Владимира Ильича. Она рассказывает о предсмертной «встрече памятью» этих двух великих людей — «встрече и в самом деле... удивительной». Потому что не только Ленин перед смертью обратился мыслью к Горькому — помните строки Крупской: «...слушал и смотрел в окно куда-то вдаль — итоги жизни подводил и о Вас думал...», но и Горький, по свидетельству лечившего его врача Сперанского, перед самой смертью «несколько раз вспоминал Ленина». Писательница ничего не утаивает в трудной дружбе Ленина и Горького: ни ошибок писателя, не раз оказывавшегося в стане противников Ленина, а в эту минуту усталости и раздражения даже заявившего М. Шагинян: «Я не марксист»; ни суровой, бескомпромиссной критики Лениным непоследовательности Горького. «Но ругаясь бешено, во всю мочь своей кипучей природы, Ленин никогда не поднимал руку на Горького, на свою любовь к Горькому», — пишет М. Шагинян.

За что Ленин любил Горького? — задается вопросом писательница. И отвечает: за то любил он Горького, и в этом глубочайшая разгадка их взаимоотношений, их дружбы, что он был ему жизненно нужен. «Ошибутся те, кто думает, что в своей с ним переписке один только Ленин учил Горького и был односторонне нужен Горькому. Читавшись в каждое слово этой переписки, начинаешь чувствовать, каким необходимым был мягущийся, отступающий, упрямый, впечатлительный, яркий Горький для Ильича, обтачивавшего свои мысли об эту дружбу, об ответы, казалось бы, такого несхожего, разного, чуждого человека, — политику нужен художник, как воздух, как хлеб, как правой ногой нужна левая...»

Очень глубокое наблюдение! За ним — принципиальное отношение Ленина к литературе, к искусству, художественным ценностям, которые должны, по его убеждению, принадлежать народу, «уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс», объединять чувство, мысль и волю этих масс, поднимать их, «пробуждать в них художников и развивать их». За ним — глубокое понимание природы художественного творчества, как специфической формы общественного сознания, отношение не тождественной политике и идеологии, но и неотрывной от них.

Такой взгляд на литературу и искусство, на их великую роль в очеловечивании, в созидании нового общества органичен для Ленина с его глубоким и всеобъемлющим уважением к тысячелетней работе человеческого духа, таланта, знания, ума.

Еще не отгремели залпы гражданской войны, разруха, голод и нищета терзали страну, когда с трибуны III съезда комсомола прозвучал этот пламенный призыв к молодежи: «Учитесь!» Ленинская речь «Задачи союзов молодежи» была гимном человеческому разуму, науке, знанию, должествующим наконец статусу на службу трудящемуся народу.

Его речь была не только непреходящим напутствием молодежи, но и ответом тем псевдореволюционерам мелкобуржуазного толка, которые мыслили революционную, пролетарскую культуру «выско-

чившей неизвестно откуда», сектантски противопоставляли ее духовным завоеваниям прошлого. Отстаивая все ценное «в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры», Ленин утверждал, что социалистическому обществу нужна «не выдумка новой пролеткультуры, а развитие лучших образцов, традиций, результатов существующей культуры с точки зрения мирозерцания марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры».

Эта непримиримость к тому, что Ленин называл «махаевщиной», к мещанскому нигилизму в отношении культуры, интеллигенции, науки, знания, в отношении духовных, нравственных и интеллектуальных ценностей была не просто продуманной и последовательной политикой, но производным от личности Ильича. Гигантский духовный масштаб его личности питался огромным объемом знаний, уровнем его интеллекта, отграненного энциклопедической образованностью. В этом он также был сыном своего времени, наследником высоких традиций передовой русской интеллигенции, демократической русской интеллигенции, демократической русской культуры, великого нашего просветительства.

Логика мысли художника и исследователя неумолимо ведет М. Шагинян от читального зала Библиотеки Британского музея, где долгие месяцы прилежно трудился Ленин, к решающим политическим боям за революционную марксистскую партию в России и прежде всего к его бою с «экономистами». Анализ борьбы Ленина с «экономистами» для М. Шагинян не самоцель.

«Особое, не всегда и не всем заметное качество произведений Ленина,— пронзительно замечает она,— это, как я считаю, диалектическое сочетание знака времени и места, то есть фактора сугубо исторического, который нельзя отнести или применить ни к какому другому времени и месту без иснажения его смысла,— и фактора абсолютно истинного, предельно правильного; который будет истинным и правильным в применении к любому времени и месту».

Писательница обращается к борьбе Ленина с «экономизмом», к его работе «Что делать?», и ее интересу в данном случае не столько решение Лениным практических революционных задач, сколько «самый ход... и особенности его борьбы за теорию», то есть то, что «будет истинным и правильным в применении к любому времени и месту».

М. Шагинян справедливо видит в этом необходимость остросовременную. Вспоминая «священное»

для нее время своей юности, двадцатые годы, годы глубокого увлечения молодежи и людей ее возраста теорией, она пишет:

«Красота и увлекательность теории была огнем, поджигавшим наши сердца в вузах, на рабфаках, в специальных школах, какой была, например, Плановая академия, куда я поступила, чтоб переучиваться. Изумительная музыкальная прелесть второго тома «Капитала» Маркса поглощала меня вечерами, как никакое другое наслаждение от искусства. Диалектический материализм в «обращении капитала» воспринимался как художественный, как фуги Баха... Больно и жалко видеть, как далеки многие из современных молодых людей от этого пьянящего увлечения человеческой мыслью!»

Писательница винит в этом не только их, она считает, что виноваты в этом отчасти мы сами. Научить человечество мыслить по-новому, раскрыть перед ним все безмерное богатство идей Ленина — дело великого умения и великого горения.

Писательница кропотливо исследует, сколь последовательно боролся за живую, ищущую человеческую мысль, как воспитывал уважение к книге, к чтению, к теоретическому знанию Ленин.

В полемике с апологетами стихийности, напоминает М. Шагинян, он не устал повторять, что и теоретическое рождение социализма возникло отнюдь не из стихийности революционного движения,— социализм привнесен этому движению извне, мыслящей интеллигенцией и даже — Ленин не убоится сказать — «буржуазной» интеллигенцией, поскольку никакой другой тогда еще не существовало.

«Учение же социализма,— писал он,— выросло из тех философских, исторических, экономических теорий, которые разрабатывались образованными представителями имущих классов, интеллигенцией. Основатели современного научного социализма Маркс и Энгельс принадлежали и сами по своему социальному положению к буржуазной интеллигенции. Точно так же и в России теоретическое учение социал-демократии возникло совершенно независимо от стихийного роста рабочего движения, возникло как естественный и неизбежный результат развития мысли у революционно-социалистической интеллигенции».

Глубокое понимание этой закономерности и позволило М. Шагинян в ее романах-хрониках, в ее очерковой прозе последних лет правдиво и доказательно сказать о нравственной почве отечественной истории, на которой возрос гений Ленина, а главное, наметить реальные контуры духовных масштабов величайшей личности Ильича.





Н НАШЕЙ
ВКЛАДКЕ

Г. Бояджиев

ЛЕОНАРДО

(К 450-летию со дня смерти)

Представим, что люди уже достигли иной планеты, встретили там других разумных существ и захотели им объяснить, что такое обитатель Земли, сколь беспредельна его творческая воля и как безграничен его разум.

Кого же в таком случае назвать, чтоб в одном был сосредоточен весь гений человечества?

Задача как будто невыполнимая. Но на Земле жил человек по имени Леонардо да Винчи, словно нарочно рожденный для того, чтоб взять на себя эту сверхтрудную роль и в «одном лице» продемонстрировать все (или почти все) доблести человеческого ума и таланта.

Прославленный в свой век как величайший гений Возрождения, он и по прошествии четырех с половиной столетий со дня смерти остается поразительнейшим примером человека универсальной одаренности, тем высшим образцом *homo universalis*¹, который страстно прославляли философы, художники и поэты эпохи Ренессанса.

Так вот, если не в мечте, а в реальном мире кто и мог претендовать на звание «богоподобного человека», то в первую очередь Леонардо да Винчи.

Он был в одно и то же время гениальным живописцем, великолепным скульптором, пытливым естествоиспытателем, выдающимся инженером, механиком и мелиоратором, крупнейшим математиком, физиком и анатомом, человеком, дерзостно мечтавшим взлететь на крыльях в небесную даль.

Всеобъемлющий гений Леонардо сказывался и тогда, когда он стоял с кистью перед «Тайной вечерей» или лепил грозную фигуру Франческо Сфорца, восседавшего на великолепном коне, и тогда, когда он выводил математические законы, чертил планы орошения ломбардских полей и выяснял сложную механику кровеносной системы. Чудесная всесторонность Леонардо объяснялась не только его природным гением, но и тем, что он всю жизнь упорно и самозабвенно работал, полностью отдавая себя своей любимой деятельности, процветание которой определялось тем могучим временем, в какое жил гениальный мастер.

Ф. Энгельс началом этой эпохи называет вторую половину XV века, время, когда рамки старого «*orbis terrarum*»² были разбиты. В это время на Апеннинском полуострове зарождалось современное естествознание, закладывались основы почти всех наук и достигло неслыханного расцвета искусство, которое явилось точно отблеском классической древности и которое в дальнейшем уже никогда не поднималось до такой высоты.

Это титаническое время рождало титанов. Самым могучим из них был Леонардо, побочный сын почтенного нотариуса Пьеро да Винчи, прижитый им от здоровой и красивой крестьянской девушки по имени Катерина. Рос Леонардо одиноко. Он страстно любил природу, часами отдаваясь созерцанию ее красот, целыми днями возился с книгами, рисовал или лепил из глины причудливые фигурки. Отец видел все это и не бранил сына. Он сам кое-что смыслил в искусстве и дружил с Андреа Вероккио, имевшим в Флоренции «боттегу» — художественную мастерскую. Именно своему другу и отнес Пьеро рисунки сына, «Андреа пришел в такое изумление, увидев, насколько замечательны первые опыты Леонардо, что посо-

ветовал Пьеро дать ему возможность посвятить себя этому искусству. Тогда Пьеро принял решение отдать Леонардо в мастерскую Андреа» (Вазари).

Так начались ученические годы Леонардо — мальчику было четырнадцать лет.

Леонардо стал обучаться ювелирному искусству и попутно с этим постигал тайны лепки и чеканки, узнавал секреты живописной техники, делал первые шаги в таинственную область математики. В эти же годы Леонардо упорно работал и совершенствовался в живописи.

Юноша попал в окружение первоклассных мастеров кисти — это были Сандро Боттичелли, Доменико Гирландайо, Пьетро Перуджино и другие. Леонардо, младший среди них, недолго оставался в учениках. Прошло немного лет — и из-под его кисти родились такие полотна, как «Мадонна с графином», «Св. Иероним», «Поклонение волхвов». Юного художника начали замечать, его картины поражали благородным реализмом, насыщенностью тонов, ясностью и ритмичностью композиции, проникновением художника во внутренний мир изображаемого.

...Эта трепетная правда чувств как бы изнутри лучится с картины «Мадонна Литта», созданной в эти же годы и являющей собой поразительный пример слияния человеческой простоты, чарующей наивности с символической большой и волнующей идеей, когда образы юной богоматери и младенца Иисуса воспринимаются как просветленное изображение величия и благородства материнского счастья.

Интересы молодого живописца выходили далеко за пределы искусства: время требовало решения многих технических вопросов, и пылкий ум Леонардо сразу же устремился в область науки и техники.

Хозяйственная жизнь Флоренции была на подъеме, и, чтоб достичь еще большего расцвета, стоило задуматься над тем, как улучшить дороги и сделать дешевле транспорт, как усовершенствовать ткацкие и прядильные станки, какое новшество ввести в сельское хозяйство.

На все эти вопросы могла ответить только наука, и Леонардо все глубже погружался в ее обширные области. Наука нужна была и для совершенствования живописи — учение о перспективе, учение о свете были равнозначно важны и для развития математики, оптики, физики и для новых поисков в сфере изобразительного искусства.

Но жилось Леонардо во Флоренции плохо: политический климат быстро менялся, в городе свирепствовала реакция; промышленность и торговля стали терять свое бывшее значение. Изобретения да Винчи оставались в тетрадках, знания не к чему было применить. А разминиваться на мелкие живописные работы Леонардо не хотел, предпочитая жить бедно и одиноко, отдаваясь целиком любимым занятиям. Поэтому, когда в 1481 году пришло приглашение от миланского правителя Лодовико Сфорца приехать в столицу Ломбардии и приняться за лепку памятника Франческо Сфорца, Леонардо бросил родной город и с радостью поехал в Милан.

Именно там расцвел его гений, о всеобщем характере которого можно судить хотя бы по письму, посланному Леонардо правителю Милана. Леонардо да Винчи писал о том, что он умеет воздвигать подъемные мосты, руководить осадой неприятельских крепостей, отливать пушки, устраивать поднопы, строить «непроницаемые» колесницы, которые, врезываясь в ряды неприятеля со своей артиллерией, смогут про-

¹ Универсальный человек (лат.).

² Земной шар (лат.).

вать их строй, соорудить суда, которые будут выдерживать действия самых больших пушек, пороха и дыма, воздвигать здания, устраивать водопроводы, орошать землю.

А заканчивал Леонардо это изумительное письмо так:

«Я могу выполнять скульптурные работы из мрамора, бронзы и гипса, а также как живописец могу не хуже всякого другого выполнить какой угодно заказ». И тут же Леонардо предлагал использовать его знания и опыт на деле.

Но обстоятельства не давали Леонардо возможности проявить свою практическую деятельность полностью. К Милану подступал французский король Карл VIII, буржуазия боялась расширить свое хозяйство, герцог был занят больше всего хитросплетением интриг.

И Леонардо ушел в живопись — к 1496 году он начал писать фреску «Тайная вечеря» в монастыре Санта Мария делле Грацие.

...Фреска написана на стене большой трапезной, ее серые обнаженные стены как бы продолжены в перспективе картины. И от этого объем изображенного становится еще осязаемее. Кажется, что действие происходит не на плоскости стены, а в помещении, в котором ты сам находишься.

Впечатление громадности вещи рождает не только эффект ее объемной перспективы. Главное заключено в монументальной обрисовке ее героев. У каждого из них прекрасное тело: гордо посаженная голова, видная через полукрытый ворот мощная шея, широко развернутые плечи, мускулистые, большие руки. Все двенадцать апостолов изображены, включая и Иуду, словно это «титаны Возрождения», все — старики, юноши, люди средних лет — они различны по характеру, но у всех свободные, стремительные жесты, и в каждом движении сквозит огромный темперамент.

И поэтому само пророчество Христа — «Один из вас меня предаст» — воспринимается не только в прямом смысле сказанного, но намного шире. Через христианский идеал видится другой, гуманистический, работоржцами которого и воспринимаются апостолы. Эти могучие натуры полны веры и силы, и сила их до сих пор была направлена на разумную и добрую цель. Но сейчас они в смятении, они столь поражены и испуганы услышанным, что ясно понимаешь: это в первый раз пришла весть о предательстве, разрушившем святую веру в гармонию.

Происходит первый акт страшной трагедии нового времени, гармоничный идеал рухнул. Среди галадинов новой веры обнаружен Иуда, предатель. Значит, жизнь не так безоблачна, как она представлялась до сих пор.

Всеобщая смятенность особенно явственно выдвинулась рядом со спокойной центральной фигурой Христа. Потрясенный, Христос одновременно сдержан и в чем-то радостен. Он провидел не только измену, но один сохранил веру в идеал. Его душевное спокойствие — от сознания, что предаст только один из его учеников, все же остальные останутся неотступно верными истине. Происходит как бы одновременное разрушение и трагическое обретение гармонии. Новой гармонии, основанной не на наивном доверии, а на твердом знании конечной победы добра.

Так идеология Ренессанса во фреске Леонардо да Винчи особенно наглядно вступила в свой трагический период: фреска написана на пороге тягостного XVI века. Но доверие к человеку еще сильно, и этим чувством глубокого доверия к своим ученикам дышит фигура Христа. Их души сейчас в смятении, но это сильные и прямые души, их вера в идеал непоколебима, и если во имя идеала нужны жертвы и борьба, они готовы к ним.

Фреска Леонардо была плодом его упорной и тяжелой мучительной работы, длившейся два года — с 1496 по 1498 год.

Но спокойно работать и жить Леонардо не мог: снова по землям Ломбардии шагали французские полки, и художник должен был бросить гостеприимный Милан. Начались годы странствований: Леонардо жил в Мантуе, в Венеции, в родной Флоренции.

Во Флоренции у Леонардо во всем прочим занятиям добавилось новое: он постоянно ходил за город, к горе Лебедь и обдумывал устройство летательной машины. «С горы, носящей название большой птицы, — писал

Леонардо, — начнет свой полет знаменитая птица, которая наполнит мир своей великой славой». Через туман столетий Леонардо умел видеть будущее.

Во флорентийские же годы Леонардо написал свою самую обаятельную картину — «Монну Лизу» («Джоконду»), определившую собой новый, высший этап в портретной живописи в европейском искусстве. В «Джоконде» Леонардо сумел передать с предельной ясностью сложный характер созданного образа: ясный, насмешливый ум женщины, сознающей свою силу, с манящей и отпугивающей, чуть лукавой, чуть злой, но непреодолимо очаровательной улыбкой, улыбка, делающей «Джоконду» символом того мудрого и жизнеутраченного мирозерцания, о котором с таким поэтическим вдохновением говорил Энгельс.

Затаив в себе этот всеобщий, идеальный смысл, «Джоконда» Леонардо по сей день обладает необъяснимой, почти колдовской силой психологического притяжения. Может быть, во всей мировой живописи нет другого примера, когда образ, сотворенный кистью, так властно входил бы во внутренний мир зрителя. И речь идет не об элементарной иллюзии «живых глаз» или «живой улыбки» Монны Лизы, эмоциональное восприятие образа Джоконды намного сложнее и глубже: зритель неожиданно ловит себя на том, что он вступил в «диалог» с портретом и мучительно хочет разгадать что-то очень важное, внушаемое ему этой поразительной женщиной, одновременно идеальной и трепетно живой.

Вскоре Леонардо переехал в Рим, надеясь работать по-настоящему при дворе папы-мечената Льва X. Но и тут его постигла беда: занимаясь анатомией, он навлек на себя гнев святых невежд, обвинивших его в ереси и запретивших совершать опыты над трупами. Родина Леонардо погрузилась в тьму. Наука уже была здесь не нужна, Монахи преследовали ученых, промышленность с каждым днем падала, города беднели, Италия двигалась вспять. Утврждалась феодальная реакция.

Когда Леонардо получил приглашение переехать во Францию — ко двору короля Франциска I, он, несмотря на преклонный возраст, покинул родину. Во Франции Леонардо вплоть до самой смерти занимался подведением итогов своей изумительной деятельности. Писались трактаты о живописи, о природе воды, о различных машинах и о многом другом. Мысли Леонардо были бессмертной правдой именно потому, что они, рождались из наблюдений и являлись результатом опыта, обобщались его гением в непреложные законы природы, открывавшей взору Леонардо свои великие тайны. Леонардо знал, что «движение есть причина всякого проявления жизни», он объяснял распространение звука, света и тепла волнообразными, колебательными движениями. Это он открыл первый закон скорости и инерции — основные законы механики. Это он записал себе в тетрадь слова величайшего откровения: «Солнце не движется. Земля не находится ни в центре круга солнца, ни в центре Вселенной».

Но, сделав так изумительно много, Леонардо не смог претворить в жизнь и десятой доли задуманного. Самый деятельный человек эпохи был трагически обречен на бездеятельность. Чертежи новых машин и выкладки новых законов оставались на листах рукописи: ими никто не интересовался.

Национальная буржуазия переживала тяжелые времена. Леонардо был одинок. Выражая своей деятельностью победу гуманизма, он с величайшим опасением смотрел на грядущее, предвидя беды эпохи, в которой буржуазия станет повелевателем, а золотой телец — божеством.

Леонардо проклинал мир вероломства и корыстолюбия. Сам он не дышал его смрадными испарениями. Жизнь была отдана другому: проникновению в тайны природы и подчинению ее законов человеческой воле; созданию великого искусства, способного правдиво передавать переживания и думы людей, утверждению оптимистического мировоззрения, взрывающего глыбы средневековой лжи и бросавшего свет в то отдаленное будущее, в котором неминуемо свершится полное торжество труда и знаний над паразитизмом и невежеством.

В год его юбилей жители Земли вновь вспоминают о Леонардо да Винчи и благоговейно поклоняют голову перед человеком, имя которого звучит в веках воистину гордо.

А н н а А х м а т о в а

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

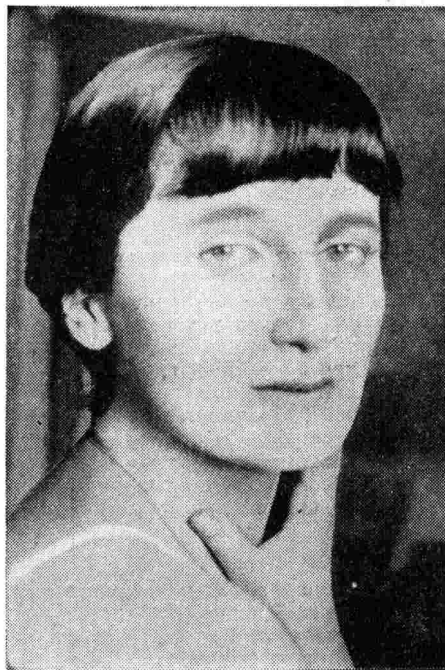
А двадцать четвертого июня 1969 года исполняется восемьдесят лет со дня рождения большого русского советского поэта Анны Ахматовой. Творческий путь Ахматовой от ее вступления в литературу (1909) до наших дней охватывает период времени, превышающий число лет, прошедших от смерти Пушкина до начала русского символизма. Это целая эпоха, обозначенная в жизни нашей страны и всего человечества величайшими историческими потрясениями и переменами — двумя мировыми войнами и Великой Октябрьской социалистической революцией, положившей начало новой эре мировой истории.

И все же за эти знаменательные годы поэзия Ахматовой не устарела. Она волнует современного читателя, современную советскую молодежь, как она волновала в десятки годы молодежь моего поколения, знавшую наизусть «Четки» и «Белую стаю». Об этом наглядно свидетельствуют многочисленные письма этих новых читателей, хранящиеся в архиве Ахматовой, — из Москвы и Ленинграда, с Волги и Украины, из Архангельска и далекой Сибири — со всех концов нашей Родины. О том же говорит мировое признание, которое заслужила русская поэтесса за последние годы у зарубежных читателей и критиков: собрания ее стихотворений на французском, итальянском, английском и немецком языках, в Польше, Чехословакии, Болгарии, Югославии и др.; признание ей в Италии международной премии Эгна-Таормина и торжественное увенчание почетной степенью доктора в Оксфордском университете — одним из старейших в Западной Европе.

Это мировое признание в известном смысле особо знаменательно. В зарубежной литературе и в зарубежной критике на Западе в наше время как будто безраздельно господствует так называемый «модернизм», и все, что не обозначено печатью модернизма (то есть крайним субъективизмом содержания и творческих методов), обычно отбрасывается как «устарелое», «банальное» — как «девятнадцатый век».

Между тем стихи Ахматовой отнюдь не «модернизм». Простые, чистые, прозрачные, правдивые и понятные, объективные по своему художественному методу, несмотря на присущее им неповторимо личное начало, эти стихи продолжают в наши дни традиции русского реалистического искусства, классической поэзии Пушкина (в особенности зрелого Пушкина 30-х годов), осложненные всем богатством душевных и художественных открытий, которые отделяют наше время от времени Пушкина. Не случайно Пушкин всегда был любимым поэтом Ахматовой; образ его занимает видное место в ее поэзии; творчество его она изучала и комментировала с живым чувством поэта и компетентностью профессионального ученого.

Основное место в лирике Ахматовой, как во всей мировой лирике — от народной песни до сонетов Петrarки и от Гёте до Пушкина, занимает любовная тема. Любовь в стихотворениях Ахматовой — это чувство живое и подлинное, глубокое и человеческое, хотя в силу реальных жизненных условий почти все-



гда тронутое печатью страдания, подчас трагическое. Существенно подчеркнуть (вопреки довольно распространенному вульгарному мнению), что чувство это не легкое и разбросанное, а сосредоточенное, не мимолетное и безответственное, а глубокое и внутренне необходимое.

Ты, росой окропляющий травы,
Вестью душу мою оживи,—
Не для страсти, не для забавы,
Для великой земной любви.

С этим связано и высокое благородство, большая нравственная чистота ее любовных стихов.

Нельзя, однако, отделить интимную лирику Ахматовой от ее гражданской поэзии. Ее памятные патристические стихи, созданные в годы войны («Ленинградский цикл» и др.), являются только вершиной этой чрезвычайно знаменательной линии ее творчества, органически связанной со всем его развитием. Уже в годы первой мировой войны Ахматова создала цикл стихов, в которых без универсально распространенных в то время псевдопатристических фанфар любовь к Родине и народное горе показаны сквозь призму переживаний простой русской женщины.

Широко известны стихотворения 1917—1922 годов, знаменующие решительный разрыв с близкими ей в прошлом людьми из лагеря белоэмигрантов.

В поздней лирике, во многом непохожей на ее ранние стихи, все чаще звучат элегические раздумья над прошлым, своим и своего народа, мотивы своеобразной философской и моральной дидактики, сплетен-

ные с личными воспоминаниями («Северные элегии» и др.). В «Поэме без героя», над которой Ахматова работала двадцать лет и представляющей вершину и синтез ее творческого развития, личная судьба поэтессы и ее «поколения» переосмыслиется и получает историческую и моральную оценку в свете общих судеб не только ее современников, но и ее Родины.

Стихи Анны Ахматовой все еще не собраны полностью. Последнее издание («Бег времени», изд-во «Советский писатель», 1965) осуществлено с большим вниманием и вкусом, под общим наблюдением самого автора, но содержит немногим более половины ее печатного поэтического наследия. Серия «Библиотека поэта» подготавливает новое Собрание стихотворе-

ний, которое, помимо всего печатного материала и важнейших творческих вариантов, должно содержать и наиболее ценное из неопубликованных стихотворений. Общее число этих последних превышает две сотни разного времени и разной степени завершенности. Обширный литературный архив А. А. Ахматовой находится в настоящее время в основном в двух государственных хранилищах — в Центральном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ) в Москве и в Государственной Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, которым мы приносим благодарность за разрешение опубликовать некоторые образцы этих неизданных стихов.

В. ЖИРМУНСКИЙ

Словно тяжким огромным молотом
Раздробили слабую грудь.
Откупиться бы ярким золотом —
Только раз, только раз вздохнуть!
Приподняться бы над подушками,
Снова видеть широкий пруд,
Снова видеть, как над верхушками
Сизых елей тучи плывут.
Все приму я: боль и отчаянье,
Даже жалости острее.
Только пыльный свой плащ раскаянья
Не клади на лицо мое!
Осень 1911.

☆

Снова со мной ты. О мальчик-игрушка!
Буду ли нежной опять, как сестра!
В старых часах притаилась кукушка.
Выглянет скоро. И скажет: «Пора».
Чутко внимаю бездумным рассказам.
Не научился ты только молчать.
Знаю, таким вот, как ты, сероглазым
Весело жить и легко умирать.
1911. Ц. С.

☆

За узором дымным стеклом
Хвойный лес под снегом бел.
Отчего мой ясный сокол,
Не простившись, улетел!

Слушаю людские речи.
Говорят, что ты колдун.
Стал мне узок с нашей встречи
Голубой шушун.

А дорога до погоста
Во сто раз длинней,
Чем тогда, когда я просто
Шла бродить по ней.

☆

Сочтенных дней осталось мало.
Уже не страшно ничего,
Но как забыть, что я слышала
Биенье сердца твоего.
Спокойно знаю, в этом тайна
Неугасимого огня.
Пусть мы встречаемся случайно
И ты не смотришь на меня.
10-е годы.

☆

Когда моя настанет смерть,
Душа кукушкой обернется.
В густой листве цветущих груш

Я полночью глухою спрячусь
И так во мраке запою,
Что милый голос мой узнает.
10-е годы.

☆

В промежутке между грозами
Мрачной яркостью богатые
Над притихшими березами
Облака стоят крылатые.
Чуть гроза на запад спрячется
И настанет тишь чудесная,
А с востока снова катится
Колесница поднебесная.
1915. Слепнево.

Отрывок

О боже, за себя я все могу простить,
Но лучше б ястребом ягненка мне когтить
Или змеей уснувших жалить в поле,
Чем человеком быть и видеть поневоле,
Что люди делают, и сквозь тлетворный
срам
Не смей поднять глаза к высоким небесам.

☆

Веет ветер лебединый,
Небо синее в крови.
Наступают годовщины
Первых лет твоей любви.
Мне и весело и трудно,
Не забуду никогда,
Как, слепительный и чудный,
Ты пришел ко мне сюда.
Покоряясь, покоряла,
Не просила ничего,
Звездной ночью целовала
Губы друга моего.
Отлетел февраль мятежный
С легким звоном снежных крыл,
Но на память мне подснежник
Под сосною прикрепил.

21 февраля 1918.

☆

С первым звуком, слетевшим с рояля,
Я шепчу тебе: «Здравствуй, князь!»
Это ты, веселя и печалю,
Надо мною стоишь, наклонясь.

Но во взоре упорном и странном
Угадать ничего не могу.

Только в сердце моем окаянном
Золотые слова берегу.

Ты когда-нибудь, скукой томимый,
Их прочтешь на чужом языке
И подумаешь, мне серафимы
Оснащают корабль на реке.

1917.

☆

И осталось из всего земного
Только хлеб насущный твой,
Человека ласковое слово,
Чистый голос полевой.

1941.

☆

Улыбнулся, вставши на пороге.
Умерло мерцание свечи.
Сквозь него я вижу пыль дороги
И косые лунные лучи.

10-е годы.

☆

И все, кого сердце мое не забудет,
Но кого нигде почему-то нет,
И страшные дети, которых не будет,
Которым не будет двадцать лет,
А было восемь, а девять было,
А было... — Довольно, не мучь себя.
И все, кого ты вправду любила,
Живыми останутся для тебя.

Послесловие к ленинградскому циклу

...Последнюю и высшую награду —
Мое молчанье — отдаю
Великомученику

Ленинграду.

16 января 1944. Ташкент.

☆

А в зеркале двойник бурбонский
профиль прячет

И думает, что он незаменим,
Что все на свете он переиначит,
Что Пастернака перепастерначит,
А я не знаю, что мне делать с ним.

1943. Ташкент.

☆

От странной лирики, где каждый шаг —
секрет,
Где пропасти налево и направо,
Где под ногой, как лист увядший, слава,
По-видимому, мне спасенья нет.

Осень 1944.

Из цикла «Тайны ремесла»

Не повторяй — душа твоя богата —
Того, что было сказано когда-то,
Но, может быть, поэзия сама
Одна великолепная цитата.

4 сентября 1956.

☆

Пусть даже вылета мне нет
Из стаи лебединой...
Увы! лирический поэт
Обязан быть мужчиной.

Иначе все пойдет вверх дном
До часа расставанья —
И сад — не сад, и дом — не дом,
Свиданье — не свиданье.

☆

Я давно не верю в телефоны,
В радио не верю, в телеграф.
У меня на все свои законы
И, быть может, одичалый нрав.
Всякому зато могу присниться,
И не надо мне лететь на «Ту»,
Чтобы где попало очутиться,
Покорить любую высоту.

24 октября 1959.

Кр. Конница. Ленинград.

☆

И анютиных глазок стая
Бархатистый хранит силуэт —
Это бабочки, улетаю,
Им оставили свой портрет.
Ты — другое... Ты б постыдился
Быть, где слезы живут и страх,
И случайно сам отразился
В двух зеленых пустых зеркалах.

3 июня 1961.

Комарово.

Еще об этом лете

Отрывок

И требовала, чтоб кусты
Участвовали в бреде,
Всех я любила, кто не ты
И кто ко мне не едет...
Я говорила облакам:
«Ну, ладно, ладно, по рукам».
А облака — ни слова,
И ливень льется снова.
И в августе зацвел жасмин,
И в сентябре — шиповник,
И ты приснился мне — один
Всех бед моих виновник.

Осень 1962.

Комарово.

☆

Так уж глаза опускали,
Бросив цветы на кровать,
Так до конца и не знали,
Как нам друг друга назвать.
Так до конца и не смели
Имя произнести,
Словно замедлив у цели
Сказочного пути.

Москва, февраль 1965.

☆

И в недрах музыки я не нашла ответа,
И снова тишина и снова призрак лета.

Четыре времени года

Сегодня я туда вернусь,
Где я была весной,
Я не горюю, не сержусь,
И только мрак со мной.
Как он глубок и бархатист,
Он всем всегда родной,
Как дерева летящий лист,
Как ветра одинокий свист
Над гладью ледяной.

12 октября 1959.

Ордынка.



Лев Черепанов

ШУШЕНСКИЙ БОР

«Ты просишь... описать село Шу-шу-шу... Гм, гм!.. Село большое, в несколько улиц, довольно грязных, пыльных — все как быть следует. Стоит в степи — садов и вообще растительности нет. Окружено село... навозом, который здесь на поля не вывозят, а бросают прямо за селом... У самого села речонка Шушь, теперь совсем обмелевшая. Верстах в 1—1½ от села (точнее, от меня: село длинное) Шушь впадает в Енисей... С другой стороны (противоположной реке Шушь) верстах в 1½ — «бор», как торжественно называют крестьяне, а на самом деле препохонький, сильно вырубленный лесшко...»

Так писал Владимир Ильич Ленин сестре Марии Ильиничне 19 июля 1897 года.

Что случилось с Шушенским сегодня? Как отпечатался в бытии его, в нравах, в людях след ленинской жизни?

Начать с того, что село уже вот-вот, и с полным правом, станет называться городом. Все здесь уже разрастается ввысь и вширь. И, может, город подмял, «съел» остатки бора?

Шушенский бор числился за местными крестьянами. Никаких запретов тогда не существовало, каждый мог выехать и рубить все, что любо. Те, которые не были безлошадными, гольтьбой, расчищали равнины у озер под сенокосы, на солнцепечных склонах распахивали пашни. У дорог вырубалось вообще все, что попадало под замахи, все, как есть, до кустика.

Владимир Ильич прибыл в Шушенское, отбыв четырнадцатимесячное заключение после ареста руководителей петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». От бора уже мало что оставалось. Он исчезал. В нем, писал Владимир Ильич, не было даже настоящей тени.

Сейчас в бор ведет асфальтированная дорога. У поворота к озеру Перово стоит новый кордон. Неподалеку от него — старый, уже одряхлевший, обреченный на слом. Наличники на окнах нового кордона, конек, резные ворота, балясины — все сделано по эскизам Дмитрия Арсентьевича Павлова, директора Шушенского лесхоза, и удачно стилизует старину.

Дмитрий Арсентьевич, невысокий и крутоплечий, из любезности вызвался быть в бору моим гидом. С ним этюдник, уже довольно обшарпанный, со следами-отметинами от сухих веток.

Я рассматривал украшения кордона, в общем-то, немудреные, традиционные для Сибири, и во мне становилось все отчетливей и крепче то естественное чувство близости к селу, которое Ильич озорно и ласково называл: «Шу-шу-шу». Отходили, рассеивались сиюминутные заботы. Мной овладевало то настроение, когда восприятие усиливается и ты, испытывая трепет, готов не только прикоснуться к истории, но и услышать, что она говорит твоей душе.

Бор исхожен Павловым вдоль и поперек. И не только потому, что служба у него такая: ходи, доглядывай за всем. Павлов — художник. Его мечта — воспроизвести на холсте то, что видел Владимир Ильич, когда бродил в окрестностях шушенских озер с дробовиком, вновь и вновь возвращаясь мысленно в Петербург. Как только выпадает свободная минута, Павлов берет этюдник. Пейзажи — вот его страсть. Их пишет он маслом; сначала, как и полагается, на картонках (у него этих картонок куча), а уж потом на холсте. Его картины можно было видеть на выставках в Шушенском Доме культуры, в краевом Доме художника.

Пробует Павлов свои силы и в графике. Особенно ему удался набросок тушью: Ленин склонил голову над конторкой, именно так, как делал только он — почти видимо напряжение мысли. Рядом керосиновая лампа под абажуром. И, словно призрак, жандарм за частым переплетом оконной рамы... Название у наброска насколько короткое, настолько и выразительное: «Все пишет». Да, выразительное. Эти слова Павлов взял из донесений того самого жандарма, которому Ленин был отдан под гласный надзор.

Маршруты Павлова в бору выверены по письмам Владимира Ильича и Надежды Константиновны. Пожалуйста, он расскажет, где бывал Владимир Ильич, чем интересовался, какое у него было ружье, как и где приобрел его, какую добывал дичь, что у него была за собака, — обо всем подробно.

Наконец, мы вступаем в бор. До чего же он хорош весной! Снег осел, сделался крупитчатым. Тут и там обнажились лужайки, с них поднимается тонкая дымка испарений, сами лужайки, рыжие и теплые, как бока косуль, которым здесь, кстати, при воле, живут непугаными. А сосны! Шершавость их влажная, ветви поднялись свободно, тянутся к небу, роясь с иголок бисеринки холодных брызг. Вместе с березами сосны взбираются на холмы. Они в веселом движении. А там, где охотничий крытый дерновым шалаш — в нем любил отдыхать Ленин, — сосны неподвижны, замерли, прикрыв собой шалаш от ветров и дождей.

Семьдесят лет пролетело над бором. Сосны у шалаша окрепли. Подует ветер, и они шумят басовито. Вдали от лужаек сумрачно, бродят плотные тени и больше, чем где-либо, пахнет теплыми почками и еще не выветрившейся прелью опавших листьев. С упоением щебечут о чем-то своем птицы.

Павлов раскрывает этюдник, раскладывает тюбики с краской, кисти и на мгновение остается неподвижным. Чуть склоняет голову, прищуривается...

Судьба Шушенского бора не сложилась бы столь счастливо, если бы не ленинский Декрет о лесе. Он начинается со слов: «Всем Советам Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов». Стиль его строг и торжествен: «...леса не составляют собственности ни сел, ни уездов, ни губерний, ни областей, представляют собою общенародный фонд и ни в коем случае не могут подлежать какому-либо разделу и распределению ни между гражданами, ни между хозяйствами».

Ленин защищал от истребления древостой на Печоре, в Поволжье, за Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке — во всей стране. А, наверно, в виду имел Шушенское, этот «лесишко», обреченный на гибель. Перед глазами Ильича стоял бор, настолько разграбленный, что называть его всерьез так: «бор» — было невозможно.

Шушенский бор выстрадал новую жизнь себе, а вместе с тем и всему лесу страны. Что это было именно так, у Павлова, более всего доверяющего внутреннему ощущению, нет никакого сомнения. Декрет о лесе, какой он есть, с «ятями», твердыми знаками, круглой печатью комиссариата земледелия и подписью Ленина, распорядился он написать масляными красками на щите и вывесить в конторе лесхоза. Слова декрета к приходу наших дней приобрели особую эмоциональную силу и значимость, сам он, декрет, воспринимается не иначе, как великая охранная грамота, ленинский завет лесникам.

Декрет положен в основу появившегося позднее расширенного Декрета о лесах. Что он такое, говорит само название. В нем разработаны юридические положения о лесе, правила пользования им и восстановления.

Примечательно вот что. Декрет вышел в свет 5 апреля 1918 года. Что тогда переживала наша страна, знает каждый. Штыки блокады, нацеленные в революцию, холодно взблескивали со всех сторон; решался вопрос, быть или не быть Советам. И в это время Ленин, констатируя, что война оставила голыми, без леса огромные площади, требует (цитирую тот же декрет): «... в интересах народа немедленно засадить и засеять их лесом».

Этот декрет, таким образом, нечто большее, чем государственный акт о лесе, он свидетельство особого отношения коммунистов к природе, их заботы о ней в настоящем и в будущем. И, конечно же, он не мог не взволновать людей. На эту мысль наводит

одно из замечательных событий в Шушенском. По просьбе крестьян, помнивших Ильича, 5 июня 1918 года собрался сельсовет. Привожу выписку из протокола.

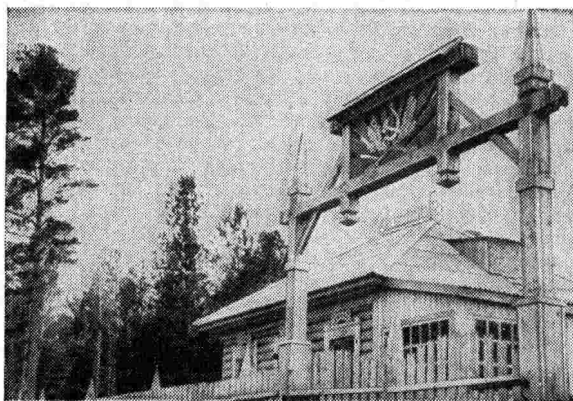
С Л У Ш А Л И:

Об устройстве охотничьего заказника имени В. И. Ленина-Ульянова близ села Шушенского, где охотился Владимир Ильич (докладчик — специалист по охоте при Охр. Лесном отделе тов. Слободчиков).

П О С Т А Н О В И Л И:

Устройство охотничьего заказника имени В. И. Ленина-Ульянова признать целесообразным в лесах местного значения в отрубе № 3 площадью 418,68 гектара (383,22 дес.) в его межевых границах, со всеми входящими в него болотами и озерами «Перово» как место охоты Владимира Ильича. Заказник будет представлять из себя постоянное охотничье хозяйство с запретом охоты с заказом на 10 лет, после которого в зависимости от обстоятельств охоту разрешать на короткий период.

Охота запрещается на всех птиц и зверей, кроме волка, на которого охота облавой будет допускаться с особым разрешением с/совета. В связи с устройством охотничьего заказника в тех же границах устроить заказник на лес и рыбную ловлю на тот же срок.



Кордон лесника в Шушенском бору.

Просить Окрисполком об утверждении указанного заказника. Для наблюдения за заказником уполномачивается гр. с. Шушенского Штрмило Илларион Никитич, которому и предложить участвовать при обходе границ заказника специалистом Слободчиковым.

Подлинный подписали: председатель Пашии секретарь (подпись)

Мне страсть как хотелось разыскать Иллариона Штрмило. Я навел справки. Оказывается, он погиб в гражданскую, кажется, под Канском. Дмитрий Арсентьевич Павлов познакомил меня с его братом, Михаилом Никитовичем. Он уже стар, но еще дюж, у него даже хватило сил недавно срубить себе дом. В этом доме, пахнущем подсыхающей штукатуркой, и сидели мы, беседа до ночи.

— Кто же сторожил в заказнике?

— Сами крестьяне. Установили очередь. Как ночь, так брали ружье с жаканами и отправлялись к шалашу.

— С ружьем?!



Дмитрий Павлов на берегу озера Перово.

— А как же! Боялись тогда, как бы недобитые бандиты в лютой злобе на Советскую власть не изувечили бор, не пустили по нему гулять петуха.

— А что полагалось за дежурство?

— А ничего! Думы у крестьян были такие: «Служим Ильичу». Сам вот тоже... Соберусь, по-боевому... Был и я на гражданской...

Михаил Никитович прищуривал глаза и умолкал. Должно быть, перед ним проходили видения той давней и трудовой поры: колчаковщина, мятеж белочехов...

В шестидесятых годах правительство Российской Федерации передало в государственный лесной фонд 2 075 гектаров леса, окружающего заказник имени В. И. Ленина. До того он был в пользовании местных хозяйств. После к нему было прирезано еще 1 970 гектаров. Таким образом, границы Шушенского бора, за которым признавались права быть заповедным, значительно раздвинулись.

Шушенский бор — гордость Дмитрия Арсентьевича Павлова. Помню, шли мы с ним к Песчаной горке. Вечерело, и сосны казались плоскими, будто вырезанными лезвием из чего-то голубого и необыкновенно тонкого. У Дмитрия Арсентьевича под мышкой, само собой, был этюдник.

— Выходит, — говорю, — в принципе все началось с бора: экспедиции в леса, организация хозяйств, охраны, а позднее — создание противопожарных авиабаз с десантниками, института леса и древесины, НИИ...

— С бора, с этого самого, — убежденно ответил Павлов. — Бор натолкнул на то, что надо сделать без промедления. Именно так. Появился Декрет о лесе. А в нем — заметил? — такой пункт: «...все леса нужно привести в известность, описать и организовать в них хозяйство».

На вырубках в Шушенском бору появились сосенки. Точно зелено-игольчатые ежи, пошли гулять они, тесня шумящее разнотравье. С каждым годом сосенок-ежей все больше и больше.

Сосны садят весной. Это в плане лесхоза. А весной всегда нехватка рабочих рук. Однажды кто-то сказал: «А что, если устроить субботник?»

Субботник удался. Неподалеку от Журавлиной горки вдоль посадок появились палки с табличками: «Лес ко дню рождения Ленина».

Рядом с бором возник питомник, этот своеобразный детсад сосен, акаций, ясеней, елистого клена, тополя, мелколистленного вяза. В саду, примыкающем к бору, заструились веточки яблонь. Павлов брал в горсть их листья, продолговатые, как ладони, и умолкал, точно его уже ничто, кроме них, не интересовало. Особенно подолгу задерживался он у самых маленьких яблонек. Наклонялся, трогал веточки... Можно было подумать, что яблоням и ему, обремененному нескончаемыми хлопотами, хорошо так вот встречаться, почти случайно, испытывая взаимную нежность.

Что же будет с бором? Ведь он не может оставаться таким, какой есть. Он живой! В нем не утихает межвидовая борьба, какие-то деревья из-за этого усыхают на корню, какие-то разрастаются, и бор таким образом утрачивает первоначальный вид.

В бору нужны рубки ухода — существует в обиходе лесников такое словосочетание. Имеется в виду не только необходимость спиливать старые, превратившиеся в труху деревья. Надо также прореживать молодую поросль. А раз так, то надо знать, какого придерживаться направления. Или помогать соснам и сводить на нет все, что им мешает, или не вмешиваться, стоять в стороне от зеленых междоусобиц? Где оставлять полянки, где подсаживать деревья? Опять же, какие?

Озера мелеют. Собственно, они уже не совсем озера. А ведь они были большими, привлекали уток, в них когда-то водились караси! Может, пора строить какие-то гидротехнические сооружения, чтоб возродить их, наполнить водой?

Памятные горки Песчаная и Журавлиная выветриваются. Что предпринять?

Павлов рассказал мне, что должен был отложить этюдник и засесть за проект. Сам по ночам вычерчивал карты, эскизы... Строил расчеты.

Что он имел в виду сделать? Весь лес у Шушенского, включая и тот, в котором до недавнего времени местный совхоз пас скот, перевести в категорию особого значения.

Павлов определил новую роль насаждений в связи со строительством в Шушенском фабрик, устойчивость бора к газам, его общую жизнеустойчивость, наметил строительство дорог, переходов... Композиционными центрами парка он выбрал места прогулок и охоты Владимира Ильича.

Пусть проект Павлова, в общем-то приемлемый, не мог устроить специалистов, поскольку он, что ни говори, был любительским. Появится такой, какой нужен, квалифицированный. На него уже сделан заказ проектировщикам из Союзгипролесхоза. И все-таки, думается мне, проект Павлова не может быть сброшен со счета. Что разлучило Павлова с этюдником, со сном? Корысть? Нет! Озабоченность. Она сродни той, которая вела когда-то крестьян Шушенского охранять бор, ничем не замутненная, как саянский воздух.

Лес. Что еще в природе может быть более сопряжено с заботами общества, которое не живет одним днем, не может так жить, всеми своими помыслами устремлено в будущее? Лес — это прежде всего не строительный материал, не сырье для лесохимии, а легкие нашей планеты; ими она дышит.

Не станет леса, не станут жизненных условий существования всего живого, самих нас. Говорится же, что судьба леса — это судьба всех людей.

А что, если найти ему заменитель, синтезировать? Ведь людям под силу создавать так называемую вторую природу. Нигде не растет нейлон, поролон, лавсан, всякие пластмассы, а они у нас есть. Но в том-то и дело, что синтетический лес, такой, который был бы равноценен настоящему, невозможен, его не могут вообразить даже писатели-фантасты.

Значит, существование леса должно быть вечным! А раз так, то не следует его трогать — такой напрашивается вывод. Но — как это ни парадоксально! — вечное существование леса, по утверждению специалистов, невозможно без помощи человека с топором.

Лесу нужны люди. Он без них просто захиреет. Нужны не только, чтобы защищать его, как это делают десантники-пожарные и ученые-лесоводы, но и омолаживать.

В лесу не так, как в человеческом обществе: набравшие силу деревья не опекают подрастающее поколение, просто губят его или обрекают на прозябание. Почему? Опекают у них нет никакой заинтересованности. Я сам этому удивился. Такая непоследовательность! Деревья бросают семена на землю, и после уже никак не заботятся о росте потомства, его развитии.

Чем дальше лес от людей, тем он хуже. Это подтверждается картами таксации.

В Шушенском бору мне довелось услышать спор по поводу Тунгусского метеорита. На месте его вероятного падения вырос, а точнее, будто подпрыгнул новый лес. Причем лучше, выше прежнего. Почему? Возможно, что радиация, уровень которой и поныне остается там высоким, явилась своеобразным стимулятором роста. Но, может быть, все проще, потому что молодежь, получив наконец жизненное пространство, смогла развиваться беспрепятственно, во всю свою мощь?

Что радиация — стимулятор роста, с этим в принципе можно согласиться; было поставлено уже немало опытов. Однако и фактором жизненного пространства пренебрегать по меньшей мере легкомысленно.

Вообще лес, а вернее, проблема, как к нему относиться, созерцательно или по-хозяйски, рубить или не рубить, вызывает на разговор почти всех. Еще не рассеяны мнения прекрасодушных эстетов насчет лесорубов. Кое-кому кажется, что вообще движение цивилизации вширь всегда вредит природе, даже видят в том фатальную неотвратимость. Так почему бы в Шушенском бору не открыть лесной лекторий? Столько летом скапливается в нем туристов! Заглянем в регистрационную тетрадь Дома-музея В. И. Ленина. Ежегодно в Шушенское приезжают 130—140 тысяч туристов.

Наверное, скоро все-таки будет так. Пойдут туристы по бору, а их гид, кто-нибудь из специалистов-лесников, не преминет рассказать им о ленинском декрете, о ходатайстве шушенских крестьян насчет учреждения охотничьего заказника, о лесе вообще, о пользовании им в наши дни и в будущем. Просто любить лес мало, надо знать его.

Любопытный разговор я услышал в Шушенском бору. Даже растерялся вначале. Разговор у кордона. Чудилось, что я волею судьбы стал свидетелем рождения легенды.

О чем был тот разговор? О газете, которая сыграла столь выдающуюся роль в строительстве нашей

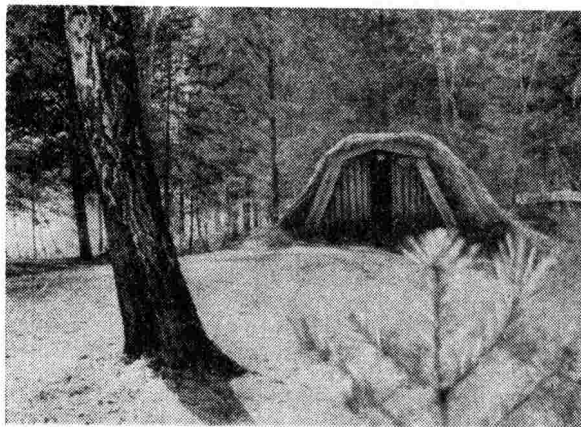
партии, — об «Искре», о том, почему она так была названа. Будто бы Владимир Ильич, встретившись с крестьянами на сенокосе, видел, как они чиркали по кремню кресалом. От искр загорелся мох, тотчас же вздыбилось пламя. Это было маленькое волшебство, такое простое по своей сути. Владимир Ильич был восхищен и, думая о своем, все повторял:

— С искры все начинается, с искры...

Может, было все совсем не так. Мы знаем, что эпиграфом к ленинской «Искре» послужила строка из стихотворного ответа Александра Одоевского Пушкину — «Из искры возгорится пламя». Но об услышанном в Шушенском бору разговоре я не могу не рассказать: ведь в нем так ярко проявилось отношение шушенцев к Владимиру Ильичу.

Да, бор не просто живет, а связывает поколения воедино. Тех крестьян, что ходили охранять его с ружьями, заряженными жаканами, и тех, кто ухаживает за ним нынче. В этой связи — признательность Ленину, всему, что он совершил. Она неистребима, эта признательность, и не состарится, как сам бор. Веру в это питают события, о которых узнал я от Павлова.

Представьте себе одну из школ Шушенского: длинный коридор и просторные, залитые солнцем классы. И еще — мальчугана, не очень приметного. Этот



В этом охотничьем шалаше любил отдыхать Ленин.

мальчуган — Вася Шабалин. Прозвенит звонок на перемену, и он подбегает к окну и замирает, всматриваясь в песчаные взгорки и разливы молодых сосен. Если бы он поднял голову чуть выше, то непременно увидел бы, как в трепете голубой дымки, там, далеко, встают Саяны, густо припорошенные искристым снегом. Вообще от Саян невозможно глаз отвести, такие они красивые в своей первозданной простоте, гордые и недоступные. Но Саяны Васе Шабалину ни к чему, он сосредоточен на боре, на том самом, который в свое время был облюбован Владимиром Ильичем Лениным для охоты и прогулок.

Мальчуган Вася Шабалин имеет к бору самое прямое отношение: он лесничий школьного лесничества. Под его опекой с полтысячи гектаров леса. И не простого, а заповедного, так сказать, особого назначения.

Хотя он еще юн — учится в шестом классе, — но уже отлично усвоил от старших, что руководить — это значит предвидеть. Как-то ему довелось прочесть письмо Владимира Ильича Ленина к своей матери. Может, его специально для Васи «забыл» на своем

столе директор Шушенского лесхоза Дмитрий Арсентьевич Павлов? Речь шла о ветре и, казалось бы, не имела никакой связи с делами школьников.

«На этих днях здесь была сильнейшая «погода», как говорят сибиряки, называя «погодой» ветер, дующий из-за Енисея, с запада, холодный и сильный, как вихрь. Весной всегда бывают здесь вихри, ломающие заборы, крыши и пр. Я был на охоте и ходил в эти дни по бору,— так при мне вихрь ломал громаднейшие березы и сосны».

Вася отложил в сторону письмо, отстуканное на машинке, и тут же решил сходить в бор не в обычное время, а тогда, когда проявит всю себя «погода». Оказалось, что «погода» — сущее бедствие не только для деревьев. Даже Песчаной горке придется плохо. Ее будто кто-то взрывает и развеивает.

Вася сразу же, еще находясь в бору, прикинул себе на уме, что может сделать «погода» с Песчаной горкой. Она вся изрыта, у сосен, взбежавших на самый верх, обнажились и высохли желто-молочные корни. Песок передвигается к дороге. В низине, прилегающей к ней, его уже полым-полно, он весь в складках, как в пустыне.

Когда Вася, не на шутку растревоженный, обо всем увиденном рассказал Дмитрию Арсентьевичу,— кстати, не только директору Шушенского лесхоза, но и члену Совета школьного лесничества,— тот, похоже, даже растерялся.

— Что же выходит, Василек! — тер он себе лоб тыльной стороной ладони. «Василек» — такое обращение к себе лесничий школьного лесничества не считал фамильярным и не обижался. — Что же выходит? — повторил Дмитрий Арсентьевич еще более озабоченно. — Песчаная горка может того, а? Может исчезнуть совсем, сравняться? А это куда не годится!

Потом рассказал молодому коллеге о том, что Шушенский бор входит в комплекс мемориального памятника Владимиру Ильичу, что, если сидеть сложа руки, так «погода» изменит его вид до неузнаваемости, утратится его историческая достоверность. И будто невзначай обмолвился про шелюги, или, иначе, песчаные ивы, очень неприхотливые и особенно примечательные тем, что могут вращать в песок и закреплять его своими корнями.

— Шелюги?! — оживился Вася. — Я их сам видел на склоне Песчаной горы. — И без всякого перехода спросил: — А правда, что Песчаную горку любил Ленин?

— Правда! — ответил Дмитрий Арсентьевич и добавил: — Шелюги мы уже припасли, да вот рабочих рук не хватает. Сам знаешь, что лето у лесников — это страда, только успевай поворачиваться: уход за молодняком, подготовка к закладке питомника, к посадке полезащитных полос...

— Так у нас же в лесничестве сорок мальчишек и девочек! Да еще если другим сказать!..

Наверно, никогда не было так многолюдно у Песчаной горки, как в один из поведельников. Не только актив школьного лесничества, сразу два класса пришло сажать шелюгу. То-то было весело! Кто копал ямки, кто подносил саженцы и воду.

Не забыли девочки и мальчишки также и про сосны с обнаженными корнями — засыпали их. Где было можно заровнять образовавшиеся дюны, заровняли. Тогда же появилась песенка-самоделка:

«Шелюга, шелюга — союзница юннат!»

С шелюги и началась дружба школьников с бором. Ее высажено более двенадцати тысяч. Если бы кто-нибудь выписывал школьникам наряд, то должен был бы учесть еще и такие данные. Между полями совхоза имени Ленина они посадили семь тысяч сеянцев сосны, заготовили около двух тысяч килограммов сосновых шишек, семян акации и клена, для пернатых друзей леса — скворцов и синиц — сделали и развесили 360 дощатых домиков.

У ребят, как появилось школьное лесничество, стало больше праздников. Весной отмечают прилет птиц. Все выходят в лес вести наблюдения. Самая большая удача выпала на долю помощницы Васи Шабалина — Нины Филатовой. Надо же, она нашла перо невиданной птицы! С расспросами о ней ребята побежали к преподавателю биологии Маргарите Андреевне Сторенко. Она отыскала в шкафу специальный альбом-определитель, раскрыла его. Выяснилось, что перо обронила сойка. А она близ Шушенского не жила. Значит, ей понравилось в обновленном бору, откуда прилетела и справила новоселье. Ее видели после среди сосен.

Второй праздник, не менее радостный для ребят, — «Золотая осень». Опять все выходят в лес. До чего же он хорош, когда небо уже дышит прохладой, а земля еще хранит летнее тепло!

Маргарита Андреевна описала флору озера Перово. Разбор флоры она делала осенью близ всем известного охотничьего шалаша. Между прочим, макет его, сделанный учениками, хранится в школе. Возле на тагане котелок висит, малюсенький такой.

На празднике «Золотая осень» ребята стали богаче еще на один факт — узнали, что Владимир Ильич в Шушенском любил акацию. Для нее он нашел место у беседки, устроенной во дворе дома Петровой, где жил он до самого отъезда. Акация, почувствовавшая заботу, разрослась, и на нее приходили смотреть крестьяне. Для них в Шуше, грязной и пропахшей навозом, сажена зелень была тогда в диковинку.

А теперь внуки и правнуки этих крестьян торжественно и деловито решили создать новый зеленый фонд и назвать его именем любимого Ильича, чья мысль и дело навсегда пустили корни в далеком сибирском селе.

Красноярский край.

Виталий Гузиков



БЫЛ? Есть такой парень!

Рисунки В. Владыкина.

Признаюсь сразу: не случись беды, неоправданной и нелепой, вы бы, может, и не узнали, что где-то на краю лютой и голой северо-восточной тундры жил-был охотник по имени Слава Апалю. Простой и веселый двадцативосьмилетний парень, с обычной для местного жителя трудовой судьбой.

Жил я с ним бок о бок какую-то неделю в его родном поселке Япракыннот, неподалеку от Сиявинского пролива Берингова моря. Листаю сегодня истертую записную книжку, вспоминая события тех семи дней.

— Не теряйте времени даром, — советовал мне Борис Егорович Олифиренко, зампред колхоза, — знакомьтесь сразу со Славой Апалю.

На мое «почему?» последовал почти анкетный ответ:

— Во всем он Человек с большой буквы. Передовой коммунист и охотник, активный общественник, заботливый муж и отец. Для вашего брата, журналиста, лучшего героя не найти...

Наша беседа с зампредом колхоза этим не ограничилась. Оказалось, что Олифиренко, человек в общем-то молчаливый, готов был говорить о Славе Апалю с нескрываемым удовольствием и сколько угодно.

...Встречи с председателем сельсовета, первым комсомольцем Чукотки Иваном Ивановичем Ашкамакиным, зверобоем Борисом Конко, оленеводами, и в каждой — новые рассказы о Славе Апалю...

И вот, наконец, знакомство с самим Славой. Высокий, стройный парень. Скуластое, симпатичное лицо, глаза добрые и чуточку печальные. В движениях, мягких и ловких, чувствуется сила недюжинная и умение силу эту прикладывать на охоте, на поселковых поединках борцов — в общем, там, где это надо. Вначале говорит о себе больше общими фразами: «Да, охотился...», «Да, был в передовиках...», «Да, заболел...», «Сердце...». Не сразу мне удалось его разговорить, узнать кое-какие подробности его жизни.

...Как-то, а было это в крошечную темень полярной ночи, он на собаках подъехал к дому, где я остановился, разбудил меня и заговорщически предложил: «Махнем на нерпу, а?» Я давно об этом мечтал, однако заговорил о другом... Он рассеянно выслушал мои возражения, а потом сказал, как мне показалось, с обидой: «Неужто так и уедешь, ничего не повидав?..»

Через полчаса мы уже мчались на его лихих ездовых к Берингову морю. Ехали долго. Чтобы не оконечить и чтобы ноги не затекали, часто сами бежали по бокам нарт. Слава, я заметил, тяжело дышал и быстро уставал, снова садился в нарты. В эти мгновения я досадовал на себя за то, что позволил взгрывать своим охотничьим страстям, поддался Славину «мужскому уговору» — никому об охоте ни слова!

Часам к одиннадцати, когда тьма, посерев, сменилась сумерками, а потом и вовсе стало светло, мы врезались в густую стену прибрежного морского тумана. Лицо хлестал холодный, соленый и колющий от множества микродвижков ветер. Слава сказал: «Приехали». Проворно спрыгнул, поднял отвороты нерповых торбозов чуть ли не до пояса, сгреб одной рукой с нарт свою игрушечную, легкую байдарку из моржовых шкур, метра полтора длины и меньше метра ширины, короткий багорчик, лопатку-весло, в другую руку взял карабин и мигом растворился в липкой, молочной мгле. Я услышал приглушенные всплески воды. Потом раздался первый выстрел. С коротким интервалом — второй... А минут сорок спустя, как привидение, Слава вынырнул из тумана в обледенелой меховой одежде, волоча за ласты двух серых в черное яблоко тюленей.

— Угощаю тебя сегодня печенкой, — сказал он, тяжело дыша и улыбаясь. — Что, не ел? Пальчики облизнешь!..

Едва переводя дух, он снова шагнул в туман, наказав мне спастись от холода бегом вокруг покорно и мирно дремавших в упряжке собак.

— Дальше не забегай — заблудишься, — объяснил Слава.

Он мог этого и не говорить. Метр-два от силы — вот и вся видимость... Как же он там, в море, где соленая испарина затрудняет дыхание, плывет на своей верткой, не внушающей доверия «посудине»?..

На эти вопросы мог ответить только сам Слава. А пока он плавал, выискивая зверя, мне оставалось только гадать, откуда у человека берется столько силы, упрямства, споровки, откуда у него такие зоркие, как локатор, глаза.

Часам к двум, когда ветер изменился и сорвал туманную завесу с берега, мы двинулись в обратный путь. Собаки с трудом тащили восемь тюленых туш. Среди них была одна и моя... «Положил» я зверя двумя выстрелами. Позабыв обо всем на свете — и о холоде, забравшемся под мою промокшую от неумения одеваться по-местному чукотскую меховую одежду, и о голоде, и об усталости, — я ликовал. Слава радовался за меня.

— Ну, вот видишь, — говорил он, — а ты хотел уехать, не познав охотничьей удачи!..

Помню, эта фраза резанула мне слух. Ведь охота в таких условиях — риск огромный. Одно неверное движение — и ты в воде. И тогда, если тебя успеют выловить, что само по себе дело очень мудреное, получишь воспаление легких с какими-нибудь осложнениями в придачу. Либо... Что говорить, бывали случаи, когда зверобой теряли своих товарищей... Я слышал... Бывали...

Что же касается «моего» тюленя, так чуть позже, став на чукотский манер его разделявать, я нашел в шкуре вместо двух три пулевых отверстия... Это поставило все на свои места, конечно, уменьшив мою «охотничью» радость.

Через дня два Слава Аपालю возил меня в оленеводческую бригаду и еще раз на охоту. Только вместо ружья мы взяли с собой фотокамеру и «Спидолу». Тот день выдался будто по заказу. На час-два в эти края пожаловало солнце — гость очень редкий для «полярки». Мы отъехали от поселка на почти-тельное расстояние, к тем скованным ледяным толстым панцирем местам пролива, где нерпа, выдувая окошечко, вылезает и отдыхает на снегу. Слава поставил около одной такой лунки «Спидолу», пой-мав джазовую мелодию, и увлек меня за торосы. Вскоре из лунки показалась лоснящаяся морда. Убе-дившись, что рядом нет никакой опасности, сере-бристо-черный тюлень вылез, обнюхал транзистор и, довольно жмурясь, улегся рядышком, наслаждаясь покоем, теплом и музыкой. Мы просидели, не шелохнувшись, битый час. Слава видел это зрелище, верно, в тысячный раз, но, как и я, блаженно улы-



бался этой идиллии. Тогда-то мне и подумалось, как не правы те, кто считает охотника человеком жестоким, бессердечным. А то, что деду и прадеду Аपालю, его отцу и ему самому приходилось брать в руки карабин, так это было не от хорошей жизни. Вернее, ради жизни. Потому, что в этих, как их прежде считали, «забытых богом и людьми краях» только охота обеспечивала человеку существование. Не умерла охота на морского и земного зверя и ныне, хотя ее удельный вес в хозяйстве местного жителя давно и бесповоротно пошел на убыль. Об этом мне рассказывал и Слава.

— По мне, — говорил он тогда, — я бы оставил охоту только на пушного зверя. Все-таки мягкое золото... Но не на морского.

— А чем же займешься, если отойдет охота? — спросил я его.

Он надолго задумался, хотя ответ у него был давно припасен. Не просто припасен — покоя ему не давал!.. Слава мечтал окончить школу. Учиться дальше.

— Понимаешь, — говорил он, — у меня всего шесть классов, а самому — под тридцать... Пора...

И он давно добился бы своего, если б не две беды. О том, как пришла первая, я узнал и от Славы и от его односельчан.

...Уж не знаю, кто был больше виноват — долгая непогода, небывалый наплыв отдыхающих и больных в санаторий или чиновник-бюрократ, но получение путевки задерживалось. Аपालю не просил и не требовал. Не умел ни того, ни другого. Прождав дня три в гостинице, заскучав без дела, он пришел в райисполком и вежливо, как-то виновато сказал: — Если завтра ничего с путевкой не выйдет, — вы уж извините — уйду домой...

Думали: шутит парень. Куда он может уйти, когда от бухты Провидения до его родного поселка добрых 75—80 километров пути по безлюдной тундре? А транспорта в ту сторону не предвиделось: пятые сутки пурга, не видно ни зги, снегу намело чуть не в рост человека...

В общем, ни о каких пеших переходах не могло быть и речи. Тем более что Слава Аपालю страдал тяжелой болезнью сердца, из-за чего и очутился у лучших районных врачей, прописавших ему полный покой и курортное лечение.

Его хватились на другой день. Пропал парень. Забили тревогу. В милицию заявили.

Через два дня в исполкоме раздался звонок из поселка Явракынот.

— Чего парня-то замурыжили? — возмущался Олифиренко. — Почему путевку не даете?..

— А где Аपालю-то? — перебили председателя.

— Как где? — удивился тот. — Дома. Вчера вечером пришел. В тундру просится... В райцентр, говорит, больше не пойду.

Врачи ахнули, запричитали. Еще бы! Прописали парню постельный режим... Вместо постельного режима — эдакий путь в пургу!

И едва погода улучшилась, в райцентре срочно снарядили и отправили санрейсом вертолет. Но поздно... Дома Аपालю не оказалось.

Жена его показала записку: «Не волнуйся. Пошел в санаторий. Слава...»

Приезжий паренек-фельдшер чуть не в слезы. «Да с меня ж, — говорит, — главврач семь шкур спустит. Вдруг Аपालю не дойдет?!..»

Об остальном мне известно со слов самого Славы. «...Часы пробили четыре. Не спалось. Долго ворочался. Ныло в груди. Жена и трехлетний сын крепко спали. Потихоньку поднялся. Решил идти.

Часто останавливался. В груди по-прежнему ныло и сжималось сердце. Впервые в жизни ощутил его до боли, физически. Я — и болезнь!.. Я — и постельный режим!.. Чешуха это, не верю! Рыба может жить без воды? Факт, не может. Так и я — ни дня не могу жить без этой тундры! Друзья мы с ней!..

Долго шел, тяжело. Приходилось останавливаться, присаживаться на корточки, разгребать порошу и ощупывать наст. И по изрезанному ветром снегу проверять, верно ли иду. Этому старому способу, заменяющему чукчам компас, я научился у отца. А отец — у деда. А дед — у прадеда... От предков своих унаследовал я и умение охотиться.

У нас, на Севере, рано взрослеют. Лет в шесть не было для меня в тундре секретов. В восемь научился стрелять. Было это сразу после войны. К нам в рыболовецкую артель привезли много трофейного оружия. Выбрал я себе карабин, запаса патронами и целые дни проводил один, подальше от поселка. Потом взял надо мной шефство дядя Тынэт, а на следующий сезон пошел со стариками в море, на охоту. Еще через год приволок домой первую нерпу. Вот так, как и многие сверстники, в десять лет я стал охотником. Труднее было охотиться на песца, зверька быстрого и хитрого. Но освоил и эту науку.

Так что мой охотничий стаж теперь чуть ли не двадцать лет. А промах — один... Три года назад. Тогда сезон был богатый. Не было дня, чтоб не возвращался в поселок без трех-четырех песцов или лисниц. Приходил поздно, а чуть свет — на ногах. Почти сто шкур добыл. Почти... Но как-то, преследуя песца, упал...

С трудом добрался до поселка. Потом — до врачей, чтобы услышать от них себе приговор: сложный порок сердца, инвалид третьей группы... Это я-то инвалид!.. Сначала смеялся, не верил: ведь бывает, ошибаются врачи. Решил тайком сходить в тундру. Для проверки. Вернулся с полпути. Понял: ошибки не было. Пришлось подчиниться врачам...

Совсем бы загрустил, если б не друзья. И особенно Иван Иванович Ашкамакин. Он был частым гостем в моем доме. Засиживались с ним до ночи. Он-то и «вылечил» рассказами разными, заставил поверить в свои силы. Ну, а когда хандра прошла, пришел в сельсовет и потребовал себе работу. Предложили заведующим красной ярангой. Согласился. Хотя, конечно, что ни говори, это не охота на зверя. Но потом не жалел; понял, что дело, за которое взялся, нужным оказалось людям, полезным...

Больше мне тогда Слава Апалю ничего не сказал. Я сам кое-что увидел. Приехали мы в одну дальнюю бригаду, километров за сто от поселка. Слава привез оленеводам свежую почту, табак, кое-что из припасов. С нами были две его неизменные попутчицы — фельдшер Люда Ефимова и учительница Тамара Вольченко. Пока Люда делала прививки и пичкала кого-то лекарствами, а Тамара помогала своим ученикам-заочникам, Апалю в самой большой яранге крутил часа четыре подряд кинофильмы.

Во всем, что делал тогда Апалю, чувствовалось: к оленеводам приехал не гость, не человек, попавший сюда по рабочей своей должности, а добрый, старый друг и советчик. И люди платили ему тем же. Даже в мелочах это было видно. Помню, в честь нашего приезда забили пастухи оленя. За ужином старший из них протянул Славе язык сохатого. Этой чести, о чем я прежде слышал, чукчи удостоивают гостя самого уважаемого. Апалю, смущаясь, взял язык, но есть не стал, а молча разделил этот деликатес на равные доли и обнес всех, кто был в яранге.

Они просидели всю ночь, тихо беседуя. И больше всего в яранге слышался Славин баритон. Пастухи



слушали заинтересованно, внимательно, как умеют в тех краях слушать старшего брата, отца и вообще человека самого мудрого. Уж не знаю, о чем он говорил (по-чукотски я не понимаю), можно было только догадываться, ловя в его речи такие слова, как «Вьетнам», «агрессор», «коммунистическая», или фамилии известных артистов, названия фильмов, где они снимались, да имена оставшихся в поселке земляков. У Апалю, видимо, в зависимости от темы беседы менялось и настроение. Лицо его, изрезанное огненными зайчиками костра, становилось то радостным, то печальным, то озабоченным, то строгим...

На другой день на совете оленеводов держал слово и он. Рассказывал, как лечить сохатого от пагубной копытки. Советовал, какими маршрутами вести стадо, называя и показывая на карте новые пастбища, богатые ягелем.

Мы уезжали под вечер. Слава торопился в другую бригаду. Провожать заведующего красной ярангой вышли с факелами в руках все оленеводы. Не забыть теплых улыбок этих суровых, степенных и благодарных ему людей, крепких рукопожатий и коротких слов напутствия, с которыми они прощались с Апалю. Тогда-то я и понял, почему он, взявшись за эту работу, никогда об этом не пожалел. И еще — как помогают людям его хоть и короткие, но частые наезды, его умение рассказать о самом-самом главном, сносить все тяготы долгого, трудного кочевья по тундре.

Вот так в новой работе и новых хлопотах забывал Слава о своей болезни.

...Хорошо помню тот вечер, когда мы расстались. За окном — крошечная темень. Пуржило. Мы сидели у русской печи. Давно улеглось Славина семейство. Настенные ходики пробили полночь. По горнице, вырываясь из приоткрытой печной дверцы, бежали огненные лучики.

Беседовали обо всем, долго, впрок, не зная, когда еще доведется свидеться. Правда, Слава обещал приехать летом в Москву. Договорились писать друг другу о новостях.

...Его письма. Их пять. С каллиграфическим почерком. И... с ошибками. Но от письма к письму ошибок заметно меньше. Знаю, как трудно давалась ему грамматика русского языка и как много он потому над собой работал...

«...Давно ты, видно, не получал от меня вестей, — писал как-то Апалю. — Только не серчай: тут моей вины нет. Погода, брат, погода!.. Вчера, наконец,

распогодилось, и к нам пожаловал сам почтмейстер. Ну, я ему письмо, а он мне целую стопу газет и журналов. Еле до дому донес. Неожиданно наткнулся на рассказ о Чукотке одного знакомого корреспондента. Парень как парень. А понаписал такого, что и читать-то неудобно.

По нему, у нас на Чукотке живут одни герои. В рассказе все об этом говорится. А ведь не так это вовсе. Люди как люди у нас. Со своими земными слабостями и заботами. Так чего ж нас всех Матросовыми делать? Ну, написать бы, скажем, духом сильные, физически выносливые или еще чего в этом роде. Или что не люди в этом «виноваты», а ступенные наши параллели и меридианы. Но до геройства, хоть и бывают исключения, далеко. Это в массе. И вообще тундру не геройством, а умом да смекалкой покорять надо...»

А вот из другого письма:

«...На днях вернулся Омрио. Ты его, верно, помнишь — это наш лучший охотник. Бродил по тундре в одиночку больше месяца. Думали, погиб парень. Жена от радости в слезы. На другой день вызвал его Олифиренко Борис Егорович и так всыпал ему на правление, что Омрио не знал, куда деться. И поделом: весь поселок этот «герой» переполошил. А бродил, как и предсказывали старики, попусту. С одним «хвостом» вернулся. Только время потерял. Лучше б на звероферме пособил. Все бы польза была — и себе и людям...»

Потом писем долго не было. Наконец пришло еще одно. На конверте почерк незнакомый. Я не сразу его вскрыл, предчувствуя недоброе. Так и оказалось. Славин земляк, охотник, тоже мой знакомый, сообщил о случившемся. Позднее мне удалось повидать в Москве человека из тех мест, хорошо знавшего Апалю. От него я узнал подробности.

...За окном хлестал июльский дождь, ожесточенно выд ветер. Жена отговаривала Славу от поездки в стойбище, пугая погодой. Да где уж там! Слава, как всегда, отшучивался, торопя ее в дорожных сборах.

— Переждать-то можно, — слышатся мне его слова, — но хорошо тебе об этом говорить! Придет вечер, порхнешь вместе с поселковыми в клуб, посмотришь кино да ляжешь спать в теплую постель. А каково оленеводам в тундре?.. Да и путь-то к ним сегодня близкий...

Что жена могла возразить на это? Уж кому-кому, а ей, выросшей в семье пастуха, была хорошо знакома кочевая жизнь оленеводов. Замолчала.

А потом вдруг напросилась поехать с ним вместе. Они вышли в море на небольшом моторном вельботе вместе с кинемехаником и тяжелой поклажей. Сильно штормило. На подходе к скалам острова Аракамчечен им просигналили: «Море штормит... Опасно...»

Они подошли к берегу. Откачали из вельбота воду. Передохнули. И снова вышли, чтобы обойти остров с другой стороны. И когда до цели было совсем недалеко, налетел шквальный ветер. Вельбот снесло в море. Там его и захлестнули волны... В этот день оленеводам не крутили кино. Смельчаки погибли...



Коротким было мое знакомство с этим парнем. Но не во времени дело. С одним год рядом проживешь, а спроси, что это за человек, ответить не сможешь. А есть другие люди, у которых вся жизнь, вся душа как на ладони, без тайничков. Таким и был Слава Апалю. Большим и сильным, с вечно воспаленным от ветра лицом, суровым прищуром красивых глаз и упрямым, как лучная тетива, характером, прямым в мыслях и делах.

Уверен, не одно поколение парней и девочек из далекого чукотского поселка узнает от своих отцов и матерей об этом простом охотнике.

Долго будут помнить в Япракынноте, как вывел Апалю-комсомолец на чистую воду одного горе-охотника, обчищавшего чужие капканы, как организовал он комсомольско-молодежное звено, долго державшее верх над опытными зверобоями артели, как из одного старика, бывшего шамана, сделал атеиста, как агитировал тридцатилетних колхозников (а то и постарше) поступать в школу, и всегда добивался своего. Расскажут земляки о Славе Апалю как о передовом коммунисте, которому председатель не раз доверял защищать колхозные интересы на сдаче пушнины; как он первым отправился в тундру на помощь попавшим в беду людям, как своими сатирическими рисунками в местной газете и выступлениями на собраниях или беседами с глазу на глаз боролся с лентяями, любителями разного «зелья» и легкой наживы.

Люди помянут добрым словом Апалю и за его красивую жизнь семейную, за то, как любил он жену и сынишку, как дорожил всем, что складывалось для него в понятие семьи, своего очага. Не забудут его и сегодняшние мальчишки, души не чаявшие в Апалю, бегавшие за ним гурьбой со своим неизменным — «научи, дядя Слава», тому да сему, и узнавшие от него столько охотничьих секретов.

И никогда для них не станет Слава Апалю просто воспоминанием.

Был? Нет, есть такой парень на Чукотке!..

М. Штаркман,
подполковник в отставке



СТРАНИЦА ИЗ ЖИЗНИ ЧЕКИСТА



Имя Дмитрия Николаевича Медведева по праву окружено в памяти нашего народа любовью и глубоким уважением. Коммунист, чекист школы Дзержинского, прославленный партизанский командир Великой Отечественной войны, писатель в послевоенные годы — таков его жизненный путь. В двухстах школах, институтах, воинских частях есть музеи, пионерские отряды, уголки боевой славы имени Героя Советского Союза Д. Н. Медведева. Его книги «Это было под Ровно», «Сильные духом», «На берегах Южного Буга» переиздавались в нашей стране и за рубежом более семидесяти раз.

О нем самом уже написаны книги, сложены песни, поставлены спектакли, готовится фильм. Встает в них образ бесстрашного, сильного, мужественного человека, красивого и душевно и физически. Но этот облик рыцаря-большевика будет не полон, если не дописать в истории его жизни еще несколько страниц. Не будет в них ни хитроумных чекистских операций, ни погони за бандами, ни стрельбы... Но сделать это нужно, потому что, боюсь, кроме меня, этого уже никто сделать не сможет — и слишком много воды утекло, и слишком много событий опалило ту землю...

Это было на Украине в тяжелую зиму 1932/33 года. Тяжелую особенно, потому что к ожесточенной борьбе с кулачеством (как раз шла коллективи-

Д. Н. Медведев (снимок тридцатых годов).



На снимке — первая партия беспризорных. Такими их собрали чекисты (справа вверху — Д. Медведев) на улицах города. Какими они стали некоторое время спустя, вы увидите на снимке, помещенном на следующей странице.

зация), с оживившейся украинской националистической контрреволюцией прибавился тогда сильный неурожай, а потом и голод.

В один из тех трудных дней ко мне в Киеве, где я служил в областном управлении ГПУ, зашел Дмитрий Николаевич, незадолго до того переведенный в Новоград-Волынский на должность начальника горотдела ГПУ. Мы знали друг друга, должно быть, уже лет десять. Дружили и по работе в органах госбезопасности и семьями, даже сыновей назвали одинаково — Ким.

Медведев был очень озабочен, даже встревожен. Меня это не удивило: Новоград-Волынский тогда находился всего лишь в 18 километрах от границы, и служба чекистская там была нелегкой. Но, оказалось, дело было совсем в другом.

В Новограде-Волынском голодали дети. Их там собралось несколько сот, беспризорных, оборванных, голодных и одичалых ребятишек, в том числе и совсем крохотных — двух-трех лет от роду... Местные власти почти ничего сделать с беспризорными не могут, исполкомовский скромный бюджет и от своих забот трещит по всем швам. Иногда, правда, горисполком собирал ребят, кормил, а потом они снова разбегались. Само собой разумеется, что ребята постарше уже стояли на грани преступности, занимаясь и мелким воровством.

Дмитрий Николаевич еще не закончил свой рассказ, а я уже понимал, что он задумал покончить с детской беспризорностью в Новограде-Волынском. Удивляться этому не приходилось: еще при жизни «железного Феликса» чекисты взяли под свою защиту десятки тысяч детей, которых обездолила гражданская война и разруха, и успешно справились с этой задачей. И та новая забота, что собирался взять на свои широкие плечи Дмитрий Николаевич, была вполне в духе наших чекистских традиций.

Ко мне Медведев пришел с уже сложившимся планом борьбы с беспризорностью, и этот план предусматривал мой переход в Новоград-Волынский. Через неделю я уже прибыл к новому месту службы.

«Детский вопрос» был поставлен на первом же собрании чекистов. Разговор был жарким — беду сотен ребятишек чекисты восприняли как свою собст-

венную. Тут же наметили первые шаги и распределили добровольные обязанности.

Одним сотрудникам поручалось выявлять места скопления беспризорных детей, другим — взять на учет все свободные кулацкие дома, третьим — учесть имеющееся в городе бесхозное имущество (по приговорам суда у кулаков, спекулянтов, торговцев тогда конфисковывались порой настоящие склады одежды, обуви, продовольствия, сельскохозяйственного и прочего оборудования. Все эти ценности подолгу хранились в милиции и финансовых органах).

В городе и окрестностях тогда стояла кавалерийская дивизия, которую командовал Леонид Григорьевич Петровский — сын «всеукраинского старосты» Григория Ивановича. Медведев дружил с командиром, и командиры-кавалеристы горячо поддерживали чекистов, обещали свою помощь.

Наконец с готовым проектом создания детской коммуны имени Ф. Э. Дзержинского мы пошли на бюро горкома партии. Проект был целиком одобрен. Нам выделили несколько отличных кулацких домов (правда, нуждавшихся в некотором ремонте) вместе с хозяйственными постройками, передали необходимое количество инвентаря, одежды, продуктов, в районе нашлись даже ставки для нескольких учителей.

Остальное все делали своими руками. В свободное от службы время мы приходили в коммуну, наводили там порядок. И среди чекистов и среди кавалеристов нашлись мастера на все руки: перестелили полы, крыши, наладили печи, застеклили окна. Наши жены все перемыли, сшили занавески, вдохнули в покинутые дома уют и дух жилья.

По распоряжению Леонида Петровского коммуне передали выбракованных лошадей, что в строй не годились, но для хозяйства пришлось в самый раз.

Не хватало наличных денег, но тут уж Дмитрий Николаевич проявил чекистскую сметку и деньги раздобыл: устроил сначала лотерею-аллегри, а потом и несколько концертов, в которых, кроме артистов самодеятельных, принимали участие и профессионалы из Житомира и Киева. Весь сбор шел, конечно, в пользу коммуны. Надо отметить, что биле-

ты Дмитрий Николаевич распространял сам, и случилось, что какой-нибудь богатый лавочник выходил из его скромного кабинета с тридцатью, а то и полусотней билетов.

Когда все было готово, в одну ночь чекисты вместе с милицией, работниками просвещения, бойцами кавдивизии провели общегородскую облаву. На станции, в стогах, заброшенных домах и сараях (традиционных асфальтовых котлов в Новограде-Волынском не было) собрали свыше трехсот голодных, продоргших, иногда больных маленьких оборвышей.

Ошеломленных беспризорников доставили в коммуны, тут же постригли, пропустили через жарко натопленную баню, накормили и переодели.

Так началась для них новая жизнь.

Нужно сказать, что не все наши питомцы были сиротами. Некоторые из них имели родителей, но давно утратили с ними всякую связь, растеряли адреса; малыши подчас даже не знали своих имен. Дмитрий Николаевич сделал все, от него зависящее, чтобы установить личность как можно большего числа детей. Он сам рассылал десятки запросов по всей Украине, привлекал милицию, обращался за помощью к своим друзьям-чекистам в других городах. Не сразу, не в один день и даже год, но многие коммунары благодаря заботам Медведева снова обрели отчий дом.

Порядки в нашей коммуне были самыми демократическими, жидлись они на полном ребячем самоуправлении. Всеми делами заправлял совет командиров, в который входили наиболее авторитетные воспитанники. Читатели, конечно, уже догадываются, что в своей работе мы опирались на замечательные традиции и опыт колоний А. С. Макаренки. И я и некоторые другие чекисты бывали в них и вынесли оттуда много полезного. (Кстати, над обеими колониями А. С. Макаренки тоже шефствовали чекисты.)

Описывать всю жизнь коммуны не буду — для этого потребовалось бы слишком много времени и места, к тому же никаких записок я тогда, к сожалению, не вел, а из памяти многое уже безвозвратно ушло. Скажу только, что жили ребята полнокровной жизнью, в классах шли нормальные занятия по всем предметам, старшие ребята работали по хозяйству и на производстве. (То, что ребята, достигшие 14 лет, могут не заниматься посильным трудом, тогда и в голову никому из нас не приходило, «проблема» трудового воспитания появилась много позже.)

Производство, кстати, у нас было не «игрушечное», так сказать, символическое, а самое настоящее, то есть общественно полезное. Мы обнаружили в Новограде-Волынском не больше не меньше, как целую деревообделочную фабрику с самым современным по тогдашним годам оборудованием. Фабрика эта была законсервирована на неопределенный срок и представляла большую ценность, но нам удалось через столицу Украины добиться, чтобы ее отдали во владение коммунаров.

Радости наших ребят не было предела. Ведь настоящий завод, настоящие станки означали для них и настоящие профессии, а профессия тогда ценилась очень высоко. Завод наш выпускал и мебель и стройдетали — много всего, реализация этой очень нужной продукции составила впоследствии основу хо-

зяйственного благополучия коммуны. У «дзержинцев» была и хорошая самодеятельность (даже два оркестра: струнный и духовой).

Характерно, что за всю историю был только один случай побега: в самый первый месяц бежали из коммуны двое ребят. Через несколько дней они сами вернулись. Совет командиров устроил им основательную головомойку. Заседали всю ночь напролет, перебрали беглецам все косточки, пока простили.

Дмитрий Николаевич все время, пока он работал в Новограде-Волынском, уделял коммуне много сил и внимания. Можно сказать, что это было его любимое детище. У него вошло в привычку каждый день после работы (а вернее, ночью, потому что рабочий день у нас в ГПУ кончался в два-три часа) заезжать верхом в коммуну, узнавать, что нового, что случилось хорошего, что плохого. Его белую лошадь, по кличке «Розали», дежурный обычно выглядывал еще издали и выбегал навстречу принять пово-



Иногда случались и свободные вечера — их Дмитрий Николаевич отдавал коммунарам целиком. Он был прекрасный рассказчик, и в лице ребят его увлекательные истории находили самых благодарных слушателей. Рассказывал Дмитрий Николаевич чаще всего о годах гражданской войны... Иногда мне кажется, что именно в этих рассказах перед замиравшей мальчишечьей аудиторией и проявился впервые литературный талант Медведева.

Новоград-Волынская коммуна имени Ф. Э. Дзержинского просуществовала несколько лет; подростки коммунары оперились, улетели в большую жизнь сложившимися, полезными для социалистического общества людьми. У многих отыскались родители, некоторых усыновили местные жители.

Каким-то чудом у меня сохранилось от той поры несколько фотографий, но, к сожалению, выпали из памяти фамилии и учителей и коммунаров. Не исключено, что кто-то из этих тогдашних ребят найдет себя на фотографии и узнает, быть может, впервые, что запомнившийся им веселый чекист «дядя Митя» и прославленный герой Отечественной войны Д. Н. Медведев — один и тот же человек.



Л. Славолюбова



«...НО Я ПОЙДУ ДАЛЬШЕ...»

Так сказал великому физика XVIII века великий физик XX века. «Прости, Ньютон, но я пойду дальше...»

Да, наука мертва без борьбы воззрений и гипотез, без дальнейшего развития любой гениальной мысли... Не будь классической физики, мир не имел бы теории относительности. Но последней не было бы и в том случае, если бы взгляды Ньютона оказались вне критики.

Элементарные истины. Однако забвение их — не столь редкое явление в науке. И тогда возникает затруднительная зависимость — нравственные критерии становятся ахиллесовой пятой сугубо научной проблемы. Самым слабым, уязвимым местом поиска, и Эйнштейн уже не может идти дальше Ньютона...

Этот спор продолжается в наши дни с гораздо большим накалом страстей, чем когда-либо. Его предмет уже не одно столетие — жгучая загадка естествознания, арена ожесточенных баталий.

Откуда нефть? Где она образовалась и что есть вообще?

Вы можете задать этот вопрос человеку, далекому от геологии, и специалисту, занятому проблемой всю жизнь, но объективному в оценках существующих гипотез,— ответ будет одинаков. Тот и другой скажет: не знаю...

В первом случае это действительно незнание. Во втором — предмет изучен настолько, что очевидна неприемлемость категорических суждений. Слишком сложная субстанция... К тому же вопросы происхождения нефти, рассеянные в осадочных породах, выходят за рамки узкого круга нефтяной геологии.

Итак, откуда нефть?

Ответ, как уже было сказано, не прост. Существуют два направления научной мысли.

Первое из них известно как органическая гипотеза. Исходным веществом для образования нефти сторонники этого направления считают остатки живых организмов, рассеянные в осадочных породах. Теория возникла в конце XVIII века в Европе.

Второе — гипотеза неорганического генезиса. Развитие ее в России началось с работ Дмитрия Ивановича Менделеева. Он полагал, что нефть образова-

лась в результате минерального синтеза из воды и карбидов — углеродных соединений металлов. Взгляды Менделеева поддерживались русскими учеными долгое время.

Обе гипотезы в том виде, в каком они возникли, отвечали на единственный вопрос: из чего. Из чего образовалась эта загадочная субстанция. В начале нынешнего века состояние проблемы характеризуется более широким исследованием. Работы геолога Г. П. Михайловского, академика А. Д. Архангельского, а чуть позднее И. М. Губкина дали новую жизнь органической гипотезе. Эти ученые сформулировали теорию нефтематеринских свит: нефть может образовываться только в определенных породах осадочного чехла. В так называемых нефтематеринских свитах — и нигде больше...

Однако со временем свиты стали самым уязвимым местом самой гипотезы. Произошло это следующим образом. Академик Губкин предполагал, что нефть может образовываться только в глинистых породах. Но ее стали находить в песчаниках, известняках и многих других отложениях. Признаки свит все более расширялись, и в один прекрасный день геология была поставлена перед альтернативой: или само определение потеряло смысл и никаких нефтематеринских свит нет, или все породы осадочного чехла должны производить нефть, а это противоречило фактам. Нефть нашли в вулканических и изверженных породах, в самом фундаменте — кристаллическом основании осадочного чехла. Спуститься вниз она не может, потому что легче воды... И если исходить из ее биогенного происхождения, возникал вопрос: как могли попасть в эти глубины древние животные и растения?

Сомнениям подобного рода немало способствовало и развитие смежных наук. В последние годы биология, геохимия, термодинамика, астрофизика и литология четко коснулись вопросов происхождения нефти. Все настойчивее стала заявлять о себе практика. Если раньше, когда объем буровых работ был невелик, поисковые партии могли обходиться своим опытом, то теперь потребность в научно обоснованных рекомендациях поиска и разведки обострилась до крайней нужды. Теория нефтематеринских свит уже не могла удовлетворить этих нужд...

Первым с иным решением проблемы выступил крупный ленинградский ученый, профессор Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного института (ВНИГРИ) Николай Александрович Кудрявцев. Вскоре его поддержал москвич, известный ученый, член-корреспондент Академии наук СССР Петр Николаевич Кропоткин. Чуть позднее — украинский академик Владимир Борисович Порфирьев.

Предложенная ими гипотеза не была строго менделеевской. Время, разумеется, изменило и пополнило ее, хотя ответ на главный вопрос — из чего нефть, живого или неживого? — остался прежним: из неживого. Да, она неорганического происхождения и образовалась в результате минерального синтеза. Или это первозданная космическая субстанция, появившаяся в процессе формирования Земли из протопланетного облака. (В современной астрофизике существует любопытная теория возникновения нашей планеты из первичного сгущения газов и пыли — так называемого протопланетного облака.) В любом из этих случаев нефтяные углеводороды концентрировались на глубине, а к поверхности поднялись по разломам в земной коре.

Новую гипотезу не приняли. Она была признана ошибочной. Статья тогдашнего работника министерства геологии А. А. Бакирова, напечатанная в номере девятого журнала «Нефтяное хозяйство» за 1951 год, называлась так: «О серьезных, принципиальных ошибках проф. Кудрявцева в вопросах теории происхождения нефти». Тем не менее через четыре года во Львове состоялось дискуссионное совещание по этим вопросам, и многие из присутствовавших на нем геологов уже были неорганиками.

Таким образом, ко времени всесоюзной дискуссии 1958 года в нефтяной геологии существовало и второе научное направление. Дискуссия приняла программу дальнейшего исследования проблемы. При этом немало тем было посвящено вопросам неорганического генезиса. К сожалению, именно этот раздел программы остался невыполненным. Изучением неорганического происхождения нефти в течение десяти лет (до новой дискуссии) занимались двое ученых в Ленинграде, трое — в Москве, ни одного — в Сибири и на Кавказе, двое — в Киеве и группа геологов и геохимиков во Львове. Хотя за неорганический генезис в эти годы решительно высказались крупнейшие советские ученые: академик А. В. Пейве, академик С. И. Субботин, член-корреспондент Академии наук УССР Г. Н. Доленко, известные ленинградские, московские и украинские ученые, доктора наук — В. А. Кротова, З. А. Маймин, И. В. Гринберг, В. Ф. Линецкий, А. И. Кравцов, Б. Ю. Левин и другие.

Недавнее совещание, в январе 1968 года, снова подтвердило существование двух точек зрения и приняло решение, рекомендуемое активно развивать обе гипотезы. Но многие ученые опасаются, что эту программу ожидает судьба первой. Прошло десять лет — вполне достаточный срок, чтобы понять, насколько согласны между собой намерения и действительность... А между тем новая гипотеза родилась вовсе не из упрямства ее создателей. Кроме противоречий в фактическом материале, существовала еще одна причина, связанная скорее с добрыми надеждами и будущим людей, чем с геологией.

Дело в том, что нефть, эта маслянистая, загадочная жидкость, не только предмет ожесточенных научных споров, но и очень нужное человечеству вещество. Однако прогнозы, основанные на теории ее образования в осадочных породах, весьма неутешительны: максимальная мировая добыча в 2000 году, затем резкий спад...

Так прогнозирует органическая гипотеза. Неорганическая же опровергает эти расчеты и говорит, что запасы нефти на планете практически неисчерпаемы. Только нужно глубокое бурение, и не исключено, что там, на глубине, — океан нефти, которого хватит человечеству на многие тысячи лет...

Я бы не посмела утверждать правоту какой-либо из спорящих сторон. Как знать, может, истина где-то посередине: в научном поиске возможны любые, порой самые неожиданные решения. В очерке речь не об этом. Автора волнует нравственная сторона проблемы, забвение в пылу спора тех элементарных истин, о которых начат разговор...

Около Памира, в тридцати километрах к северу от города Термеза, лежит безводная пустыня Хау-Даг. Если посмотреть на геологический разрез этой площади, то можно увидеть, что породы здесь сжаты и образуют выгнутую складку. Такие складки называются антиклиналями и часто бывают хорошими ловушками для нефти и газа. И эта антиклиналь могла бы привлечь разведку, но те отложения, которые считались в этом районе нефтематеринскими, были начисто размыты. Само собой следовало, что нефти на Хау-Даге нет и делать геологам тут нечего.

Однако Владимир Борисович Порфирьев, тогда еще органик, по этому поводу полагал иначе. Хорошо зная среднеазиатские структуры, он считал этот район нефтеносным. С единственной оговоркой — продуктивные пласты здесь гораздо глубже тех отложений, которые принимались за нефтематеринские. Его мысль, разумеется, не согласовалась с положением гипотезы органического происхождения нефти, но что делать?... Интуиция и опыт подсказывали ему, что недра этой безводной пустыни не бесплодны.

Порфирьеву удалось настоять на разведке Хау-Дага. Но в министерстве высказали надежду, что после провала он, вероятно, поймет все безумие идеи искать нефть глубже, чем ей положено быть...

Первая скважина оказалась «сухой». Вторую добуривали, когда Порфирьева призвали к ответу. Ему ставилась в вину дезориентация среднеазиатской разведки... фантастическими идеями. И вдруг за два дня до «суда» на Хау-Даге ударил фонтан нефти! Самый сильный фонтан... Прорвал несколько метров пород и разнес буровую вышку. Разумеется, такой финал исключал возможность всякого осуждения.

Шел 1935 год. Хау-дагскую нефть с той поры так и прозвали «идеалистической».

В порфирьевском характере всегда было много юмора. Мягкого, но безжалостного. Когда на Хау-Даге ударил фонтан нефти, Владимир Борисович подумал: «Ах, природа, природа, существо, именуемое Человеком Разумным, как и тысячи лет назад, во власти твоих прихотей... Сорвать такое мероприятие, как осуждение «идеалиста» Порфирьева!»

Впрочем, все было гораздо серьезнее. Через годы, на московском совещании 1958 года, он скажет об этом уже другими словами:

«Отмечу прежде всего, что занимаемая мной позиция не является данью какой-то моде, временному и несерьезному увлечению красивой гипотезой, пленившей мое воображение. И это не отказ от прежних увлечений. Нет, это логическое завершение более чем тридцатилетнего периода настойчивых и систематических исканий.

Я прошел сложный и трудный путь эволюции представлений в области проблемы изменения органического вещества в ископаемом состоянии. На любом этапе этих исследований для меня были одинаково

во важными и геохимический и геологический аспекты этой проблемы».

Нет, хау-дагский фонтан не мог быть случайностью...

А вот события другого, более позднего времени. Все изменилось. Глубокое бурение уже не вызывало ни обвинений в «идеализме», ни каких-либо упреков или недоверия...

Гипотеза неорганического, глубинного происхождения нефти оформилась как самостоятельное направление научной мысли. Порфирьев стал академиком Украинской Академии наук. Но «безумные» идеи не исчезли.

...Я встретила этого человека на улице в один из праздничных дней. Он шел среди неспешащей толпы, задумавшись и не выбирая дороги. Мы были знакомы, и я его окликнула.

Георгий Васильевич Рудаков руководит лабораторией физики и химии пласта в одном из научно-исследовательских институтов Тюмени; человек он очень интересный и образованный, защищает в этом году докторскую диссертацию. Выяснилось, что сейчас он никуда не идет, а просто ходит по улицам и никак не может отвлечься от мучающих его раздумий.

— Почему? — спросила я.

— Понимаете, — ответил он, — я усомнился. Нет, нет, не в гипотезе... (Рудаков — сторонник гипотезы неорганического происхождения нефти.) — А в правильности того пути, которым мы идем, пытаюсь это доказать...

— ?

— Вы хотите спросить, каков повод для такого сомнения? Видите ли, нефть занимает в природе совершенно особое положение. Все попытки смоделировать ее в условиях земной коры, как известно, терпят крах. И вот я пришел к мысли: если ее существо нельзя постигнуть исследованиями на молекулярном уровне, то почему бы не попытаться смоделировать функции нефти? Математически, на основе законов термодинамики.

Это было неожиданно. Ибо до того времени я знала Рудакова как автора интересных исследований миграции нефти, движения ее к поверхности по глубинным разломам земной коры. И сейчас от миграции к моделированию функций? От физики к кибернетике? Ну что же, для современного уровня знания это, может быть, уж не так далеко отстоящие друг от друга науки...

— ...Полтора года назад я посылал работу в Новосибирск, поскольку они там решают математические проблемы. Мне ее вернули. После этого она начала хождение по московским институтам, пока совсем не затерялась. Недавно я снова попытался представить свою мысль широкому научному обсуждению и написал в Киев, в Институт кибернетики. Вот теперь жду, но не придется ли ждать слишком долго, человеческая жизнь не бог знает какой кусок времени...

Что я могла ответить Георгию Васильевичу?..

Довольно трудно судить об истинности научной мысли тюменского физика, хотя она любопытна и говорит об оригинальном уме ученого. Гораздо больше меня обеспокоило после этой встречи другое — судьба «безумных» идей в истории науки. Или это такой урок, с которым человечество упрямо не хочет считаться?

Перечисление здесь могло быть бесконечным... Не признанные вначале, но потом оправданные и блистательно развитые идеи Фарадея. Теория Максвелла (для своего времени дерзкая и неожиданная мысль о том, что свет не что иное, как электромагнитные волны). Драматическая история немецкого археолога Генриха Шлимана, откопавшего гомеровскую Троику...

И, наконец, самый яркий в этом смысле урок — судьба основоположника термодинамики Юлиуса-Роберта Майера. Взгляды немецкого врача показались его современникам настолько «безумными», что Майер провед в сумасшедшем доме десять лет. Кстати сказать, там он и написал обессмертившие его работы.

Недавно мир отмечал столетие со дня открытия менделевских законов наследственности. И я, биолог с университетским образованием, только тогда узнала, что у этого человека было имя. Что он был великим исследователем. Менделя звали Иоганн Грегор. Иоганн Грегор Мендель... Но откуда я могла знать имя Менделя, если в мои университетские годы это слово употреблялось только как ругательство? «Реакционный менделизм-морганизм, псевдонаучный, идеалистический и т. д.»

А потом мы узнали удивительные вещи. Что Мендель, Иоганн Грегор Мендель, первым в биологии показал значение математики для решения кардинальных биологических проблем. Что десятки тяжелых наследственных заболеваний человека уже в скором времени будут излечиваться путем вмешательства в механизм наследственности. И что именно в руках генетики, цитогенетики, как пишет академик Дубинин, спасение человечества от самого тяжелого недуга — злокачественных опухолей.

Когда на дискуссии 1958 года неорганическая гипотеза происхождения нефти вызвала почти такие же обвинения, как в свое время — генетика и Мендель, профессор Кудрявцев рассказал один любопытный эпизод. В конце XVIII столетия представление о падении тел из космического пространства считалось в Европе вредным суеверием. И когда немецкий ученый Хладни опубликовал книгу, в которой доказывал космическое происхождение Палласова железа, первые отзывы утверждали, что это абсурд. Однако идеи Хладни были окончательно подтверждены падением метеоритного дождя в Эгле в 1803 году. В таком же положении, подчеркнул Кудрявцев, находится нынче, спустя 166 лет, гипотеза неорганического происхождения нефти...

Неприятная аналогия. Но, очевидно, у профессора для нее были основания... Долгое время после 1951 года его не печатали, он не имел возможности выступать перед аудиторией. И дело было не в нефти. Ему не могли простить дерзости самого протеста против представлений, ставших традиционными, канонизированными. Впрочем, академик Иван Михайлович Губкин не имел к этой канонизации ни малейшего отношения... Взгляды академика на происхождение нефти были провозглашены единственно правильными уже после его смерти.

Заслуги этого ученого перед отечественной геологией вне всякого сомнения. Что же касается происхождения нефти, то он вовсе не отрицал неорганического генезиса в природе. Он просто оговаривался, что месторождения эти должны быть незначительны. Губкин был терпим ко всяким новым воззрениям, и при его жизни нефтяная геология вполне обходилась без единой веры. Доживи он до наших дней, неорганическая гипотеза, вероятно, не встретила бы такого яростного неприятия. И может быть, судьба научных поисков профессора Кудрявцева не оказалась бы столь затруднительной.

На улице Репина в Киеве, где несколько лет проработал в Геологическом институте Академии наук В. Б. Порфирьев, много тополей. Высоких, под самое небо. И если в кабинете директора тихо, слышишь, как они шумят. Особенно осенью, облетая.

Я была у академика как раз в такую пору. Тополя шелестели за окнами, а мы говорили о хау-дагской нефти, о профессоре Кудрявцеве, о тюменских буровых, откуда я, собственно, и прилетела в Киев.

Владимир Борисович казался очень спокойным. Даже те далекие дни, когда его собирались судить за Хау-Даг, вспоминал без малейшей тревоги.

— Мне все время удивительно везло, — говорил он с улыбкой. — То фонтан нефти ударит, то оправдаются «идеалистические» прогнозы. Истина объективна, она сильнее наших страстей.

Да, разумеется. Философская непререкаемость этой мысли в известной степени могла бы успокоить. В конечном счете Истина действительно сильнее отдельных времен, отдельных людей и их заблуждений.

Облетали листья за окном, и казалось — очень тихо на земле. В Киеве стояла осень, а к нам уже давно пришла зима. Дороги в тайге засыпало снегом, и вертолеты раскачивались в непогоду над буровыми... Та жизнь была нелегка. И сейчас я видела не киевские тополя, а мой север... Богатый нефтяной край, который нуждается в помощи науки так же остро, как живые люди — в воздухе.

...Шумели листья, и голос академика был спокоен. А мне виделся сырой ленинградский вечер и человек, который долго, отрешенно смотрит в пелену холодного дождя... Почти восемнадцать лет отставал профессор Кудрявцев свое право ученого иметь не общую точку зрения на одну из сложнейших проблем человеческого знания...

«Если Истина в ее философском аспекте, — подумала я тогда, — и впрямь сильнее наших страстей, то значит ли это, что мы не ответственны за свое время?»

Это случилось в октябре 1958 года.

Дискуссия кончалась, и профессор понял, как устал за эту неделю. Шесть дней волнений, шесть дней нервозности. Но какая истина добыта в споре? Предположим, никто и не ждал, что решение проблемы «откуда нефть?» дискуссия преподнесет на блюдечке... Но могла же официальная теория признать хотя бы гипотетическую правомерность своей соперницы!

Совещание напоминало Порфирьеву андерсеновский бал после двенадцати ночи, когда прекрасная принцесса исчезла и никто не знает, где ее искать... Откровенности не получилось. Слишком много обвинений, слишком много оправданий, а то, что между ними, не по существу разговора. Академик не хотел говорить, но ему дали слово в заключительных выступлениях, и он поднялся на трибуну.

И сейчас же увидел строгое лицо Кудрявцева.

Николай Александрович сидел прямо, скрестив на груди руки, и немгающими, жесткими глазами смотрел перед собой. Порфирьеву стало не по себе. Три дня назад Кудрявцеву исполнилось шестьдесят пять. Его поздравили здесь же, на совещании. Аудитория долго не смолкала, приветствуя известного ленинградского профессора. А потом случилось то ужасное, что Порфирьев воспринял как беду...

Один товарищ, член оргкомитета дискуссии, выступая, высказал надежду, что, мол, «неорганики» стары и скоро сойдут со сцены. В нефтяной геологии наступит мир и благоденствие — никакого инакомыслия, никаких споров.

В зале стало тихо. Вот тогда Порфирьев и почувствовал, как стены падают на людей. «Так не спорят, — подумал он, — так убивают». И через мгновение увидел длинную, худую руку Кудрявцева. Профессор встал и, отчеканивая каждое слово, сказал:

— Все мы смертны, умрете и вы, члены оргкомитета! Но не случится ли с вами то самое, что вы пророчите другим? И не умрет ли с последним из вас ваша теория?

Потом Порфирьев долго пытался понять, почему это событие так взволновало его. Само напоминание о том, что люди уходят, еще не несло в себе ничего нового. Уходят целые поколения, однако, как сказал поэт, «вечно зелено дерево жизни».

Наконец он понял свою тревогу. Они, старшие, уйдут, но кто придет? Кто те люди, которым он оставит все — от научной гипотезы до нравственных убеждений, от малейшей ошибки до выстраданных зерен Истины.

Академик начал говорить. В зале было много молодых. Скользя взглядом по их лицам, он неожиданно успокоился. И сказал последние слова легко, словно сеял по весенней пашне:

— Мы уже стары и устали. За плечами у нас длинный путь тяжелых испытаний... Ваш ум гибок, подвижен, и над ним не довлеют традиционные представления. Позвольте мне на прощание пожелать вам успехов... Вы были свидетелями борьбы идей. Боритесь и вы за свои идеи, но не бойтесь признать свои ошибки... Проще и легче плыть по течению, приравливаясь к мнению большинства. Намного труднее идти против течения.

Он-то хорошо знал об этом...

— ...Не принесет вам этот путь успеха и славы. Но на склоне ваших дней, подводя итоги всей вашей жизни, вы с гордостью повторите слова нашего знаменитого поэта и ученого Василия Кирилловича Тредиаковского: «Ну что ж! Довольно с нас и сия великия славы, что мы начинали...»

Потом был перерыв, и зал опустел. Только один человек не ушел. Парень сидел неподвижно, погруженный в свой мир. «Может, стихи пишет? — подумал Порфирьев. — Да, именно сейчас, на золотом листе воображения? Забавно, но не исключено...» Академик улыбнулся. «Ну-ну, — сказал он себе примирительно, не желая ничего знать о той стене, которая падала на людей, — посмотрим, какие цветы вырастут в новом саду...»

И вот прошло десять лет.

РАССКАЗ ВЛАДИСЛАВА НИКОНОВА, КАНДИДАТА ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ НАУК. ТЮМЕНЬ.

Нет, нет, это началось совсем не с московской дискуссии. И даже не с совещания в Ленинграде в 1957 году, где я впервые увидел и услышал Кудрявцева. Все началось с противоречий в фактическом материале, в моем материале.

Еще по давним прогнозам, основанным на положении органической гипотезы, нефть и газ Западной Сибири предполагались в мезозойских отложениях. Наша геологическая партия, в которой я работал после университета, исследовала как раз эти отложения. Однако органическое вещество, которое нам встречалось и должно было быть нефтематеринским, явно тяготело к углеродистому веществу угольного типа, а не к нефти. А сеноманские отложения — это сущее море сюрпризов! Ведь в них почти не было органического вещества, и, следовательно, не из чего было образоваться нефти и газу... Но именно в сеномане были открыты уникальные запасы тюменского газа!

Особенность нефтяной геологии как науки как раз в том, что ее развитие постоянно стимулируют нужды практики. Тем более остра эта зависимость в таком крае, как Тюменская область. У нас действуют

и строятся мощные трубопроводы, область имеет перспективу нефтяного и газового мирового гиганта. И на фоне этих успехов, как в зеркале, отражена одна из величайших трудностей освоения — острый дефицит научных рекомендаций поиска и разведки. Достаточно вспомнить те годы, когда тюменские геологи безнадежно искали нефть в южной части области. А березовский газ, положивший начало северному освоению, открыт случайно.

Лет пятнадцать назад совет по опорному бурению при министерстве геологии наметил пробурить в области несколько опорных скважин для исследования геологического строения низменности. Одну из них запланировали на северной речке Казыме, в болотистом, труднодоступном месте. Геологам, которые должны были бурить эту скважину, удалось добиться перенесения точки к поселку Березово. А начальник партии Александр Григорьевич Быстрицкий вторично — на этот раз самовольно — перенес скважину еще на два километра ближе к поселку. Он получил за это выговор и был переведен в другое место. Однако вскоре после его отъезда в Березове ударил газовый фонтан, как раз из той скважины, за которую Быстрицкий, ныне лауреат Ленинской премии, получил взыскание.

Потом выяснилось, что первоначальная точка скважины на речке Казыме лежала вне контуров газоносного района. И, значит, чистейшая случайность, связанная еще к тому же с нарушением рекомендаций ученых из совета по опорному бурению, и привела к открытию северного газа в Тюмени...

С нефтью, к сожалению, было не лучше. Сколько лет безрезультатно бурили в Увате! И все потому, что органики полагали наиболее перспективными в Западной Сибири сильно насыщенные органическим веществом юрские отложения. Такой была юра в Уватском районе, Тюменской области. Но нефть нашли совсем в другом районе — Широном Приобье — и в других отложениях — меловых, залегающих на тысячу метров выше юры и бедных «благоприятным» органическим веществом.

Запнувшись о такое, начинаешь думать... Однако я не сразу стал неоргаником, а еще некоторое время пытался примирить противоречия. Но компромиссы — дело ненадежное. И потому, когда мы в первый раз встретились с Николаем Александровичем, мои сомнения уже не только существовали, но через них наметились пути самостоятельных выводов и решений. В частности, у меня по поводу раздельного генезиса нефти и газа.

Я, собственно, все это рассказал в защиту своего поколения. Не надо о нас беспокоиться. Мы идем своими путями.

А вот совсем другой рассказ. Об одном моем разговоре. Происходил он в Ленинграде и ввиду своей исключительной откровенности вряд ли нуждается в комментариях.

Симпатичный товарищ с видом интеллигентным и по-человечески обаятельным сидел на столе (разговор происходил в коридоре одного института, в непригнутой обстановке) и рассуждал спокойно, ничуть не затрудняясь ни остротой темы, ни оценками.

— Вы знаете, — говорил он, — я стараюсь быть объективным. Меня даже иногда упрекают в дуализме. Так вот, к неорганикам у нас в институте отно-

сятся вполне терпимо. Они работают, защищают диссертации. Хотя Николай Александрович Кудрявцев — трудный человек: слишком претенциозен. Столько лет с таким упорством насаждать свои идеи!.. Я иногда удивляюсь терпению наших руководителей.

— А как вы смотрите на предстоящую дискуссию? Имелась в виду вторая московская дискуссия, которая состоялась прошлой зимой.

— О, она предпринимается с единственной и очень серьезной целью. Пора все кончать. Можно было бы терпеть Кудрявцева, но канитель развращает молодежь. Появилось модное увлечение неорганической гипотезой. Дискуссия раз и навсегда покончит с этим. А нам, — и он очень обаятельно улыбнулся, — перейдут их деньги и штаты...

Потом я узнала, кто он. Молодой ученый, кандидат геолого-минералогических наук. Работает в группе известного ученого. И хотя шеф молодого кандидата не разделяет гипотезы неорганического происхождения нефти, но вполне лоялен по отношению к Кудрявцеву. А может быть, просто равнодушен... Я думаю: не окажись справедливым последнее, его ученик был бы другим.

Мне стало нехорошо, трудно после этого разговора. И я долго ходила тогда по ночному городу. Кончался октябрь. Может быть, в тот день упали последние листья. Вода в реке уже ничем не пахла, и все казалось странно облегченным в этот канун иных дней.

Люди встречались редко. Неожиданно из темноты возникли две фигуры — они отделились от парапета набережной и пошли чуть впереди. Это были ребята. Наверно, студенты первого курса. И то, что один говорил другому, гулко разносилось в воздухе:

— Нет, ты знаешь, это было необыкновенно. Она остановилась вдруг и сказала:

— На холмах Грузии лежит ночная мгла... Шумит Арагва предо мною.

— Ну а дальше?

— Мне грустно и легко, печаль моя светла! Печаль моя полна тобою...

— А дальше, дальше?

— И дальше так же необыкновенно. Она говорит, а мы рты раскрыли. Я не могу объяснить, в чем дело: ведь это обыкновенный Пушкин, мы его в школе проходили.

Они свернули на Лиговку и затерялись в пересекающихся огнях проспекта. Сразу стало много людей. Они шли по улицам, громко разговаривая. По асфальту скользили ночные троллейбусы — жизнь продолжалась.

Тогда я и поняла, как ответственны за эту жизнь ребята, только что читавшие пушкинские стихи. Как ответственны молодые. Ответственны за поэзию и науку, за судьбы будущих Кудрявцевых и Порфирьевых.

Это и было ответом на тревогу старших: кто они, что придут после нас? И теперь я знала — придут честные, требовательные. Выучившиеся терпимости, тому драгоценному качеству, что велит уважать чужое мнение, принимать с мудростью всю трудность научного поиска. Готовые к борьбе — рыцарской, непримиримой, сопряженной с любыми сложностями и потерями. Борьбе, без которой невозможны настоящие открытия.



ГОЛОСА ВОЙНЫ

Около пяти лет радиостанция «Маяк» ведет передачи, в которых родители, уже совсем немолодые люди, разыскивают пропавших во время войны детей. Дети, теперь сами взрослые, ищут родителей или близких. Брат — сестру, сестра — брата. Около пяти лет в эфире звучат голоса, полные отчаяния, любви и надежды. А со времени окончания войны минуло почти четверть века.

Казалось бы, простая и одновременно значительная мысль: повторить в миллионах голосов слова ребенка, зовущего мать, отца, слова матери, обращенные к детям, чтобы слышали их в каждом городе, в каждом селе, в любом доме огромной страны, чтобы раздавались они в радиоприемниках земного шара. Лишний раз убеждаешься, что решения, самые простые и важные, очень нужные людям, приходят не просто, не сразу, не всем. И первой счастливую мысль о радиопослках по письмам и воспоминаниям осуществила Агния Барто, известная писательница.

О том, как проходят эти передачи, о поисках, в которых участвует множество людей, о волнующих историях в письмах, где через два с лишним десятилетия почти чудом соединяются семьи, разрушенные, разбросанные по всему свету минувшей войной, рассказала Агния Барто в журнале «Знамя». Ее записки так и названы — «Найти человека».

Редакция, предоставившая свои страницы писательнице, никак не определяет жанра рукописи, хотя и поставила ее там, где обычно располагается в толстом литературном ежемесячнике проза, то есть основные, прежде всех адресованные читателю произведения. Работа А. Барто и не нуждается в каких-либо жанровых определениях. Книга А. Барто «Найти человека» — документ большой человеческой силы, страстное журналистское полотно, что, будучи написанным, не может задерживаться на пути к читателю рамками пусть даже самого быстрого книжно-издательского времени.

Пожалуй, не стоит сейчас рассказывать, как развивался тот или иной поиск. Читатель сам может с каждым из них познакомиться, прочитав записки и дневники А. Барто. К тому же трудно из множества драматических судеб одной или двум отдать предпочтение. В конце публикации Агния Львовна приводит отрывки из своего дневника, где помечает, что 7 апреля 1968 года состоялась триста тридцатая встреча соединившихся семей. И тут же добавляет: встреч было значительно больше. Ведь, как правило, находили друг друга сразу же несколько братьев и сестер.

Если представить, что в течение четырех лет каждые три — пять дней разобленные войной люди спустя четверть века обретали друг друга, то статистика эта всякому принесет радость. За нею стоят порой полные отчаяния письма, обращения, призывы: «Мою

пятилетнюю дочку немцы убили на моих глазах... Сын Толя Ферапонтов был отправлен в детский приемник. Архивы не сохранились, следы сына исчезли», «Одну мою дочь сожгли в печах Освенцима... двадцать лет ищу вторую дочь — Шуру Королеву. У нее на левой руке ниже локтя выжжен номер 77325»...

Поисками родственников, пропавших без вести, как это подчеркивает А. Барто, занимаются и государственные организации. Добавим — преимущественно государственные. Они вновь соединили тысячи и тысячи семей. К помощи «Маяка» прибегают тогда, когда для официального запроса нет совершенно никаких данных. Государственному розыску необходимы точные сведения. А сколько в условиях трагического быта войны попадалось ребятшек, что так и не смогли назвать свою фамилию? Бились с ними взрослые и в конце концов давали фамилию или тех, кто находился в комнате под рукой, или по месту обнаружения ребенка, или еще по какому сопутствующему обстоятельству. Врач определял возраст. И объявлялся на белом свете никому неведомый ранее человек, не помнящий своего родства, дитя народной беды. А другой человек, кем он был недавно, бесследно исчезал среди боев и пожаров.

Совсем ли бесследно? Нет, с ним оставалась его депка детская память, хранящая смутные и дорогие ему детали прошлого, порой целые картины былой жизни. И как бы ни складывалась судьба, человек не мог примириться с мыслью, что никогда не узнает, кто же он, откуда. В памяти сохранилось: «Отец пришел прощаться, я спряталась под стол, но меня оттуда извлекли. Отец был одет в голубую гимнастерку с самолетами, огромный кулек яблок (красных, больших) он принес мне... Ехали на грузовике, я крепко держала в руках игрушку, корову...».

Но чем поможет такому человеку официальный розыск? Куда отправит весточку? Куда пошлет своих следопытов? Страна велика, дорог тысячи, людей миллионы. А вот радиопередача может помочь. Она сразу же ведет опрос миллионов, она обращается к сердцам и памяти громадного количества людей.

И душа всего этого, центр, куда тянутся все нити, — Агния Барто. Это ее благороднейшая гражданская миссия.

Но каким бы важным делом ни были сами поиски, какую бы великую радость ни приносили нам известия о том, что еще одни дети обняли своих родителей, значение передач «Найти человека» куда больше. Четыре года подряд они всякий раз заставляют оглянуться назад, вернуться в грозное время Великой Отечественной. Голоса, звучащие в эфире, а теперь и заметки о них А. Барто — грозное предостережение. Они словно еще одна рука человечества, занесенная над угрозой новой войны.

Валентин ПРОТАЛИН



«ОСОБЛИВЫЙ ЯЗЫК»

В № 12 «Молодой гвардии» за прошлый год поэт Иван Лыцов в пространной статье делится с молодыми писателями своим творческим опытом. Хотя он и признается, что «я и сам еще не вышел из молодого возраста, принят в Союз писателей только три года назад», речь его звучит весьма уверенно.

Замечательно прежде всего, что, всемерно облегчая задачу грядущих биографов, И. Лыцов на протяжении статьи детально освещает свой жизненный путь. Мы узнаем, где он родился, где и как провел детство, отрочество и юность, получаем сведения о ближайших и дальних родственниках поэта и т. п. Не дожидаясь опять-таки выводов будущих историков литературы, И. Лыцов сам объясняет, чему он «обязан своим вхождением в доподлинную, живую, а не бумажную, формальную поэзию»...

«Свою языковую программу... — сообщает поэт, — я высказал в первые же дни учебы в Литературном институте... Снобы, услышав мои первые стихи (далее идет перечень этих ранних сочинений поэта), наперебой отговаривали меня». Но поэт оказался стоек. И, разумеется, его стихотворение «На Заманном лугу», впервые напечатанное в «Дне поэзии» 1963 года, вызвало «споры».

Мы узнаем также, что «подстепье», где родился И. А. Бунин, — «родина и моих родителей», что поэт «не один год» разбирает рукописи начинающих авторов и что «во все края страны разослал я около двух тысяч страниц отзывов... Честно говоря... — признается поэт, — одаренных людей среди моих корреспондентов считанные единицы... Всей этой неисчислимой и неистребимой рати рифмачей так и доводится порой отвечать: милый человек, не твой это хлеб, займись чем-либо полезным...»

Если бы подобное сочинение появилось на последней полосе «Литературной газеты» за подписью Евг. Сазонова, можно было бы и промолчать. Но в данном-то случае статья может быть принята всерьез не только отдельными лишенными юмора читателями. Если, мол, Лыцов сам так о себе пишет, подумает иной, он, вероятно, какой-нибудь не замеченный мной титан русской поэзии, у которого надо учиться и писать и понимать стихи!

Что же за «программу» предлагает И. Лыцов? Она проста. Необходимо употреблять «неиспользованные, забытые или полужабытые россыпи слов. И чем больше их знает писатель, тем богаче и красочней нарисует он перед нами картину, тем гибче и полнее донесет он до нас свою мысль»; писателю прежде всего нужен «особливый язык». Или еще короче: «Писатель — это словарь» (данный афоризм, завершающий статью, И. Лыцов почерпнул из книги А. К. Югова).

Большая часть статьи И. Лыцова посвящена рассказу о том, «как лично я обогащаю свой словарь, что и где ищу, чем еще в науке о языке увлекаюсь».

И. Лыцов приводит массу русских географических названий, диалектных и просторечных выражений,

разного рода архаизмов. Эта фактическая сторона его статьи сама по себе очень полезна и хороша. Далеко не каждый читатель имеет желание и возможность обратиться, скажем, к соответствующим словарям и сборникам.

Однако в некоторых местах И. Лыцов начинает теоретизировать по поводу собранного им материала, а это получается у него хуже. Он пишет, в частности: «Мое пристрастие к самоцветному слову повелось сыздавна. А вот этимологией — этой благодатнейшей для поэта наукой о происхождении слов — заинтересовался совсем недавно». Последнего можно было бы и не сообщать. И. Лыцов дает, например, совершенно фантастические этимологии слов «борщ» и «береза», а чередования согласных звуков называет «чередованием суффиксов».

Но не будем придираться к частностям. Обратимся к главной, основной идее: «писатель — это словарь», чем больше слов знает писатель, тем «богаче и красочней» его произведение.

Не станем спорить с И. Лыцовым в теоретическом плане. Обратим внимание на практические плоды его «программы».

В № 8 той же «Молодой гвардии» помещен цикл стихов самого И. Лыцова, которые с очевидностью реализуют его «программу». Разбирать все стихи невозможно. Но вот наиболее, пожалуй, «яркое» в языковом отношении стихотворение — «Князь на севе». Здесь целый набор «не использующихся» ныне слов — ланиты, росс, иссыта, ископыт, длань и т. п. Действие происходит в Древней Руси. Князь (собственно-ручно) сеет пшеницу; ему доносят, что готовятся нашествие хазар, которые затопчут поле. Но он уверен в победе над врагом и мужественно продолжает посев.

Не будем придираться к целому ряду исторических несообразностей стихотворения, ибо И. Лыцов непосредственно не претендует на знание истории. Он писал свою статью для тех, кто, по его словам, «не знает глубинного русского языка». Обратимся лучше к языку стихотворения, призванному воссоздать древнерусский колорит. К сожалению, здесь всего не охватишь — беру только наиболее дикие ляпсусы.

О князе говорится: «Он, росс, не подданный хазаров». «Росс» — это книжное слово, получившее распространение лишь в XVIII веке. Появление его здесь совершенно нелепо. Сказать «хазаров» — то же самое, что сказать «татаров», вместо «татар». Кстати, для понимания этого вовсе не нужно знать «глубинный русский язык». Далее: «Он, княже, научился время ценить...» Это не лезет ни в какие ворота, ибо «княже» — звательная форма и уместна только в обороте «ты, княже». «Дозор... донес: разор готовят пашне кочевники, каких лупил». Не говоря уже о нелепости оборота (ибо получается, что дозор «лупил» кочевников), само слово «лупил» в древнерусском языке не употреблялось в этом значении.

В стихотворении бессмысленно перемешаны старославянские и исконно русские слова. Так, с одной

стороны, «враг» (а не «враг»), с другой же — «князя длань (а не «долонь» или позднейшее «ладонь») в подоле». Замечательно, кстати, что князь держит зерна в подоле, а не в кошнице! Не менее великолепно, что князь идет, «бросая жито от ланит» (то есть щек!). «Ланита» — старославянское слово, бытовавшее на Руси как чисто книжное и к тому же гораздо позднее. О пшенице: «Клонясь ему в поклон». Можно сказать «согнулся в поклон», или «отвесил поклон», или «приветствовал поклоном», но И. Лыццов безошибочно избирает немислимый оборот, хотя, по его уверениям, он имел возможность «научиться различать и пользоваться всем многообразием... синтаксических и стилистических форм».

Впрочем, кажется, все ясно. Но стоило ли так нападать на Ивана Лыццова? Ведь он сам признается, что «еще не вышел из молодого возраста». Сколько же

ему лет? В статье — несмотря на подробнейшую биографию — год рождения поэта не указан. Но это, очевидно, лишь потому, что в своей маленькой рецензии, помещенной в № 1 той же «Молодой гвардии» за тот же год, поэт уже объяснил, что ему 34 года. В этом возрасте — пусть не очень старом — пора уже нести всю меру ответственности за свои слова.

В заключение хочется привести одну очень понравившуюся мне фразу из статьи Ивана Лыццова: «Бывают и такие казусы, когда человек, называющий себя писателем, и вовсе не имеет вкуса к слову и сморозит в строке такое, что осадит его можно только пословицей: «Э, дура — непасёная речь!»

Вот тут, пожалуй, не с чем спорить.

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Разговор продолжается

В последнем номере «Юности» за прошлый год редакция предложила читателям возобновить разговор о выборе профессии. Мы опубликовали письмо тридцатитрехлетнего инженера из Орла М. Левинова, который отрекомендовался как «окончивший институт не по призванию, работающий не по специальности».

— Не пора ли, — спрашивал автор, — покончить с разговорами, «что каждый может найти себе профессию по душе, что все профессии интересны и что главная проблема — разобратся, куда тебя тянет?»

Левинов утверждал в своем письме, что добиться желаемой профессии можно лишь при стечении счастливых обстоятельств, которые не зависят от самого человека.

В том же номере «Юности» журналист Л. Тимофеев, возражая М. Левинову, разграничил понятия романтики труда и внешней романтичности профессии. Он призывал молодежь «усмехнуться советам неудачников (или успешных хапуг — все равно), учившихся не по призванию и работающих не по специальности, и искать своего пути в жизни, пути по призванию, по влечению сердца и своей профессиональной деятельностью активно вмешиваться в жизнь».

Письма, которые мы печатаем в этом номере, познакомят вас с мнением читателей, откликнувшихся на спор Левинова и Тимофеева.

ЖИВУ, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ, РАБОТАЮ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

Я прочел в двенадцатом номере «Юности» за прошлый год письмо Левинова и решил высказать и свое мнение о выборе профессии.

Я, наверное, согласился бы с Левиновым, если бы бросился в институт, как он предлагает, сразу после школы. Я этого не сделал: пошел работать на завод. Сменил не одну профессию, но вот уже седьмой год работаю слесарем-инструментальщиком.

Работа с металлом сложная, требует определенных знаний, навыков. Иной раз глядишь, как станок работает, и мыслишь, что, если сделать небольшое изменение, он будет работать в два раза быстрее. Начнешь обдумывать это дело, предполагать, а как дойдет до сложных расчетов, как начнешь справочники перебирать, формулы искать, вот тогда и видишь, что учиться надо. А что учить? Ну, конечно, по специальности, чтобы легче было в этих справочниках разобратся, чтоб не один станок перестроить. Теперь я знаю, что надо, что буду учить, знаю: сейчас я на своем месте и потом тоже буду на своем.

Когда я кончал школу, большинство товарищей рвалось учиться дальше. Какое представление имеет человек в семнадцать лет о труде и дальнейшей жизни?

Туманное. Один идет в медицинский, другие в политехнический, сельскохозяйственный и так далее. Некоторые уже выбрали свой путь сознательно. Но есть такие, кто руководствуется побочными соображениями. Там не надо математику сдавать, там конкурс меньше, там еще что-нибудь...

Уверен, что кое-кто из таких моих бывших соучеников со временем заявит: «Учился не по призванию, работаю не по специальности».

Учиться никогда не поздно. Ум не закисает, если он хорошего качества. Если же человек мыслит о том, как «устроиться», «пробить дорогу», «выбиться в люди», то такой человек к тридцати трем годам чувствует опустошение и видит, что находится не на той дороге.

Наша страна велика, и у каждого есть возможность найти место в жизни. Не обязательно быть ученым, чтобы мыслить творчески. Человек находит удовлетворение в любой работе, если он на своем месте. И я его нахожу в своей, хотя и буду еще учиться. Но «выбиваться» в люди мне не надо: ведь я среди людей живу. Живу, чтобы работать, работаю, чтобы жить.

В. БОГДАНОВ,
слесарь-инструментальщик

г. Могилев,

РОМАНТИКА — ЭТО ТРУДНОСТИ

Прочла я письмо М. Левинова из Орла и ответ ему Л. Тимофеева. Ни с тем, ни с другим я полностью не согласна. Не стоит спорить, интереснее ли быть артистом, писателем, физиком, летчиком или, наоборот, дворником, продавцом газированной воды. Я считаю, что существование таких профессий, как дворник, грузчик, рабочий на конвейере, продавец — вопрос времени. В будущем не останется тяжелого физического или просто нудного труда. Автоматика, телемеханика и человеческий разум избавят людей от необходимости делать такую работу.

Только есть два «но».

Первое — это то, что пока в настоящее время нужны все эти нелегкие профессии и от этого никуда не денешься. Ведь никто за нас не будет строить то будущее, в котором не будет места тяжелому физическому или просто неинтересному труду. А пока оно, это будущее, завоевывается вот этим тяжелым трудом, нельзя считать его нетворческим. Сейчас это нужно, без этого нельзя обойтись, так будем относиться к нему как к творческому и с уважением!

Другое «но» заключается в том, что не все люди (и их большинство) способны быть физиками-ядерщиками, математиками, космонавтами (кстати, это сейчас еще пока тоже и тяжелый физический труд!), крупными специалистами медицины, композиторами, писателями, журналистами, художниками, артистами. На это нужны талант, здоровье, упорство, знания — словом, выдающиеся способности. А от человека бесполезно требовать больше того, что он может дать.

Теперь о романтике.

Она чаще всего ходит как раз рядом с трудностями. По-моему, романтика — это прежде всего необычность. Она там, где тяжело до хруста костей, а надо сделать, выстоять.

Когда шагаешь по гостиницам в поисках места, едешь зайцем в поезде, потому что не достала билета, пятье сутки без сна держишься только черным кофе, анекдотами из жизни наладчиков и записями на магнитофонной ленте, то как-то не думаешь о романтике. Тут схемы барахлят, на носу государственная комиссия, а дел невпроворот — какая уж тут романтика! И делаешь и свое и не свое дело, коротче, то, что надо.

А вот потом дома, вернувшись снова в тепло, к телевизору и ванной (два часа отмокаешь), вспомнишь снова все и скажешь, что это и есть та самая романтика, о которой так много спорят и пишут. Поживешь неделю среди тишины, домашних обедов и всякой цивилизации — и снова неудержимо потянет к неустроенности командировочной жизни.

Вот понаписала всего сразу, в одну кучу. Может, наивно немного. Мне девятнадцать. В двадцать семь, может, буду по-иному рассуждать обо всем этом.

Сейчас у меня очень мало и опыта, и знаний, и умения обращаться с разными людьми. И много сомнений. В себе, своих способностях. Но мир не без добрых людей. Ошибусь — поправят.

Нина МОТОРИНА,
техник-наладчик

Московская область,

ЧТО ТАКОЕ НЕУДАЧНИК?

Недавно мы с товарищами прочли письмо инженера М. Левинова в почте «Юности».

Это письмо вызвало у нас огромное возмущение. Левинов хочет, чтобы человек, окончивший школу, не стремился к достижению своей мечты, а пошел путем мелкого обывателя, каким стал, очевид-

но, сам Левинов. Но как же можно жить и приносить пользу обществу, если ты чувствуешь себя не в своей тарелке? У каждого молодого человека, окончившего школу, есть мечта, которая подсказывает ему дорогу в жизни. И если это настоящий человек, который действительно хочет добиться своей цели в жизни, ему не страшны любые зоны сопротивления, он будет идти своей дорогой и в противоположность М. Левинову добьется желаемого.

Никакие внешние обстоятельства не могут помешать достижению желаемой цели, если человек выбрал ее сознательно и добивается упорно. И еще я убедился, что неудачников, как таковых, нет, а есть лишь люди, которые примиряются со своими неудачами и не хотят побороть препятствия.

Валентин ТАЛАНОВ,
курсант

г. Севастополь,

ИДИ ТУДА, КУДА ТЕБЯ ВЛЕЧЕТ МЕЧТА!

Читая письмо Левинова, невозможно остаться равнодушной. Вопрос, о котором он пишет, меня волнует особенно потому, что я принадлежу именно к тем миллионам, которые заканчивают в этом году школу и о которых говорит Левинов.

Автор письма пишет, что нужно торопиться, иначе будет поздно, а разобраться, куда тебя тянет, не обязательно. Главное, по Левинову, — пробить дорогу в институт, все равно какой.

Левинов не одинок. Есть такие ребята, которые стремятся пробить дорогу в любой институт.

У нас в школе проводился диспут «Твоя мечта». Разгорелись жаркие споры. Говорили о значении профессии в жизни, о том, как добиться осуществления своей мечты. Одна девушка, спокойно слушавшая наши споры, вдруг сказала несколько слов, которые заставили задуматься многих: «Хочу поступить в любой вуз, чтобы вращаться в среде студентов и вообще иметь высшее образование».

Наступила тишина. Мне казалось, я знаю, о чем все думают. Ведь эти мысли последнее время преследуют и меня. А если не поступлю туда, куда мечтаю... Что делать? Терять год или даже годы? Поступить в вуз, где меньше конкурс? Но тогда как связать это с разговорами о значении профессии, о романтике и благородстве?

Часто встречаешь таких, как Левинов, которые стремятся в тот вуз, после окончания которого больше заработки, лучше живется, или в любой институт, лишь бы получить высшее образование, «выбиться в люди».

Вот и кончают институты агрономы, которые не любят землю, врачи, которые не любят больных, педагоги, которые не любят детей. Пропадает диплом, пропадают пять лет жизни и нелегкого учебного труда.

Если ты просто стремишься пролезть в «ту группу, которая живет, чтобы работать», считай, что тебе все равно это не удалось. Кем бы ты ни был, ты останешься неудачником, окончившим институт не по призванию, работающим не по специальности.

Нет, мне непонятно, зачем Левинов призывает молодежь, не раздумывая, пробивать дорогу в институты? Ведь ему-то это не принесло удовлетворения.

Гая ЛЕВИЦКАЯ

г. Днепропетровск,



Наталья Рыженко, Виктор Смирнов- Голованов

«Настала пора отдачи»

Эти двое — Наталья Рыженко и Виктор Смирнов-Голованов, солисты балета Большого театра, — претерпевали долгое ученичество, определяя себя в новом качестве — балетмейстеров.

Первая же их работа — телевизионный фильм «Ромео и Джульетта» (на музыку Чайковского) — сняла успех сначала в Лондоне, на международном симпозиуме цветных телефильмов, где его заказало несколько десятков стран, а потом на фестивале в Монте-Карло. Там их небольшая лента получила приз за лучшее пластическое выражение классики на экране.

Мы сидим с ними на кухне, потому что где же еще у современных людей и в современной квартире есть стол, за которым едят... И потому еще, что обе комнаты целиком «служат» искусству. Там стоит рояль, там книжные полки сняты со стен и на них навешаны зеркала. Когда я уйду, Наташа и Виктор до глубокой ночи будут «лудить вариацию», как выражаются эти представители изысканной профессии. И выражаются так, пожалуй, для нас, посторонних, потому что сами чувствуют себя внутри хрустального замка хореографии мастеровыми, знающими пот и кровь настоящей работы.

— Можно ли сказать, что эта первая удача укрепила вас в верности выбора? И вообще, как это произошло, что вы, танцовщики, солисты балета, обратились к балетмейстерству?

НАТАША. У нас такая профессия, что очень рано определяется и твоя судьба. В десять лет уже знаешь, кто будет фаворитом, а кто всю жизнь простоят «у воды» или будет канделябры в операх держать. Сходится много причин, чтобы ты стал в искусстве героем или героиней. Есть ли у тебя данные, получил ли ты «школу»?

ВИКТОР. И вообще, как ты попал в балет? Меня,

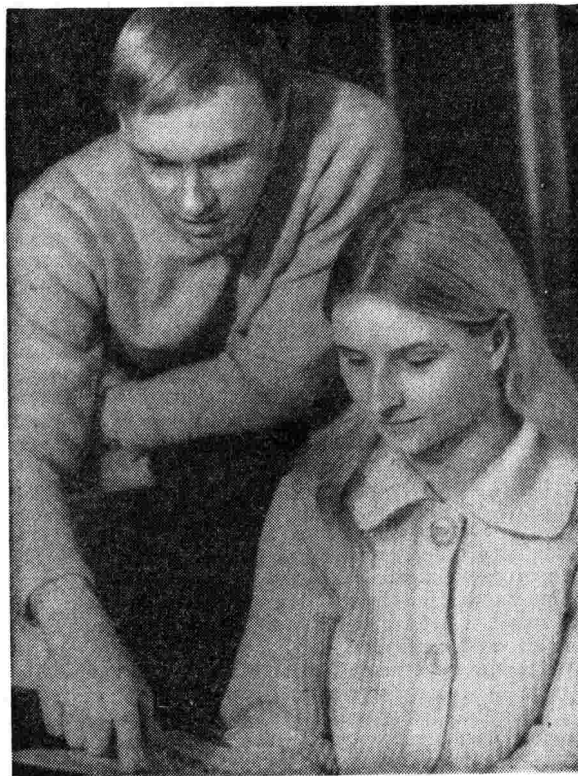


Фото А. Карзанова.

например, родители отдали в училище в надежде, что дозы «святого искусства» отвлекут от влияния улицы. Потом, думали они, я обучусь манерам, получу хорошее воспитание, красивую, романтическую профессию. А я с детства был высокий и все рос, рос... Все ребята шли вечером на спектакль танцевать «мышей», а я шел домой. Это, помню, жутко действовало на психику.

НАТАША. И когда тебя возьмут в театр, когда ты уже станешь артистом, то тут все и начнется. Кто будет твоим наставником? Кто будет работать с тобой, делать «на тебя» репертуар? И всегда несколько в более трудном положении оказываются те, кто пришел в искусство не из наследственных актерских «династий», а из «династий», так сказать, зрительских. Мы каждый день изобретали заново табуретку. А меж тем в балете, как нигде, трагичен фактор возраста. Пять-шесть лет — для нас эпоха. Успел — хорошо, нет — в тридцать восемь можно уходить на пенсию...

ВИКТОР. У Наташи был период, когда в театре ей дали «зеленую улицу». Яacobсон поручал ей в своем «Спартаке» Эгину, а Моисеев — Фригию. Мои собственные дела были скромнее. «Поддержке» я еще обучился, а в ногах было полное косноязычие...

НАТАША. Но, между прочим, Виктор считается в театре одним из лучших «кавалеров».

ВИКТОР. Подлинный талант в балете редок, можно сказать, уникален. Когда, танцуя, ты чувствуешь полную спонтанность творчества, без раздвоенности. Или, как у нас в балете говорят: «Я красив». Иногда в «классе» и на репетиции смотришь — артист делает все, что надо: положенную норму прыжков, батманов, пируэтов. Жжет свои легкие, обдавая педагога потом и сорванным дыханием. А на сцене виден старательный усталый человек... Бог ушел из тела!..

А может, и не было его, бога-то... Вот в чем штука! Ведь такие, как Майя Плисецкая, — одна на тысячу. Терпсихора!.. На сцене у нее публичное уединение, она упивается танцем, забывая обо всем на свете.

НАТАША. Я не чувствую себя ущемленной оттого, что я не «прима». Хотя Марина Тимофеевна Семенова меня ругала. «Выбери какую-нибудь цель и иди к ней, — говорила она. — Остановись на каком-нибудь варианте. Всегда у тебя вечная импровизация». Она всех нас хотела уберечь от ошибок. Но я не чувствовала абсолютной уверенности в том, что делала на сцене. Я как-то подсознательно ощущала, что хорошо бы попробовать себя в чем-то ином, выйти из рамок танцовщицы...

ВИКТОР. Лично у меня в какой-то момент кончилось иллюзии, и я понял, что мое место в кордебалете. Это, пожалуй, был тот случай, когда возможности ног не соответствовали возможностям головы. Одно время я даже хотел бросить театр и уйти в эстраду. Писал либретто, преподавал в хореографическом училище и даже зачем-то поступил в ГИТИС, но после третьего курса бросил его. Теперь, спустя время, я осознаю, что «ген» балетмейстерства в меня вложил Касьян Ярославич Голейзовский. Но, когда я сочинял либретто своих несостоявшихся балетов, я еще этого не понимал. Помню, мы пришли с таким либретто к нашему ровеснику, но уже достигшему известности — балетмейстеру Олегу Виноградову. Он посмотрел и сказал: «У вас же все готово! Почему же вам самим не ставить?» Мы честно удивились. Так бывает — одно слово может перевернуть всю жизнь...

НАТАША. Наверное, не стоит говорить о нашем раннем балетмейстерстве. Что-то «стояло» в репертуаре. Многие кончались ничем. Было наивно, слабо, наверно, хотя горели мы высоким огнем и неудачи переживали мучительно. Но самое главное в жизни — не драматизировать все, что с тобой происходит. А то все начинаешь видеть в черном свете, живешь угрюмо, без юмора, хотя жизнь вокруг, право же, полна радостей... Мы много ставили для себя, это чаще всего были «номера», с которыми мы выступали в концертах и по телевидению. Актер всегда мечтает, чтобы репертуар делал «на него». «Ромео и Джульетта» — тоже был мой номер. Этот балет в репертуаре чуть ли не двадцати видных западных балерин. Кое-что я видела во время зарубежных поездок, но все время нам с Виктором хотелось все поставить по-своему. И то, что в конце концов получилось, — это плод трехлетних исканий. Казалось бы, миниатюра, а перепробовали мы множество разных по качеству вариантов, пока не остановились на одном. И с ним пришли в кино...

ВИКТОР. Мы работаем с Натальей по методу «мозгового штурма». Сначала тебя осеняет бешеное количество идей. Но я даю какую-то посылку и могу на ней же иссякнуть. А у Натальи то счастливое свойство, что она эту посылку не только развивает, но как бы всю переворачивает. А дальше уже идет цепная реакция. Мой аналитический ум все отвергает: все, говорю я, ни к черту! И начинаются «разговоршки».

НАТАША. Спасает только чувство юмора...

ВИКТОР. От первой посылки до чего-то приличного проходишь через миллион «капричос»... В чем мы видим сочинение танца? Еще с детства я запомнил от Голейзовского, что суть не в том, чтобы придумывать новые движения. Все балетные движения в том виде, в каком они сейчас существуют в природе, давным-давно разработаны различными хореографическими школами. И не надо ломать голову, чтобы выдумывать новую азбуку или новые ноты... Суть в том, как рожденный образ воплотить в движение. Как одно движение связать с другим,

чтобы хореографическая фраза лилась и звучала. Эта «вязь» связующих движений и есть, собственно, танец. В этом стиль балетмейстера, учит Голейзовский, его самобытность, новые краски, его культура и умение раскрыть музыку. Стилистика русского классического балета, говорит Юрий Николаевич Григорович, универсальна и способна лучше, чем какая-либо иная система танца, выразить любые современные ритмы, пластику, дух времени. Это прекрасно подтверждают сегодня его замечательные балеты.

НАТАША. Нам, молодой волне балетмейстеров, конечно, очень повезло. У себя в Большом театре мы работали с большими мастерами — Голейзовским, Якобсоном, Григоровичем... Дух и атмосфера этих репетиций — для мало-мальски толкового молодого существа — та питательная среда, в которой мужаешь и научаешься всему. Надо только распахнуть глаза и уши и успевать запоминать и обрабатывать истины в собственном мозгу...

ВИКТОР. После того, как вышел фильм «Ромео и Джульетта», Юрий Николаевич предложил нам поставить балет Михаила Чулаки «Слуга двух господ» в народном театре балета Дворца культуры завода «Серп и молот», над которым Большой театр шефствовал. Мы решились не сразу. Конечно, получить в начале пути трехактный балет — это редкое везение! Но, с другой стороны, ставить такую огромную вещь не с профессионалами, а с людьми, которые приходят вечером в «класс» или на репетиции после горячего цеха, конструкторского бюро, лекций в институте... И опять мне помогла мудрость Голейзовского. «Не надо делать из корней дерева бронзу, — говорил он. — Каждый материал хорош по-своему». У самого Голейзовского «чувство» актера какое-то ясновидческое. Когда он работает для тебя, «лепит» тебя, ты из бесчувственной «глины», «материала» в изысках и шероховатостях становишься красивым. Потому что ты понимаешь внутреннюю логику и диалектику движений, из которых он строит хореографическую фразу. Понимаешь, почему он предлагает такую лексику, а не иную. И, поняв это, ты сам звучишь под его рукой всем лучшим, что в тебе есть.

НАТАША. Короче, мы поставили этот балет. «Слуга двух господ» был написан в свое время для ленинградского Малого оперного театра, театра с сильной труппой, с солистами, с обширным кордебалетом. Всего этого мы не имели. Поэтому нам хотелось сделать компактный, «мобильный» спектакль, с малым числом дублеров и без кордебалета, чтобы его можно было легко возить на гастроли. А хореографическая труппа «Серпа и молота» гастролирует, кстати, не только по Союзу, но и за границей. Недавно она вернулась из Финляндии. Мы переписали заново либретто, замкнув круг действия основными героями Гольдони, отказавшись от массовых сцен, отягчавших ленинградскую постановку; вместе с Михаилом Ивановичем Чулаки мы сделали новую музыкальную редакцию. А что касается собственно хореографии, то тут пришлось овладеть всеми формами многоактного балета — от сольных вариаций до всех видов ансамблей: дуэтами, трио и т. д. И всеми музыкальными темпами — от анданте до престо. Мы не хотели, чтобы у нас получилась танцевальная сюита со вставными номерами, но чтобы каждый персонаж — а их у нас девять — был наделен собственной танцевальной лексикой, собственной краской. Постановка этого балета во всех смыслах была нашим университетом. Сроки были жесткие, но труппа готова была работать по двадцать пять часов в сутки...

ВИКТОР. В общем, затянувшийся период накопления кончился. Настала пора отдачи.

Интервью вела Рена ШЕЙКО.

На снимке «Метелица». Те пятеро девушек, которые промчались на лыжах от Москвы до Финляндии, посвятив свой рекордный пробег (2 600 километров шла 33 дня) 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

Крайняя слева — капитан «Метелицы» инженер Валентина Кузнецова, далее — студентки Татьяна Дьяконова и Надежда Кузина, техник Светлана Александрова и инженер Антонина Егорова.

Сейчас Валентина Кузнецова готовит новый пробег. Корреспондент «Юности» спрашивает ее:

— Вы уже водили московских лыжниц в Ленинград, Смоленск, Финляндию. Ваш новый маршрут, очевидно, сложнее прошлых?

— В ЦК ВЛКСМ уже одобрена идея нового пробега, посвященного 100-летию со дня рождения Ильича. Мы хотим стартовать в Ленинграде и идти через Москву и Казань в Ульяновск. Минувшей зимой мы прошли по ленинским местам Финляндии, теперь пойдем по ленинским местам нашей страны.

— Расскажите о себе, Валя.

— Несколько лет назад я подумала: вот закончила институт, инженером работаю, дочка растет, кажется, все хорошо, но такая спокойная жизнь не по мне. Даже машина — если бы вы знали, как я люблю гнать машину! — не дает тех ощущений, которые испытываешь только на лыжне. Ведь прежде я занималась лыжами очень серьезно, была чемпион-



ВОТ ОНА — «МЕТЕЛИЦА»!

кой Москвы среди девушек. И вот, читая о мужском переходе Москва — Ленинград, подумала: а что, если девушки?.. Идеи всех своих переходов обсуждаю сначала с мужем. Он загорается, а потом: «Что же я делаю? Опять с Иришкой меня вдвоем оставляешь?..» Но он меня понимает: сам занимался лыжами.

— Как вы оцениваете тот резонанс, который ваш пробег получил в Финляндии?

— Финны чтут имя Ленина. Мы шли по ленинским местам страны и рядом с мемориальными доска-

ми всегда видели вазы, где уже лежали цветы, принесенные Ильичу. По всей Финляндии нам делалась лыжня, все финны знали, что наш пробег посвящен юбилею Ленина... Одна финская газета писала, что мы танцуем, даже пройдя девяносто километров. Так оно и было. «Метелица» пользовалась успехом. Нас сопровождали известные финские лыжники. Но обычным любителям наш темп было выдержать трудно: мы «загна-ли» немало таких поклонников. Принимая нас, президент Финляндии Урхо Кекконен сожалел, что не прошел с нами хотя бы полдня. Он сказал нам, что, помимо высшего спортивного достижения, мы установили мировой рекорд в деле укрепления дружбы между советским и финским народами. Наши финские друзья обещали также, что предстоящей зимой они проведут по нашему ленинскому маршруту собственный пробег.

— А «Метелица» предстоящей зимой, значит, пойдет из Ленинграда в Ульяновск?

— Да, но о составе пока говорить трудно. Я лишь хочу, чтобы в этот пробег пошла обязательно Галка Харламова. Чудо-девчонка из мединститута! Прошлой зимой она неожиданно заболела и не смогла пойти с нами. Галка была душой «Метелицы». Она могла бы в каникулы отдохнуть, но сопровождала нас на автобусе до самой границы — готовила нам еду на газовой плитке.



ДОМ ПИКОВОЙ ДАМЫ

Ленинград порой представляется мне огромной живой книгой, и ныне населенной литературными героями Достоевского, Гоголя, Пушкина... Я вновь испытал это чувство, разыскивая дом графини из «Пиковой дамы».

Старая графиня, по признанию самого Пушкина, была срисована с княгини Голицыной, блиставшей некогда в Париже. Не ее ли дом описал Пушкин, рассказывая, как Германин очутился однажды «...в одной из главных улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры»? Открываю толстую книгу Яцевича «Пушкинский Петербург». И оказывается, что княгиня жила на углу Малой Морской и Гороховой (ныне ул. Гоголя, 10).

...Трехэтажный дом с нависающим над входом широким балконом кажется угрюмым. У дверей, где доска с надписью «Поликлиника», ждет меня Володя Ломов, знакомый фоторепортер.

Открываем тяжелые старинные двери. Просторный вестибюль. Широкая мраморная лестница. Поднимаемся по лестнице мимо камина, над которым большое зеркало со вставленными в него часами.

Узнав, что мы интересуемся

владениями Пиковой дамы, заведующая поликлиникой выделяет нам гида — Бориса Васильевича.

— Начнем с бывшей спальни? — предлагает он.

— Но ведь дом Голицыной перестраивался в сороковых годах прошлого столетия...

— Ну и что же, что перестраивался, а спальня есть.

Идем, сопровождаемые Борисом Васильевичем, в зал на втором этаже. Когда-то здесь княгиня устраивала приемы. Поворачиваем налево. Германин шел тоже налево, вспоминаю я.

Еще один поворот налево по узкому коридору, несколько шагов — и мы оказываемся у винтовой лестницы. Проходим мимо этой чугунной лестницы и направо, в крохотном коридоре, видим дверь с надписью «Комната отдыха». Борис Васильевич открывает ее.

Просторная угловая комната. Два окна — на улицу Дзержинского, три — на улицу Гоголя. Мраморные подоконные плиты. Камин из белоснежного мрамора с горельефами в виде женских головок. И огромный альков во внутренней стене. По обе стороны от него двери. Одна, слева, — это та, через которую мы вошли. Другая, справа от

алькова, ведет в соседнюю маленькую комнату.

Достаю из портфеля томик Пушкина, читаю, что пишет Лиза в своей записке:

«Из передней ступайте налево, идите все прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите две маленькие двери: справа в кабинет, куда графиня никогда не входит; слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница: она ведет в мою комнату».

— Ну, как?! Не правда ли, похоже?

— Похоже-то похоже, — замечает мой приятель, — но Германин должен был войти в эту спальню не со стороны винтовой лестницы, как вошли мы, а в какую-то другую дверь.

— Да, Германин вошел в эту спальню через другую дверь, — говорит Борис Васильевич и показывает нам на высокую старинную дверь во внутренней стене, ближайшей к главному входу. — А стоял он, поджидая графиню, за этой дверью, — продолжает наш гид, указывая на дверь, что правее алькова.

О Германине мы говорим так, словно ни на минуту не сомневаемся, что он действительно бывал в этой спальне.

— Поговорите еще с Александрой Николаевной, — советует наш гид. — Она давно в поликлинике. Не то 25, не то 30 лет. Она сейчас как раз наверху.

Находим Александру Николаевну, и она нам рассказывает, что в сорок втором, в блокаду, «спальня Пиковой дамы» была кабинетом, где круглосуточно работали — тут же они и спали — тридцать врачей и сестер.

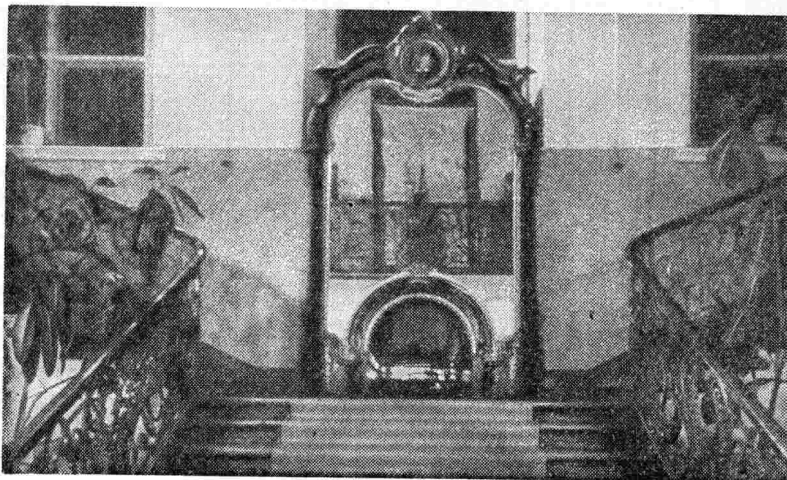
— На всех больных нас даже не хватало. Дежурили по ночам. Холодно же было в этой спальне. Мы еще, помню, «буржуйку» топили. А трубу от нее вывели в княжеский камин...

Уже покидая особняк, мы чуть задержались на главной лестнице. Володя решил сверить свои часы с каминными. Но круглые часы с полустертыми цифрами давно стояли.

— Посмотри, что за фирма, — попросил я Володю.

— Leroy Paris, — медленно прочитал он.

И опять достаю Пушкина: «По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Leroy...»



Юрий РАКОВ

БЕЙТ ЭДУАРДА БАГРИЦКОГО

Ни седовласые болельщики, в годы своей молодости стоявшие у колыбели одесского футбола, ни авторитеты из местной федерации — никто не сможет рассказать вам, кто организовал «Клуб под платанами» в сквере имени Советской Армии. Поговаривают, правда, что начало клубу положил популярный в Одессе безногий инвалид Ваня-чистильщик. Молодым Ваня снимался в эйзенштейновском «Броненосце «Потемкине» — очертя голову скачивался вниз по знаменитой лестнице. И теперь еще Ивана Андреевича Воробьева можно видеть над его ящиком у кинотеатра имени Горького. В этом «Клубе под платанами», где тебя убедят, что каждый одесский ребенок делает первый шаг в жизни исключительно с той целью, чтобы ударить по мячу, я и услышал однажды:

— Помню, Эдик в падении слета такой бейт всадил, что голкипер и не шелохнулся.

Говорил старик в плюшевой зеленой фуражке. Многие, и я в том числе, подумали: старик будет рассказывать об Эдуарде Стрельцове. Но, как выяснилось, речь шла об Эдуарде Багрицком.

— А Олеша! А Бондарин! А Петров, который Ильф и Петров! А Саша Козачинский! — воскликнул старик в плюшевой фуражке и вдруг скептически заметил: — Подались в литературу! Что ж, тоже неплохо. А все-таки жаль: были бы футболистами... Эх!

Я улыбнулся, что крайне обидело старика.

— Да чтоб я каждый день в новых штиблетах ходил, если вру.

Тут уже нельзя было не поверить: в Одессе такие заверения не бросаются на ветер. И, возвратившись в Москву, я встретился с Сергеем Александровичем Бондариним, который сам играл и с Багрицким и с Олешей.

— Багрицкий жил на Ремесленной, — вспоминал Бондарин, — учился в реальном училище, и встречались мы чаще всего в Александровском парке на полянке «дикой» команды «Черноморец». Нередко

реалист Багрицкий расставлял там силки и присоединялся к черноморцам. Это была отличная команда. Как раз из «дикарей» вышли такие футбольные знаменитости, как Злочевский, Каждан, братья Мизерские... Их в Одессе никогда не забудут! Багрицкий, как и всякий поэт, с любовью писал о том, что доставляло ему радость. Отразилось в его стихах и увлечение футболом...

Бондарин подошел к книжному шкафу, взял томик Багрицкого.

— Вот послушайте:

Там юноша несется вскачь,
И ветер кудри развеивает. —
Он воздухом набухший мяч
Ногой уверенной толкает.
И сумерек осенних гарь
В кусты ложится синим снегом.
Следи внимательней, вратарь,
За криком, топотом и бегом.

Одно из любимейших стихотворений Багрицкого, — продолжал Сергей Александрович, — стихи Заболотского о футболе: «Ликует форвард на бегу...». Он и сам ликовал, особенно когда ему случалось блестящим ловким приемом, красиво забитым голом. Я помню тот гол, о котором рассказывал вам старик. И правда, это был великолепный удар. Багрицкий проскочил вперед. Навесная передача осталась за его спиной. Досада! Мяч снижается. Один миг — Багрицкий мгновенно достает мяч у себя за спиной пяткой, падая на руки. Удар — гол! Это был бейт, входящий в моду удар, овладеть которым мечтали тогда многие. «Бейт» — название удара. Как, например, сейчас «сухой лист». Откуда оно? А вот откуда. В английском клубе играл некто Бейт, он первым стал щеголять трудным приемом. Мы, мальчики, часами постигали тайну этого удара. Того, кто владел бейтом, охотно брали в любую команду. Это был как бы эталон технического совершенства... Перед футболистом Багрицким открывалось большое будущее, но что он, неразумный, сделал? Ушел в яхт-клуб, занялся парусным спортом, греблей...

А я продолжал играть в футбол. Мои сверстники стремились быть форвардами или голкиперами. Мне нравилось амплура «средняка» — хавбека, по-нынешнему — полузащитника. И вот тогда-то на футбольной площадке «Черного моря» я и познакомился с Юрием Олешей... Помните страницы из «Зависти» — описание футбольного матча? Пожалуй, это лучшее, что есть в художественной литературе о футболе. А знаете, как сам Олеша играл? Мне не раз приходилось его «держат», и утверждаю с полной ответственностью, что он был форвардом превосходным: хорошо видел поле, чувствовал полет мяча и дистанцию, отлично «мотался», точно бил по воротам. Легко уходил от соперника, и сколько раз мне приходилось только разводить руками... Я играл за свою школьную, точнее, гимназическую команду, Олеша — за свою, 1-ю Ришельевскую. В ту пору было две лиги. Одна — городская, взрослая, другая — гимназическая. Тут тоже разыгрывалось первенство по всем видам спорта. Сильнейшей, как правило, была Ришельевская гимназия. Ее представлял и такой универсальный выдающийся спортсмен, каким был Гриша Богемский. Богемский играл и по гимназической лиге и по городской за свой «Спортинг-клуб»: в 17—18 лет он был едва ли не лучшим футболистом страны, играл не только за сборную Одессы, но входил в состав сборной России вместе с Бутусовым.

И вот на гимназической футбольной площадке рядом с Богемским появился маленький, быстрый и юркий инсайд — это был Юрий Олеша. Случалось, Олеша дублировал Богемского. А когда они появлялись на поле в паре, для соперников был сигнал: «Подтянись!» Разносторонняя спортивная подготовка помогала ришельевцам во всем — и выдумывать маневр и исполнять его. Богемский и Олеша казались нам фокусниками. Все было у них в ходу, играли и носок и пятка... От них можно было ждать всего. И бейта тоже, которым оба владели превосходно.

Я не случайно опять выделяю бейт. Повторяю, этот удар был вершиной футбольного образования, а позже, когда мы, как выразился ваш старик, «подались в литературу», Багрицкий как-то поведал нам, что бейт — это не только удар пяткой, так называются двуступишия в литературе некоторых народов Востока. Мы долго не могли смириться с этим...

Виктор АСАУЛОВ

ПАНТОМИМА МОДРИСА ТЕНИСОНА

Этот ансамбль пантомимы существует более двух лет. Организовался он при Вильнюсском ТЮЗе, а теперь работает в составе труппы Каунасского драматического театра. За его плечами — два спектакля и победа на Прибалтийском фестивале пантомимы.

«27 октября 1966 г. Это число — начало нашего существования, начало нашего ансамбля пантомимы, день нашего рождения. Дальше? Работа, работа и еще раз работа. Работа над своим телом, единственным инструментом, с которым вы можете говорить, думать, смеяться и плакать. Вы должны владеть телом полностью. Так же, как у скрипача руки, у футболиста команды «Жальгирис» ноги, так у вас — тело и лицо. ...Мои пожелания? Во-первых, живой, сильный, здоровый, сплоченный коллектив. Во-вторых, дисциплина. И вообще я бы хотел, чтобы искусство пантомимы стало для вас необходимостью. Так же, как воздух и свет. Чтобы коллектив стал потребностью, чтобы театр стал инструментом, домом. И чтобы никогда не раздался возглас: «Ах, если бы мы могли видеть жизнь, а не мизансцены!» *Модрис Тенисон*».

Модрис Тенисон — организатор, руководитель, режиссер, худож-

ник, иногда осветитель, иногда радист ансамбля. Это подвижник и фанатик пантомимы. Его пантомима полна — если не переполнена — удивительно емких образных решений.

Но дневник ведет не только Модрис. Вот другая запись:

«Я сразу же говорю, что не знаю, смогу ли всю жизнь посвящать пантомиме. Не гарантирую даже ближайшего времени. Может меня Модрис гнать, может оставлять. Я обещаю только, что, пока я в ансамбле, я хочу и буду работать серьезно. ...Чего я хочу от пантомимы?.. Пантомима в отличие от драмы лишена слова, но обогащена движением. Мне нужно почувствовать, какие преимущества это дает, и понять, смогу ли я ими воспользоваться. *Дима*».

Сейчас их семеро. Переезд в Каунас оказался тем Рубиконом, который перешли не все.

«24.6.67. Вильнюсский период кончился. Не хотелось бы, чтобы вместе с ним кончилась моя пантомимическая деятельность. Что делать? Может, у меня просто не хватает духу решиться? ...Вот так и колеблюсь, надеюсь, что утро вечера мудренее, что будущее покажет. ...Все! Я завтра уезжаю, но надеюсь, что будет еще встреча...

Дима».

«6.7.67. Мы в Каунасе. Начинается новый период для нашей группы. Начинаем новый дневник. Как будут складываться наши дела, что будет писаться на этих страницах — все зависит от каждого из нас. Наша работа только начинается. ...Вы находитесь в творческой среде, где надо учиться, расти и идти вперед в своем умственном и моральном росте. *Модрис*».

В день двухлетнего юбилея ансамбля я был на премьере нового спектакля «Сны Снов». Яркое начало, коллектив серьезно движется вперед, и прежде всего в главном — в исследовании Чехова.

За основу первого отделения спектакля взято творчество гениального литовского художника и композитора Чурлёниса. Нет, этот спектакль не ожившие сюжеты картин, тем более, что живописные аллегории Чурлёниса не воспринимаются как традиционные сюжеты. Модрис Тенисону предстояло найти пластические ритмические эквиваленты средствами и образами пантомимы.

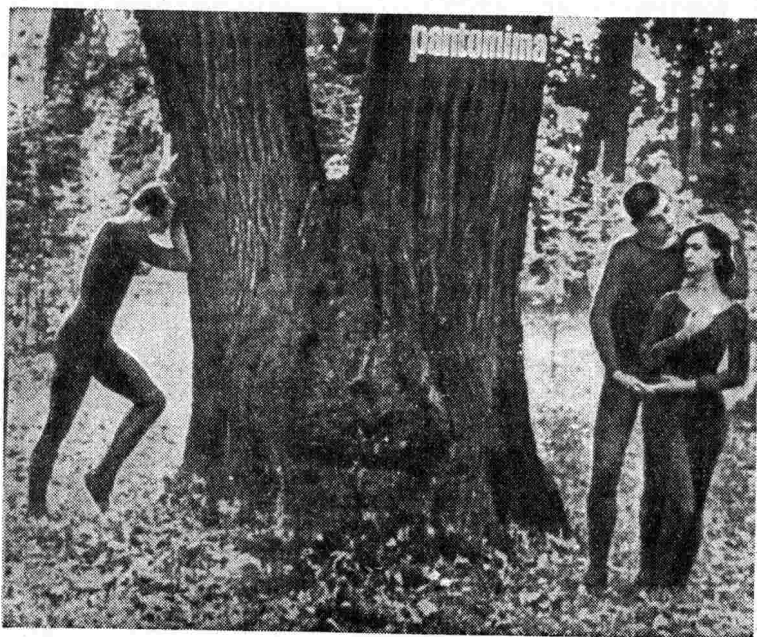
Однако сюжет как основа пантомимы не исчез из арсенала ансамбля. Одна из лучших работ в новом спектакле — это пантомиматрица «Гибель Помпеи».

На сцене стоят костюмы без людей, пышные, отделанные золотом тоги. Огромные, роскошные одежды — как наряды на манекенах, из которых вынуты сами манекены. И зияют пустые прорезы для голов. Но вот снизу в прорезы вдвигаются головы с лицами, каменными от чувства собственного величия. Головы то появляются, то исчезают. Головы как бы случайное, второстепенное, проходящее в этих одеждах. Появляются такие же переполненные собственным «я» женщины и венчают головы мужчин лавровыми венками. Впрочем, когда головы мужчин скрываются, лавровые венки венчают пустые места...

Чванливая Помпея зреет для гибели. И вот уносятся вверх костюмы, и всю сцену, всех участников накрывает черный тюль, под которым постепенно, как в потоке лавы, застывает то, что раньше было Помпеей.

Пересказ этот, естественно, схематичен. Пантомима не создана для описания, ее нужно смотреть.

Тем более необходимо смотреть пантомиму Каунасского ансамбля. Сегодня Модрис Тенисон и его единомышленники на переднем крае советской пантомимы.



Илья РУТБЕРГ



Станислав Лесневский

КРАСОТА НАША

...мы храним... не чудесную усопшую красавицу — мы храним действенное сокровище, представляющее как-то скопищем золотых зерен, которые должны дать всходы сторицей в уме и сердце масс...

А. В. Луначарский.

Есть такие произведения отечественного гения, что народ узнает и познает в них себя целостно, и века звучит народный глас: это — мы. Имена их творцов становятся едва ли не синонимами имени того народа, которым они рождены. Пушкин, Лев Толстой, Горький... И мы говорим: Россия.

Утверждая свое бытие и достоинство в жестокой классовой борьбе, богатырски противостоя иноземным поработителям, народ наш этими произведениями искусства сказал свое слово, настоял на своей творческой воле.

В ряду величайших произведений русского искусства — литературы, музыки, живописи — почетное место занимают шедевры архитектуры. Это наш драгоценный национальный вклад в каменную ораторию, сложенную народами земли.



«Чутье пропорций, понимание силуэта, декоративный инстинкт, изобретательность форм — словом, все архитектурные добродетели встречаются на протяжении русской истории так постоянно и повсеместно, что наводят на мысль о совершенно исключительной архитектурной одаренности русского народа», — пишет Игорь Грабарь в своей «Истории русского искусства».

Шедевры нашего зодчества неотделимы от родной земли, от ее холмов и долин, лесов и рек, от ее неба. Они включены во все бытие народа, в его грады и веси. Века и века читают они звездную книгу.

Они нераздельны с землей, как дерево. И они не являются на дом к любителям изящного. Никакие изображения, ни чьи пересказы не заменят впечатления «самовидца», говоря летописным словом. Мы сами приходим к ним, чтобы удивиться и задуматься. Встречаясь с творениями зодчих, мы встречаемся с Родиной, вглядываемся в ее лицо. И «премудроверхие, красотаи блистающие» создания, они тоже часть этого материнского, всем нам необходимого лица.

Древнейшие произведения русских горододелцев овеяны всеми бурями истории. Они сопровождали

На снимке вверху — Владимир, Главы Успенского собора, 1158—1189.

народ, они крепили дух народа в его историческом походе. Как много видели они, как много увидят... Красота их войдет в коммунистическое будущее.

Одна из блестящих страниц русского зодчества принадлежит владими́ро-суздальским мастерам XII—XIII веков. Творения их привлекают ныне восхищенных поклонников со всех краев Отечества, из зарубежных стран. Им посвящены стихи, повести, очерки, исследования, в их числе такой выдающийся труд, как двухтомная монография Н. Н. Воронина «Зодчество Северо-Восточной Руси XII—XV веков» (М., 1961—1962). Этому же автору принадлежит и великолепная, вышедшая уже третьим изданием книга—спутник по городам владими́рской земли «Владимир. Боголюбово. Суздаль. Юрьев-Польский» (М., 1967)¹.

Прежде чем отправиться в дорогу к прекрасному, перечитаем книги-раздумья...

«ТУТ ВИДЕН ХУДОЖНИК...»

В статье «Отношение Владимира Ильича к памятникам старины» В. Д. Бонч-Бруевич вспоминает...

Ленин изучил книгу С. П. Бартенева об истории Кремля. Там Ленин прочитал, что одно крыло (проездная арка) собора Двенадцати апостолов в Кремле заложено кирпичом во времена Николая I и обращено в сарай для фуража. Узнав об этом, Владимир Ильич с негодованием сказал:

— Ведь вот была эпоха — настоящая аракчеевщина... Все обращали в сарай и казармы: им совершенно была безразлична история нашей страны. Надо сейчас же, немедленно, это крыло открыть. Смотрите, какое оно интересное, судя по чертежу...

И далее Бонч-Бруевич рассказывает, как реставрационная комиссия при Советском правительстве, созданная по указанию Ленина, стала работать над восстановлением собора.

Владимир Ильич с вниманием наблюдал за реставрационными работами. Он не раз останавливался около места работ, смотрел, как все более и более открывались старые очертания древнего собора.

— Совсем иной вид, — говорил Владимир Ильич, — тут виден художник-архитектор, а раньше было удивительно смотреть, так не гармонировала эта пристройка со всем собором. Оказывается, тут не в соборе дело и не в архитектуре, а в Николае I, в аракчеевщине!

Как верно и точно говорит эта ленинская реплика о враждебности казенщины подлинному искусству!

Следующей реставрационной работой в Кремле, продолжает Бонч-Бруевич, было восстановление фресок в Успенском соборе. Долго шла эта работа. И она привлекла внимание вождя революции. «Владимир Ильич часто заглядывал в собор, внимательно рассматривал великолепные фрески...» Какие чувства, какие раздумья вызывали у Ленина древние лики?..

«Несмотря на всю свою занятость, — подчеркивает Бонч-Бруевич, — Владимир Ильич обращал большое внимание на архитектурные древности Москвы и дру-

гих городов. Так, когда белогвардейцы артиллерийским огнем разрушили Ярославль, он принимал самое горячее участие в восстановлении этого старинного русского города. Была организована специальная комиссия, которая приводила Владимира Ильича в отчаяние своей медлительностью. Он хотел, чтобы во что бы то ни стало были восстановлены ярославские древние церкви, которые представляли собой памятники нашего старинного зодчества. Когда ему приходилось слышать, что в Галиче, Угличе и других старинных русских городах пытались разрушить церкви, он немедленно рассылал телеграммы и строгие приказы этого не делать, вызывая представителей местных властей, разъясняя им значение исторических памятников».

И еще один эпизод. О людях, которые хотели памятник архитектуры перестроить «в какую-то казарменную постройку», Ленин сказал Бонч-Бруевичу:

— С ними вам не нужно даже и разговаривать. Нам с ними не по пути... Им можно будет поручать строить скотные дворы в совхозах, но ни в коем случае не допускать к ремонту подобных исторических зданий.

Рассказанное В. Д. Бонч-Бруевичем, близким сподвижником Ленина, еще раз свидетельствует о ленинском отношении к культурным ценностям прошлого. Это для нас — неукоснительный завет...

...В 1893 году во Владимир для встречи с одним из первых русских марксистов, Н. Е. Федосеевым, приезжал Ленин. Встреча эта не состоялась... По городу шел молодой Ленин, ему было тогда 23 года. С владими́рского холма над Клязьмой синели заречные дали.

В ПУТЬ, В ПУТЬ

Раньше-то мы пешком ходили по этой дороге, — заговорил веселого вида старичок, хотя его никто ни о чем не спрашивал.

Автобус шел из Владимира в Суздаль. Дедуся появился, кажется, у Суходола и тут же обеспокоенно начал разыскивать глазами свою старуху, которую, как ему показалось, он утерял. Меж тем юноша, восседавший на кондукторском месте, успел пристроить на это место бабуся, и она, румяная, моложавая, добро улыбалась своему спутнику, который без очков едва видел. Сочувственное, мягкое внимание окружило старика, ему нашли уголок близ старухи, и он, веселясь, звал ее к себе на колени. Ничего не отвечая ему, она все так же добро и покойно смотрела, как дед балагурит. Угадав во мне приезжего, дед оборотился и, не дожидаясь вопросов, стал рассказывать: в мои-то молодые годы...

Автобус поднимался в гору. Мы оглянулись — от нас, не отдаваясь, а поднимаясь, уходил Владимир. С высоты своей он парил, как видение: наивыше были главы древних соборов, и горизонт никак не мог слить их с собой.

Все-таки славно ехать в автобусе, где, кроме тебя, больше нет ни одного туриста. Едут дед с бабушкой, учительница, тракторист, юноша из сельхозтехникума, да по дороге набиваются нешумные сельские школьники. Для всех них нет здесь диковин, вокруг обжитое. Близ тех памятников, которые влекут любопытствующих со всего света, суздальцы растят хлеб, учатся, живут. Много меньше говорили бы нам с дедом красоты архитектуры, если бы рядом люди не пахали и не сеяли, не поднимались бы чуть свет на работу и на занятия, не творили бы жизнь.

¹ См. также: История русского искусства, том I. М., 1953; По земле владими́рской. Путеводитель. Ярославль, 1967; Рассказы русских летописей XII—XIV вв. Предисловие, перевод с древнерусского и пояснения Т. Михельсон. Научный редактор Д. Лихачев. Рисунки Т. Мавриной. М., 1968; Е. Дорош. Образы России («Новый мир», 1969, № 3).

Я ехал из Владимира в Суздаль, пораженный дивом Золотых ворот, величием Успенского собора, праздничностью Димитриевского... Верите ли, именно в автобусе, приближавшемся к Суздалью, я почувствовал, как «укореняются» владимирские храмы. Они были невидимы за дальней чертой, но я увидел, как они вырастают. Не смогу точно объяснить, но знаю, что увидеть и почувствовать это первыми помогли мне мои попутчики по дороге в Суздаль. Словно в них я заметил какие-то черты поразившей меня архитектуры.

— А что, — весело спросил дед, — правда ли, что скоро тут не будет никаких машин, а станут на тройках разъезжать?

По суздальской улице, рыча, продвигался чумазый трактор, с видимым удовольствием нарушая идиллию туристического сервиса в маленьком городке-заповеднике. На полках прозрачных киосков-«стекляшек» вздрагивали сувениры. А он, неугомный, все тархтел, тархтел...

КИДЕКША

В Суздаль мы еще вернемся. Не добраться ли нам до Кидекши? Всего пять километров от Суздаля. Там...

Стоит крепкое, доброе село. Потемневшие бревна его домов кажутся изначальными, как сама земля. Вот талантливое изобретение народа — крестьянская изба. Домовита, тепла, красива. Тоже архитектура, и такая мудрая, простая, естественная.

У края села, где дорога поворачивает на Красное, не угладишь белокаменное творение XII века. Во все глаза бросается сначала вывеска: «Магазин «Нерль». Магазин прозрачно-стеклянный, будто городское кафе. Похоже, никого не раздражает этот типовой модерн; немаловажно и то, что магазин, кажется, снабжен в достатке. Но стоило бы, прежде чем привозить «стекляшку», подумать, место ли ей напротив церкви Бориса и Глеба, построенной в 1152 году зодчими Юрия Долгорукого.

Да, здесь, именно здесь, на краю села Кидекши, более восьмисот лет тому назад князь повелел ставить храм. Взгляните...

Эта немая белизна, приземистая сила, эта крепостная суровость ошеломляют. Одноглавой палатой храм прочно прижал землю. Сквозь все доделки победительно проступает дух середины XII века. Скосившаяся колокольня, церковь Стефана и Святые ворота, возникшие рядом в XVII—XVIII веках, не нарушают настроенного покоя церкви Бориса и Глеба, но подтверждают его.

Разом отодвигается все, что вы видели до сих пор. Вы чувствуете, что стоите у наидревнейших истоков. «Почти вся история России прошла над куполом Борисоглебской церкви», — по слову одного из прежних краеведов.

Строгий, белокаменный храм поднялся на возвышенном берегу Нерли. С этой высоты он смотрит на стога в лугах, на леса, на синь вдали, окликающая суздальские башни, главы и колокольни.

Я вижу, как смущается одинокий турист-фотограф. У этих стен вроде бы и неловко щелкать фотоаппаратом... Этот храм построил основатель Москвы. Эти камни помнят многое...

Что-то напоминает храм в Кидекше... Да, вспоминаются скупые и неприступные очертания собора Спаса-Преображения в Переславле-Залесском. Это один дух, одна эпоха. Сегодня перед собором памят-

ник Александру Невскому, отважному земляку переславцев. Но собор построен мастерами Юрия Долгорукого в том же 1152 году, что и церковь в Кидекше. Он высится у мощного, доныне сохранившегося земляного вала; неподалеку, в городском саду, молодежь ежевечерне танцует под духовой оркестр; собор думает свою думу... Выразительно сказал о нем Н. Воронин: «собор кажется как бы высеченным из гигантской глыбы белого камня».

Церковь в Кидекше претерпела немало; собор в Переславле-Залесском сохранился более первозданным. Подумать только: это единственные полностью уцелевшие памятники зодчества тех времен, когда Москва, впервые упомянутая летописью под 1147 годом, была еще маленьким, затерянным в лесах поселением, это древнейшие сооружения белокаменной владими́ро-суздальской архитектуры...

О чем расскажут нам эти камни?.. О том, как русская государственность, взяв свой исток в Киеве, укоренилась в обширном Залесье, где возникли Ростов, Суздаль, Муром, Ярославль, Углич, Кострома, Судиславль, Владимир, Переславль-Залесский, Юрьев-Польский, Дмитров, Москва, Звенигород... Многие из них основаны или возвышены строительной волею князя Ростово-Суздальской земли Юрия Долгорукого, сына последнего могущественного киевского князя Владимира Мономаха, основавшего в 1108 году город на высоком берегу Клязьмы — город «в свое имя» — Владимир.

О чем расскажут нам эти камни?.. О том, как не покорялся народ притеснениям бояр; о том, наверно, как владими́ро-суздальские горожане, «мизинные люди», держали сторону князя, который, конечно, сам был крупнейшим феодалом, но расправлялся со своевольными боярами; о том, что народ трудом и талантом украшал, обживал землю свою... Вот здесь, на берегу Нерли, недалеко от впадения в нее Каменки, мастера Юрия ставили княжескую крепость, откуда «долгорукий» князь мог бы диктовать свою власть суздальской знати, повелевать речным путем... Князь мог жить в Суздали, покидая, оставляя за спиной свой укрепленный храм. Кидекша — от слова «покидать». Умер Юрий Долгорукий в Киеве, добившись киевского княжения. В храме в Кидекше погребены его сын Борис Юрьевич, жена сына Мария и их дочь Ефросинья.

Но о чем могут сказать нам сегодня имена Бориса и Глеба, в чью память поставлена простая и суровая церковь над Нерлью?

О, эти имена были широко известны и почитаемы в народе. Борис и Глеб — сыновья киевского князя Владимира — «Красна Солнышка», княжившие в Ростове и Муроме. Они были жестоко убиты старшим их братом, князем Святополком. Смерть они предпочли братоубийственной войне. Автор древнего «Сказания о Борисе и Глебе», скорбя о гибели любимых сыновей Владимировых, призывает крепить единство «Русской великой страны»... Мысль о пагубности диких княжеских раздоров, от которых более всего страдал народ, эта мысль и окружила ореолом имена Бориса и Глеба. На том холме, где будто бы было становище Бориса и Глеба по пути в Киев, и поставлена была с превеликим значением новая церковь.

...Вот о чем рассказывает сложный из больших, гладко обтесанных известковых камней храм Бориса и Глеба в Кидекше, над Нерлью.

Мы — у одного из древнейших корней России...

СУЗДАЛЬ

Еще древнее эти корни в Суздале. Имя его впервые упоминается в летописи под 1024 годом. Ученые полагают, что он складывался почти тысячу лет. Раскопки в Суздале открыли в основании существующего собора стены собора, построенного киевскими мастерами Владимира Мономаха в конце XI — начале XII века. На его месте по велению князя Георгия Всеволодовича в 1222—1225 годах строится новый белокаменный собор — Рождественский. За века своей жизни он испытал немалые напасти...

Для нас Суздаль не просто отдых, а и великое поучение. Суздаль — редчайший город земли. Город-клад, сокровищница русского искусства. Его популярность растет стремительно. Только музей посетили в 1955 году — 4 080 человек, в 1966 году — 74 тысячи, в 1967-м — уже 192 тысячи, а в 1968 году — более 380 тысяч человек. Предполагается, что после основной реконструкции Суздаль ежедневно смогут посещать 5—8 тысяч туристов! По решению правительства в Суздале создается историко-архитектурный заповедник.

В свое время об архитектуре Суздаля подробно рассказывал очерк Л. Волинского, опубликованный «Юностью»¹. Особая глава посвящена Суздалью в «книге-спутнике» Н. Воронина. Библиографическая редкость — книга А. Д. Варганова «Суздаль» (М., 1944; Владимир, 1957). Ее автору мы во многом обязаны сохранением памятников Суздаля. В лирической повести В. Солоухина «Владимирские проселки» хорошо сказано о многолетней работе Алексея Дмитриевича Варганова, о его заслугах в деле изучения, реставрации и охраны суздальского наследия. Четверть века назад А. Варганов писал:

«Суздаль — это как бы историко-архитектурный музей, где экспонатами являются подлинные памятники русской архитектуры, сливающиеся в грандиозный, неповторимый ансамбль». Весь Суздаль, по слову Варганова, — это одна каменная песня, а из песни слова не выкинешь.

Сколько же бережны должны мы быть с этой песней... Сознаюсь, в путешествии я испытываю неловкость оттого, что принадлежу к вездесущему племени туристов. Понимаю, как велика польза массового туризма — и познавательная, и воспитательная, и всякая иная, вплоть до коммерческой. Но мне лично при слове «туризм» невольно представляется деревянный теремок в музее-усадебке Абрамцево, под Москвой, весь изрезанный «памятными» надписями туристов. Представляются толпы с урчащими в древнем соборе транзисторами, равнодушное любопытство вместо благоговения. «Явились. Побродили. Поглядели. Уедут, не жалея ни о чем».

Наверное, я неправ. Золотые зерна, о которых писал Луначарский, прорастут в сердцах тысяч туристов. И все-таки... побаиваюсь легионов, возглавляемых экскурсоводами. И не совсем напрасно. Деревянную церковь Николая из села Глотова (1776 год), перевезенную в Суздаль именно для сохранности, уже увечат перочинными и иными ножами, оставляя «памятные» надписи: «Здесь были...» Возмущенный этими надписями поклонник русского искусства метко сказал о них: «Почерк неандертальцев».

Сталкиваясь с таким варварством, по-видимому,

¹ Л. Волинский. Суздальская зима («Юность», 1966, № 9. В том же номере напечатаны цветные вкладки — памятники древнерусской архитектуры в произведениях московских художников). Древнерусской живописи посвящены цветные вкладки и статья Е. Дороша «Древнее и великое искусство» в № 10 «Юности» за 1965 год.

нехарактерным для большинства наших туристов, невольно впадаешь в уныние. Но это, конечно, минутное настроение. Достаточно обойти Суздаль, чтобы возрадоваться и увидеть, что это «не чудесная усопшая красавица», а глубоко современное, «действенное сокровище».

Трудно что-либо выделить. Не знаешь, куда пойти сначала. В Суздальский кремль, часы которого то и дело трезвят тонким колокольчиком. Или пройти без всякой цели по тихим переулкам с дремлющими церквушками. Узорчатым весельем встречают Святые ворота Ризположенского монастыря. Игрушечно белеет за Каменной Покровский монастырь. Мощно стоят башни Спасо-Евфимиева монастыря. А какие сокровища — творения редких мастеров — в суздальском музее!

Но чем прекраснее искусство Суздаля, тем мрачнее кажутся воспоминания, витающие над ним. Игрушечная белизна Покровского монастыря скрывала жестокие тайны знатных невольниц-монахинь — царских, боярских жен, дочерей. Грандиозное инженерное искусство, с каким возведен Спасо-Евфимиев монастырь, таило с ума сводящую тюрьму. Город был полон святош и узников. Трудом и терпением крестьянским прирастали богатства монастырей.

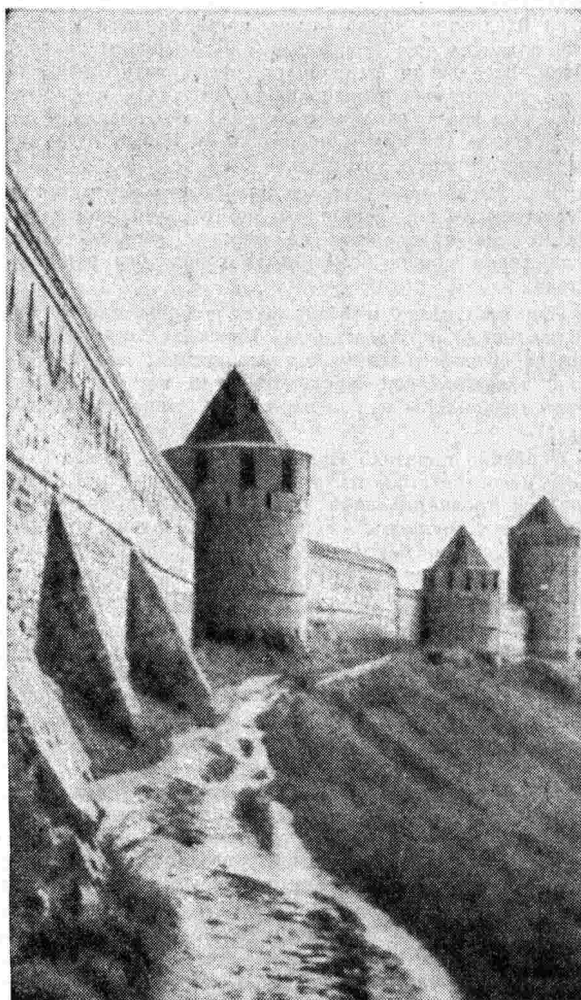
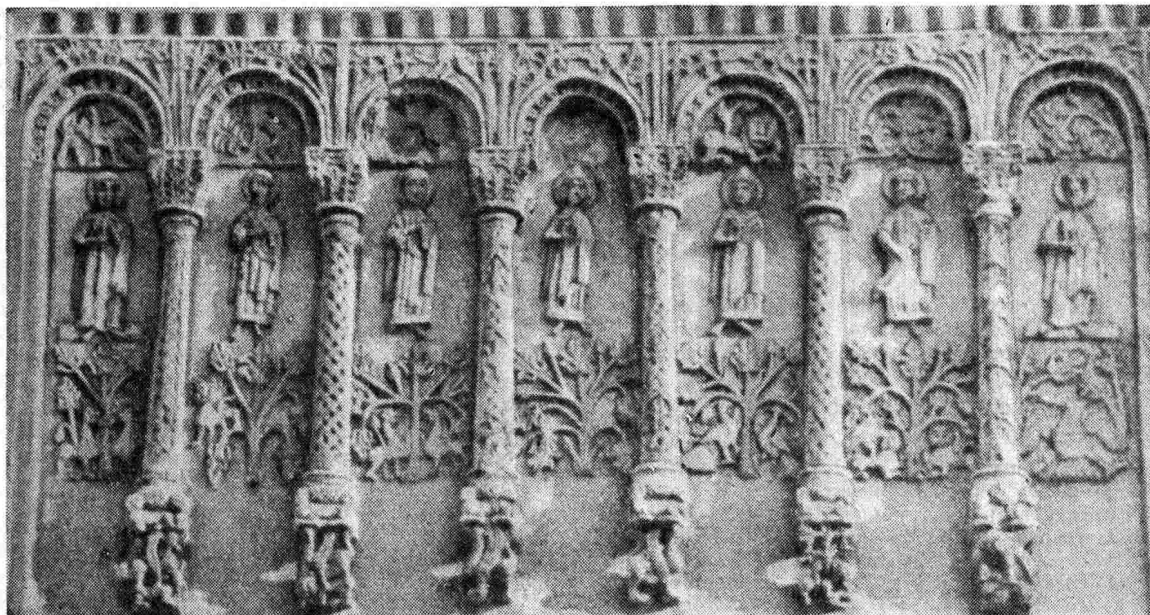
Этот вымерший уклад, о котором со всех сторон говорят искусные строения прошлого, этот строй жизни был целостным и противоречивым. Он соединял великое, прекрасное и ужасное. Волшебство строителей пережило этот быт, но каменные красоты Суздаля не в силах подкрасить в радостные тона все страшное, мрачное и бесчеловечное, что окружало эти чудные башни и стены. Искусство древоделцев, каменосечцев, зодчих воплотило в себе черты бессмертия народа. Вечен народ, что растит хлеб, слагает песни и возводит стройные стены.

Идеологические и социальные формы, в которых когда-то родилась суздальская красота, с ходом истории превратились в мертвящие оковы. Народ разбил их, но сберег красоту, в которой — сердце народное, «в рабстве спасенное».

...Туристы, туристы, туристы... Конечно же, лишь немногие из них — пустые зеваки, и только единицы из них бестрепетной рукой калечат красоту, хотя и они успевают принести немалый вред. Но это ведь только те, для кого поклонение богу исчезло, а вместо него не явилось поклонение прекрасному, возвышенному, родному. Нет, думаю, я неправ, опасно косясь на всех туристов. Они — это я, это мы, идущие по незарастающей тропе на свидание с историей и искусством. Только бы чуть больше тишины, чуть больше смущения.

...Не могу удержаться — все-таки вспомню эту давнюю, многими уже помянутую историю, тайну которой приоткрывает суздальский музей.

В Суздаль, в Покровский монастырь, сослал Василий III супругу свою Соломонию Сабурову, обвинив ее в бесплодии. Но из Суздаля в Москву вскоре дошли слухи, что Соломония, постриженная в монахини под именем Софии, родила сына. Приехали из Москвы бояре, а им сказали, что мальчик умер: вот и могила его... В 1934 году захоронение вскрыли и обнаружил в нем... куклу, одетую в детскую шелковую рубашечку. Рубашечка — в суздальском музее, за стеклом и покрывалом. Значит, сына своего Соломония упрянула от государев слуг, спасла его?.. Вырос он и — есть такая легенда — стал разбойником Кудеяром. А вторая жена царя, Елена Глинская, родила ему сына Ивана, позже прозванного Грозным. Будто бы даже дорога свела однажды Кудеяра и Грозного...



На снимке сверху — Владимир. Пояс северной стены Дмитриевского собора. 1194—1197.

Слева — Владимир. Золотые ворота. 1164.
Справа — Суздаль. Крепостная стена Спасо-Евфимиева монастыря XVII века.
(См. также снимки на третьей странице обложки.)

Рано утром сурдальские школьники, как и повсюду, спешат в свои школы. Поля подступают к городу. На могиле Димитрия Пожарского цветут цветы. Птицы, птицы — над колокольнями...

ДВОЕ В ОДНОМ ТАРАНТАСЕ

Лет сто тридцать тому назад, если верить В. Соллогубу, автору известной в свое время повести «Тарантас», по дорогам России ехали два помещика — Василий Иванович и Иван Васильевич. Василий Иванович был человек практичный, трезвый, не без иронии. Он здраво полагал, что едет «из Москвы в Мордасы, через Казань» — только и всего. Его пылкий, молодой спутник не просто ехал, но «путешествовал» в поисках истинно народных начал жизни.

— Поскорее бы приехать нам во Владимир, — твердил он. — Владимиром я могу прекрасно начать свои путевые впечатления. Владимир — древний город; в нем должно все дышать Древней Русью. В нем-то отыскать, верно, всего лучше источник нашего народного православного быта. Я вам уже говорил, Василий Иванович, что я... и не я один, а нас много, мы хотим выпутаться из гнусного просвещения Запада и выдумать своеобычное просвещение Востока...

Во Владимире «рано утром, когда Василий Иванович потрясал еще стены своим богатырским храпом, Иван Васильевич отправился отыскивать Древнюю Русь. Ревностный отчизнолюбец, он желал, как читатель уже знает, отодвинуть снова свою родину в допетровскую старину и начертать ей новый путь для народного преобразования».

Иван Васильевич пытался приобрести нечто вроде путеводителя по древностям, но такового книгопродавец ему предложить не смог, и «бедный Иван Васильевич пошел осматривать город без руководства».

«Он припомнил и Мономаха, и Всеволода, и Боголюбского, и Александра Невского, и удельное время, и набеги татар, но припомнил, как школьник твердит свой урок. Как они тут жили? что тут делалось? — кто может это теперь рассказать?»

Особенно поразило Ивана Васильевича драматическое несоответствие памятников истории с окружающей их провинциальной жизнью.. «...Он понял тогда или начал понимать, что сделанное сделано, что его никакой силой переделать нельзя; он понял, что старина наша не помещается в книжонке, не продается за двугривенный, а должна приобретаться неусыпным изучением целой жизни».

...Вы почувствовали, конечно, смешливое отношение автора к своему молодому герою. Почувствовали и то, что автор отвергает не «отчизнолюбие», а поверхностное славянофильство Ивана Васильевича и не ведавшего, как много злого в той старине, которую он хотел вернуть.

Старина, к счастью, невозвратима, если под «стариной» разуметь определенный общественный уклад, но уроки старины могут и должны быть постигнуты, только не беглой экскурсией и не торопливым перелистыванием путеводителя, но «неусыпным изучением целой жизни».

Изучением целой жизни.. Эти слова могут быть поняты двояко: «целая жизнь», то есть определенное нерасторжимое целое, есть та жизнь, что окружала когда-то исторические памятники, и вне ее не-

возможно понять их значение, ибо они были активной частью той жизни; вместе с тем целую жизнь должны мы не уставать, не остывать заниматься познанием России, как определил Горький «увлекательнейшую из наук»: узнавание Родины в ее прошедшем, нынешнем и грядущем. Вне нашей жизни душа памятников тоже непостижима...

ВЛАДИМИР

И вот мы снова на могучем владимирском холме. Над нами шелома Успенского и Дмитриевского соборов. Внизу, под горою, и вокруг — новый, огромный, современный Владимир.

...Но вверх взгляни. — над сизыми холмами
Увидишь ты ожившую мечту, —
Как дым костра в безветрие, как пламя,
Как песня храм струится в высоту.
Он рвется ввысь, торжественен и строен,
Певучей силой камень окрылен, —
Для бога он иль не для бога строен,
Но человеком был воздвигнут он.
И нет в нем лицемерного смиренья, —
Безвестный зодчий, дерзостен и смел,
Сам стал творцом — и окрылил камень,
И гордость в них свою запечатлел.
И ты стоишь на каменном пороге,
И за людей душа твоя горда, —
Приходят боги, и уходят боги,
Но человек бессмертен навсегда,
(В. Шефнер.)

...Успенский собор, воздвигнутый над обрывом к Клязьме, над Владимиром, над заречными далями. Припомним, что собор был заложен в 1158 году зодчим сына Юрия Долгорукого, князя Андрея, прозванного Боголюбским. Собор горел, его искусно обстраивали зодчие младшего брата Андрея Боголюбского — князя Всеволода III (прозванного Большое Гнездо — за многочисленное свое потомство).

Успенский собор вызывающе соперничал с киевской Софией своей величиной и красотой. Князь Андрей перенес свою столицу во Владимир, и Успенский собор возвестил о величии и силе нового государственного центра. Когда Иван III собрался построить Успенский собор в Московском кремле, он послал во Владимир Аристотеля Фиораванти, дабы тот взял за идеальную норму владимирский собор, и итальянец был изумлен творением русских зодчих XII века. Во владимирском Успенском соборе находилась икона Богоматери, работы поразительно византийского художника начала XII века, которая ныне восхищает посетителей Третьяковской галереи. Собор расписывали в 1408 году Андрей Рублев и Даниил Черный...

«В ранние часы рассвета, когда владимирские холмы тонут в призрачном море поднимающегося тумана, можно видеть захватывающее воображение и теперь зрелище, как пламенеющий в красных лучах восходящего солнца собор как бы отделяется от земли и плывет на зыбком, колеблющемся облаке...» — такие слова находит современный ученый, чтобы сказать о чуде, сотворенном безвестными зодчими.

И рядом с Успенским собором младший брат его — собор Дмитриевский, построенный зодчими Всеволода III. 1194—1197 годы... Он тоже величествен, но он умиротвореннее, теплее, параднее. Слово бы Древний Владимир вошел в свою светлую, благополучную, преуспевающую пору. Резвое убранство собора сравнили с тяжелой драгоценной тканью, брошенной на тело собора и окаменевшей в виде рядов растений, чудиц и животных, напоминающих языческую чашу образов «Слова о полку Игореве».

Торжественный покой соборов веками хранят Золотые ворота. Толщи их белокаменных стен оперлись о землю, как богатые ноги легендарного воина, достающего до небес. Где-то далеко от богатырской головы, там, внизу, меж гигантских пят, ходят маленькие великие люди, создавшие Золотые ворота. Автомобили, троллейбусы осторожно оглаживают, объезжают ворота, не однажды отремонтированные и переделанные, но выстоявшие с 1164 года, когда строители Андрея Боголюбского возвели их на страх врагам и на защиту владимирцев, гордо напомнив именем своего сооружения о состязании с киевскими Золотыми воротами. На стенах внутренней каменной лестницы ворот сохранились надписи, нацарапанные несколько сот лет назад защитниками Владимира: Золотые ворота штурмовали татары; здесь владимирцы встречали Александра Невского, возвращавшегося из Орды...

Вдохновенный проповедник Серапион Владимирский скорбел: бог «...наведе на ны язык (народ) немилостив, язык лют, язык не щадяшь красы уны, немощи старець, младости детиин..., кровь и отець и братия наша, аки вода многа, землю напои...; села наша лядиною (кустарником) поростоша; величество наша смерися; красота наша погыбе; ...земля наша иноплемеником в достояние бысть...»

...С высокого земляного вала XII века, частью хранящего близ Золотых ворот, ныне владимирские дети катаются зимой на санках, а то и просто садятся на снег и скатываются, хохоча... В бывшей надвратной церкви Золотых ворот — военно-исторический музей, галерея Героев Советского Союза — владимирцев. Галерея очень проста, забываемо проста. С фотографий на вас смотрят лица, лица, лица...

Раннее утро 22 июня 1941 года застало Алексея Лопатина на границе — он был начальником 13-й пограничной заставы Владимир-Волынского пограничного отряда. Ему было 26 лет, раньше он учился и работал в Коврове, был слесарем экскаваторного завода. На рассвете того июньского дня более двух фашистских батальонов при поддержке артиллерии и минометов атаковали 13-ю заставу. Ночью, провожая женщин и детей в тыл, Алексей сказал жене: «Прощайте. Идите. Живыми мы не сдадимся». Застава оказалась в глубоком окружении. Разбиты все блокгаузы и дзоты, пограничники перешли в подвал и продолжают оборону. 30 июня в живых осталось всего десять пограничников. 1 июля фашисты устроили подкоп. При взрыве погибли все защитники... Они первыми приняли на себя вероломный удар. Память о них свято хранят на заставе имени А. В. Лопатина, на Ковровском экскаваторном заводе, в белорусском селе Скоморохи, во Владимире... Сыновья героя пошли служить на границу, которую защищал отец. Жена его переехала в места, где сражался и погиб Алексей Васильевич Лопатин...

И еще много замечательных лиц смотрят на нас в галерее героев¹, а рядом с нею, в вершинной части тех же Золотых ворот, портреты владимирцев — героев Шипки, освободителей Болгарии от чужеземного ига, лица братьев Столетовых, лица Суворова, Багратиона...

Все это надо видеть там, в вершинной части Золотых ворот, и тогда сказанное не будет простым перечислением исторических имен. И эти лица и эти знамена кровно связаны с владимирской землей, с Россией. Так вот, думается, откуда свет, осяявший белизною певучие творения русских зодчих.

¹ См. книгу: А. Нагорный, В. Травкин, Владимирцы — Герои Советского Союза, Ярославль, 1964.

Золотые ворота вступили в свое девятое столетие. Туристы озирают, машины, троллейбусы объезжают, оглаживают массивную толщу Золотых ворот. Владимирцам они привычны.

ХРАМ ПОКРОВА НА НЕРЛИ

Прежде чем встретиться с прославленной церковью, я увидел ее всем знакомые черты на старой фотографии, висевшей в узенькой комнатке, где жил один студент со своей мамой. То был очень чистый и очень талантливый человек; он писал стихи, страдал, что из-за тяжелой своей болезни не может помочь маме, и чувствовал в себе призвание к поприщу благородному и честному. За стеной жил сосед, грубый, спившийся, он бил свою дочь, и будущий писатель Марк Щеглов, так звали студента, на костылях рвался защитить девочку... Все это мне почему-то вспомнилось, когда я собрался на свидание с одиноком храмом Покрова Богородицы, поставленным на берегу Нерли зодчими Андрея Боголюбского в 1165 году.

По дороге к храму, в селе Боголюбове, нас встречают остатки княжеского дворца, надстроенные, обстроенные со всех сторон много позже. Всего только лестничная башня и переход, ведший когда-то во дворец князя Боголюбского, — вот все, что дошло до нас от XII века. «Но погоди, любознательный и благочестивый путешественник, разочаровывайся: и в этих немногих остатках древнего Великокняжеского монастыря много найдешь любопытного и такого, что сильно тронет твое благочестивое чувство», — писал В. Доброхотов, редактор Владимирских губернских ведомостей, в своей книге «Древний Боголюбов город и монастырь с его окрестностями» (М., 1852).

На этом месте будто бы кони, везшие икону Богородицы, остановились, и ничто не могло их заставить двинуться дальше. Кони знали, где остановиться: на берегу Клязьмы, при впадении в нее Нерли, в десяти километрах от столицы — Владимира, князю надо было основать свой укрепленный замок, который стерег бы речные ворота. Эта лестничная башня, эти стены видели последние минуты Андрея Боголюбского, убитого боярами июньской ночью 1174 года.

Из Боголюбова отдаленно виден храм Покрова на Нерли. Историки доказали, что был он частью большой архитектурной композиции, стоял на искусственном холме, облицованном белокаменными плитами, и играл важную политическую роль. Летописец сообщает, что храм был поставлен по кончине Иязслава, сына Андрея Боголюбского: князь Андрей «аще печалию о скончавшемся сыне яко человек объят був и скорбяше». Историки, однако, уточняют, что строительство храма связано прежде всего с определенными социальными задачами. Храм призван был утвердить мощь и величие владимирской земли. В устье тогдашнего русла реки храм величественно встречал суда из Суздаля и Ростова, корабли послов и гостей из стран Востока, с Волги и Оки. Такую картину рисуют историко-археологические разыскания... Мы же сроднились с одиноким, колеблющимся в водах женственным обликом, к которому ведет луговая тропа.

«...здесь, надобно полагать, природе помогало и искусство», — отмечал Доброхотов, изумленно описавший, как храм «при тихой погоде и ясном небе, особенно в лунные ночи, живописно возникает из своих зеркальных окрестностей», как действует на путника «ропотный перелив речных и озерных волн в бурные ночи», как неотделима безлюдная церковь Покрова на Нерли от природы: «...свет ее —

солнце и луна, пение — унылый шум ветров и волн, стражи — старые вяз да ива». Местные жители передавали сказочные были: будто видели в церкви огонь, зажженный невидимой рукой, видели некоего человека, чудесно вошедшего в запертый храм, будто однажды, в праздник Покрова, сияющие в лучах солнца, вооруженные воины на белых конях неслись от церкви по берегу Клязьмы к Владимиру...

За лугом, в полукилометре от храма, сегодня мчатся по железной дороге составы. К церкви подступают мачты электропередачи. А она тихо колеблется в отражении, зовет нежным ликом, радуется скромным убранством, дивит невесомостью, плавностью восходящих линий. Она не избежала позднейших доделок, но сильнее оказалось искусство.

По какой ты скроена мерке?
Чем твой облик манит вдали?
Чем ты светишься вечно, церковь
Покрова на реке Нерли?
Невысокая, небольшая,
Так подобрана складно ты,
Что во всех навек зароняешь
Ощущение высоты...
Так в округе твой очерк точен,
Так ты здесь для всего нужна,
Будто создана ты не зодчим,
А самой землей рождена.

(Н. Коржавин.)

Даже и очень хорошие стихи, посвященные этому чуду, не могут устоять рядом с ним. Равной гармонией обладают только такие явления поэзии, как плач Ярославны в «Слове о полку Игореве». «Полечю,— рече,— зегзицею по Дунаеву, омочю бегрян рукав в Каэле рече, утру князю кровавыя его раны на жестоцем его теле!»

Рассказывают, что сохранением этой красоты мы обязаны странному случаю... В конце XVIII века жители соседнего села получили уже от церковного начальства разрешение разобрать нерльскую церковь, чтобы использовать камень ее для постройки в своем селе новой церкви вместо ветхой, деревянной. Но крестьянин, который полез на купол, будто бы ослеп... И никто не решился разобрать храм Покрова на Нерли. «Вот чему любители древностей и археологии обязаны сохранением Покровской церкви, стен которой не касались и самые варвары!» — восклицает старинный краевед... Как бы то ни было на самом деле, а крестьяне в итоге оказались мудрее, прозорливее своих церковных пастырей...

И если позволить себе извлечь из этого рассказа символический смысл, то можно безо всякого преувеличения сказать, что красота храма Покрова на Нерли открывает глаза. Уходя от него, унося его с собой, мы лучше видим красоту народо-творца, красоту Родины. И вместе с тем, как это бывает при встрече с великим искусством, мы слышим веяние бесконечного, невыразимого — что-то такое, чему невозможно дать определение, не обеднив при этом свое чувство, для которого нет слов...

ОХРАНЯЙТЕ НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ

В 1926 году, под впечатлением поездки в Новгород, Луначарский пишет статью «Почему мы охраняем церковные ценности». В этой статье есть проникновенные страницы, дающие исторический, художественный и «человечески-психологический» портрет «великого храма Софии», построенного в Новгороде в 1045—1050 годах зодчими князя Владимира Ярославича, сына Ярослава Мудрого. «Вековое величие новгородских церквей... перевидев все на свете, пережив целый пласт возникавших и развали-

вавшихся домов, донесло свою гордую голову до наших дней», — пишет Луначарский.

Существенно важно, говорит он, отделять религиозное назначение храма от его культурно-исторического значения. «Для одних — это старая церковь, откуда молитвы к богу доходчивей, для других — это памятник старины, который они оберегают во имя растущей и заботливо относящейся к своему прошлому культуры».

Марксизм дает возможность объяснить, почему «древности, сохранившиеся в Новгороде, имеют почти исключительно церковный характер, и светская жизнь, военная и политическая, дошла до нас сквозь церковь». Были эпохи, когда в соответствии с их особенностями выдающиеся художественные ценности возникали в сфере деятельности церкви.

«Пролетариат же, — делает вывод Луначарский, — должен суметь покончить со всем безобразием прошлого, а красоту прошлого — там, где она есть, — уберечь».

Очень кстати для нашего разговора статья Луначарского о пермской деревянной скульптуре — «Пермские боги» назвал он ее (1928). Луначарский мудро говорит о народном перетолковании и религиозных образов, о побеждающем воздействии народного творчества на некоторые произведения, связанные с церковным обрядом. О деревянных скульптурах Христа он говорит, что это «пермяцкий мужик». Пермские мастера переосмыслили религиозный образ, дали ему свое лицо. Было бы, конечно, крайним упрощением полагать, что создатели пермской деревянной скульптуры приближались тем самым к атеизму. Верой вдохновлялось их искусство, но конкретно-историческое содержание этой веры, несомненно, впитало народные представления о справедливом и прекрасном.

В эпоху, когда воздвигались гениальные произведения древнерусского зодчества, народное искусство уже имело на Руси богатейшие традиции, уходящие своими корнями в незапамятные времена. Песни и сказки народа, его выразительнейший язык, его красивые обычаи, мастерство его каменосечцев, древодельцев, веками накопленная культура — вот главный арсенал, из которого черпались образы, пропорции, весь лад и склад древних храмов.

В XIII веке, в пору тяжких испытаний, было создано поэтичнее «Слово о погибели Руския земли». В «Слове» этом звучит хвала Родине:

«О светло светлая и украсно украшена земля Руская! и многими красотами удивлена еси: озера многими удивлена еси, реками и кладязми месточестными, горами крутыми, холми высокими, дубравами чистыми, полями дивными... города великими, селы дивными... Всего еси исполнена земля Руская...»

Нам эту красоту беречь и беречь. Нам у нее учиться, вслушиваясь и вслушиваясь в ее голос.

Дружное соцветие национальных культур — советская культура. Перекликаются каменные песни Москвы и Киева, Владимира и Чернигова, Пскова и Галлина, Мцхеты и Бухары, Риги и Самарканда, Еревана и Вильнюса... Всего не перечесать! Немалыми красотами народного зодчества исполнена Советская страна. Они ждут нас.

Вновь оглядим просторы, открывающиеся с высоты городского холма над Клязьмой. Внизу — железная дорога, над нами — небо, обжитое людьми, вокруг — новая, современная владимирская земля, сливающаяся со всей безграничной далью нашей Отчизны.

Обернешься — белокаменные, крылатые, все летят и летят в поднебесье, летят, не расставаясь с нами, творения русских зодчих.

Анисим Кронгауз



ПОПЛЫВЕМ ЧЕРЕЗ ЛА-МАНШ

Поэт Анисим Кронгауз на этот раз выступает в «Юности» как автор спортивной статьи, которая посвящена проблемам марафонского плавания.

Недавно я забрел к своему товарищу, и мы не спеша обсуждали спортивные влечения, как теперешние, так и тридцатилетней давности. И тут раздался телефонный звонок—самый обычный, а не длинный междугородный. Однако звонили из Ленинграда. Теперь это так просто.

— Представь себе, он сейчас здесь, тот самый. Передаю ему трубку,— воскликнул мой друг.

Спрашиваю изумленно:

— С кем я буду говорить?

— С Наташей...

И уже слышу в трубке девичий голос:

— Здравствуйте! Это говорит Наташа. Так поплывем через Ла-Манш?

Боже мой, если бы вы знали, Наташа, что в эту секунду мне пришлось мысленно преодолеть дистанцию в тридцать лет, чтобы ответить:

— Ну, конечно, поплывем!

Да, в ту давнюю пору я не раз переплывал Ла-Манш. Мне могут возразить, что происходило это только в мечтах, но мечта моя была столь осязаема, что вполне могла соперничать с реальностью. Тут примешивается личный мотив, о котором, раз уж так было дело, не имею права не рассказать.

Впервые десяти лет от роду мальчик начал учиться ходить... Если бы не костыли, не освоить бы мне тогда эту труднейшую науку—ходить по земле. Но вскоре, как это часто бывает, костыли из спасителей стали моим крестом. Они следовали за мной повсюду, стуча по мостовым и паркету школьного актового зала. Если я на них еще ухитрялся играть на школьном дворе в футбол, то они не оставляли мне ни одного шанса на взаимность в той увертюре любви, которая в четырнадцать кажется важнее жизни.

Медицина сдавалась. Нужно было стать сильнее ее. А в таких случаях не обойтись без мечты, без героя, «делать жизнь с кого». И вдруг в обычных школьных пособиях—пример далекий и близкий, именно такой, как мне был нужен: лорд (на меньшее

бы я не согласился!) Байрон, великий поэт (я уже тайком пописывал рифмованные послания, не решаясь показать их адресатам, так как не имел ни одного шанса на взаимность)—первый пловец, преодолевший Ла-Манш (не есть ли это единственная стихия, где я могу попробовать сравниться со сверстниками, а может быть, и превзойти их), отличный боксер (как бы мне это помогло отвечать на обиды!), страдавший недугом хромоты (о, мой двойник в веках!)... Так я нашел героя, нашел пример, «делать жизнь с кого». Тут начались чудеса, подчеркивавшие ограниченность медицинского кругозора и неограниченность возможностей человеческого духа. Ночами мне снилась ритмично поднимавшаяся и снова погружавшаяся в стальные волны Ла-Манша голова одинокого пловца. По смыслу это должна была быть благородная голова английского лорда, но стрижка «под бокс» и в совершенстве освоенный, экономный и быстрый стиль «оверарм» все больше напоминали меня.

Чтобы не занимать много журнальной площади, приведу вместо прозаического рассказа свое юношеское стихотворение «Мой Байрон», расскажу свою собственную историю покороче:

Ни шага я не делал без усилья —
Мне подпирали плечи костыли:
Над мостовую выгнутые крылья
Меня с вороньим креном понесли.
Я догонял ровесников ночами,
Чтобы утрами отставать от всех,
Размахивая крыльями-плечами
И у здоровых вызывая смех.

Но мое детство оставалось детством —
С пиратами, с поскрипыванием рей.
Я ересью считал, коль не злодейством
Мысль, что я родиться мог без костылей.
От жизни убегая к разным книгам,
Прочел я в хрестоматии простой
О лорде, одиноком и великом,
Чья хромота считалась красотой.
Четырнадцать лет почти у цели
Сломал я о колено костыли.
И сапоги шли в дело и гантели,

И, как у лорда, мускулы росли.
 Ла-Манша так и не найдя в России,
 Преодолея шесть речных стихий
 И сочинил веселые такие
 О жутком одиночестве стихи.
 Когда ж однажды с гиканем и воем
 Свели нас с вожаком дворовых орд,
 Не стал я заниматься мордобоем,
 А в подбородок засветил, как лорд.
 Я голосом ломающимся, звонким
 Читал на вечеринках, горд и мал,
 И был уверен: нравится девчонкам,
 Что я немного, как и лорд, хромал.
 Пусть был я комсомольцем, а не лордом,
 Но, не как все, я Байрона любил,
 Не просто увлекался «Чайльд Гарольдом» —
 Сам Байроном
 я в восемнадцать был!

Здесь можно было и закончить о «личном мотиве», но уж очень хочется понять: что же преобразило меня, опрокинув прогнозы медиков? Я стал не только таким, как все, но и нередко превосходил физически своих сверстников. Обломки костылей пылились где-то на антресолях. Я стал вполне «боеспособен» во всяких нелегких для самолюбия ситуациях, которых так много бывает у мальчишек. На занятиях по физкультуре, от которой я все еще был освобожден, я при росте 159 выдувал больше всех: 6 600 «кубиков». Наконец, я перестал себя чувствовать «Золушкой» среди пышных ребячьих «балов» на танцплощадках, теннисных кортах, подмосковных «диких» пляжах.

Что же меня преобразило, какой «эликсир жизни», какое волшебное снадобье, панацея от всех болезней?

Меня подвляли стихи?.. И они. А может быть, увлечение боксом?.. И оно. Но все это были причины косвенные, субъективные, менявшие психику, выковывавшие характер. А хочется найти главную, объективную. И она была: это—увлечение марафонским плаванием.

Сколько тысяч поворотов сделал я в двадцатипятиметровом стареньком московском бассейне, сколько раз переплыл Москву-реку и канал в Химках, сколько крови перекачал мощный сердечный мотор за те несколько довоенных лет!

Мечтая о Ла-Манше, я брал ступеньку за ступенькой. Река Яик, где утонул раненый Чапаев, знакомая по кадрам фильма. Башкирская река Белая, напоминающая своей студеностью и прозрачностью быстрый родник. Темная и сильная, как воронье крыло, Кама. Мягкая, мечтательно-сонная Ока. Безбрежная Волга. И, наконец, сильный, стремительный Днепр. Все эти реки я «форсировал» обычно в наиболее широких местах «туда и назад», так как одежда моя, как назло, оставалась на том берегу, с которого я начинал плыть. Потом были моря: Каспийское, Азовское, Черное, Балтийское. На Черном стал заниматься всерьез: железная дорога шла вдоль берега, от одной станции до другой—семь километров. Вот я каждый день и плавал «туда и назад» четырнадцать километров, не ехать же обратно поездом в мокрых плавающих. Меня там дразнили «морским трамваем»...

Перед войной я был готов уже переплыть Ла-Манш, но Ла-Манш, видимо, тогда к этому был не готов. А после войны и вовсе марафонское плавание стало у нас не в чести. Довоенным энтузиастам этого вида спорта казалось, что о нем просто-напросто забыли, упустили из поля зрения, и стоит только напомнить... Но совсем недавно под это забвение вдруг подвели теоретическую базу: появилась разоблачительная заметка (и не где-нибудь, а в газете «Советский

спорт») о жуткой доле зарубежных марафонских пловцов-профессионалов, которые приплывают к финишу на потребу сытым зрителям, изурюченные огромными дистанциями, искусанные акулами (видимо, автор заметки представлял себе акул чем-то вроде подводных шавок).

Не знаю, какой гонорар получают за проплыть эти несчастные марафонцы, но знаю, что для любого, кто хоть раз окунулся в волны большой дистанции, нет дорожки награды, чем само плавание.

Зачем отдавать свой вид спорта, когда-то освоенный нашими ветеранами Файзулиным, Малиным, Рейзеном, сестрами Второвыми? Да и не найти медицине более верного союзника: многочасовая ежедневная дыхательная гимнастика, точно выверенная ритмичным погружением лица в воду (а чего стоит длительный водный массаж под небольшим давлением, гармоничные, плавные движения, в которых участвуют почти все группы мышц!). Увеличение, иногда почти вдвое, емкости легких, идеальная тренировка сердечной мышцы, изменение осанки. Кстати, удивляет невежественность тех, кто твердит о «непосильных» нагрузках. Взрывные, внезапные напряжения на коротких дистанциях больше изурюют, чем естественное, постепенное вхождение в марафон.

Марафонское плавание — это и огромная волевая закалка, экзамен на выносливость. Представьте теперь, как желательно владеть навыками марафонского плавания, например, молодому бойцу.

За последние годы появился еще один немаловажный аспект этой проблемы. Сейчас большинство рекордов на дистанциях от ста до тысячи пятьсот метров — удел 14—18-летних. А некоторые двадцатилетние «ветераны» собираются с грустью прощаться с любимым видом спорта (о более старших и говорить нечего!). Скорости так возросли, что это вполне естественно и объяснимо. Более того, 10—12-летних детей, впервые приходящих в бассейн, считают уже пропустившими свое время, чтобы всерьез заниматься с ними плаванием.

Но ведь, возобновив плавание на большие дистанции, включив их в различные соревнования, организовав речные и морские проплывы по «открытой воде», можно было бы бесконечно раздвинуть границы возраста. Пловец с годами, теряя в резкости и скорости, выигрывает в выносливости. А готовить к длинным заплывам нужно долгие годы. Таким образом, полноправными хозяевами водных дорожек сразу станут и «бесперспективные» двенадцатилетние и двадцатипятилетние «ветераны». Я уж не говорю о своих сверстниках, у которых появится стимул — не только купаться, но и плавать.

А какой наглядной и яркой пропагандой нашей физической культуры вообще и плавания в частности могли бы стать традиционные ежегодные проплывы по Волге — в честь Сталинградской битвы, по Днепру — в честь героев форсирования Днепра, по Днестру — в честь дружбы народов социалистических стран, а может быть, и проплыв через Ла-Манш, где советские спортсмены благодаря идеальным условиям тренировок, хорошей физической подготовке и не ведающей страха душе могли бы соперничать с любыми зарубежными пловцами!

Так что, незнакомая ленинградка Наташа, я не отказываюсь от своих слов, сказанных тогда горячо по междугородному телефону. Я все теперь продумал и взвесил и повторяю: поплывем! И пусть нас будет больше!

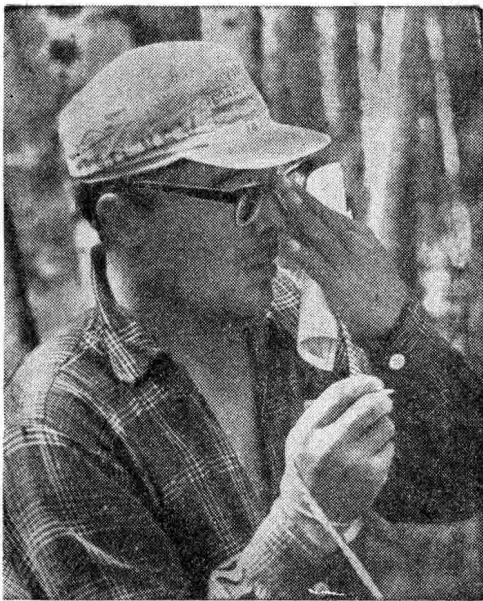


Фото В. Полякова.

Евгений Иванов

БЕГАТЬ НЕ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ДУМАЕТ ГОЛОВА

Летняя ночь. Подмосковная платформа. Карта, освещенная фонариком. Мы должны как можно скорей найти в темном лесу слабо мерцающий огонек и палатку с судьей — контрольный пункт. На карте все очень просто: в лесу полянка, на ней пост. Но как отыскать в ночном лесу правильный путь? А соперники не ждут. Гулко тоная по платформе, команды скрываются в темноте.

И мы, пятеро студентов МАИ, бежим по лесу, проваливаемся в болота, скатываемся в овраги, продираемся сквозь заросли. Рюкзак бьет по спине, пот заливает лицо, легкие работают, как мощные мехи. Нас ведет Саня Баринов, улыбатый парень, большой знаток лесных секретов, и поэтому мы почти не сбиваемся с пути. Вот наконец впереди блеснул огонек — контрольный пункт. Потушив фонари, осторожно (не привлечь бы внимание противников) выходим на полянку. Пока судья отмечает нашу команду, успеваем сделать несколько успокаивающих вдохов. И снова в путь, на поиски следующего поста.

Рассвет застает нас на пути к финишу. Потом мы сидим у костра, смертельно уставшие, голодные и оборванные, наслаждаемся горячим чаем и вспоминаем ночную эпопею.

Так почти пятнадцать лет назад для меня началось спортивное ориентирование, которое в то время называлось «закрытым маршрутом». Сейчас невозможно без улыбки вспомнить тогдашние правила.

Но пройдет еще несколько лет, ориентирование увлечет тысячи новых туристов, и станет ясно, что

у нас рождается новый вид спорта, который требует единых общесоюзных правил. И соберутся в Тарту законодатели, и будут до безумия спорить, отстаивая собственные проекты, и, наконец, охрипнут, так и не придя к единому мнению. И тогда Владимир Владиславович Добкович, который еще до войны организовывал в Ленинграде состязания туристов в ориентировке, выставит законодателей из комнаты, разложит перед собой десятки листков с эстонскими, московскими, ленинградскими проектами, с выдержками из финских и шведских правил и начнет резать, клеить и составлять наши, советские, правила. Остальные участники этой конференции, эстонцы Анто Раукас, Эндель Изоп и Райн Лахтметс, москвичи Игорь Плотке и Феликс Балашов, латыши Эдмунд Тарденак, свердловчанка Нина Трубина, ленинградец Людвиг Беляков, будут часами кружить в саду, ожесточенно споря и жестикулируя, подсказывать к окну и дотошно обосновывать Добковичу только что пришедшую в голову идею. На это совещание вдруг явятся совсем молодые Тыну и Майре Райд, впоследствии прославившие нашу страну за рубежом, и подарят участникам конференции красно-белые призы, которые станут вскоре непременным атрибутом соревнований ориентировщиков.

Новые правила найдут своих сторонников и противников, будут обсуждаться, подвергаться сомнениям, пока не наступит знаменательный день — открытие первых Всесоюзных соревнований. И этот день — 12 октября 1963 года — станет днем рождения советского спортивного ориентирования.



Эта девушка получила на старте карту, и теперь ей необходимо как можно скорее записать задание, то есть нанести на свою карту контрольные пункты, которые ей предстоит пройти. Лучшие мастера выполняют эту операцию за 1,5–2 минуты.

Сейчас мне тридцать два года. Мастером спорта я уже не стану, чемпионом — тем более. Для этого нужно по крайней мере пробегать, тренируясь, полсотни километров еженедельно и раз тридцать — сорок в год стартовать на соревнованиях. И все же каждый раз, когда представляется случай, я выхожу на старт. За спиной нет ничемного рюкзака, не стесняет движений штурмовка (ориентировщики отвергли эти атрибуты туризма), в руках испытанный жидкостный компас. Передо мной лес, полный загадок и неожиданностей. Придется поработать: чтобы найти все контрольные пункты (КП), предстоит пробежать никак не менее пятнадцати километров. Иногда мелькает тревожная мысль: справлюсь ли? Не опозориться бы! (Как-никак ответственный секретарь Всесоюзной секции ориентирования.)

Взмах флажка стартера — и я убегаю с поляны. В руках у меня карта, листок бумаги, испещренный десятками значков и линий: просеки и дороги, поляны и болотца, овраги и ручьи скрываются за этими обозначениями. Отбежав немного в лес, бросаю быстрый взгляд на карту. Вот место старта, а здесь, на вырубке, первый КП. Да, задача нелегкая. Судьи поставили контрольный пункт там, куда не ведет ни дорога, ни тропинка. Лихорадочно соображаю. Есть несколько вариантов пути. Один из них на первый взгляд самый простой — по азимуту. Но попробуй пробежать больше километра по идеальной прямой через завалы и овраги! Чуть уклонись в сторону — и прощай КП. Выгода второго варианта очень сомнительна: по дороге до просеки, потом по просеке к оврагу — и вверх по нему до вырубке. Получается путь вдвое длиннее. Что же делать? А време-

ни на раздумья нет. Пока размышляю, утекло две минуты, и мимо промчались три соперника. Так и тянет сорваться вслед за ними. «Имей выдержку и продумай свой вариант до конца, — уговариваю себя. — Иначе получится как в прошлый раз, когда на поиски первого КП затратил больше часа и потом пришлось выслушивать от товарищей популярную среди ориентировщиков истину: дурная голова ногам покоя не дает.

Решаю взять азимут на овраг. Он такой длинный, что мимо него проскочить невозможно. Теперь нужно сориентировать компас с картой, поставить азимут, подсчитать расстояние до оврага. Бегу, считаю на ходу шаги, ухитряюсь глядеть сразу на компас, по сторонам и под ноги. Вот и овраг. В его верховьях должна быть вырубка с контрольным пунктом. Крайне довольный собой, пробираюсь через высокие заросли крапивы: вот-вот увижу знак КП, красную белую призму. Но что это? Овраг кончился, вырубке нет, на ее месте болото. Петляю вокруг, как заяц, тщетно вглядываясь в чащу леса. Контрольного пункта нет. Напряженно шарю глазами по карте. Сердце стучит от бешеного бега, пот заливает глаза, все тело облепила паутина и какая-то мошкара. Возвращаюсь в овраг, проверяю его направление: с картой все сходится. Опять мучительное раздумье! Внезапно осенило: овраг, в котором я нахожусь, гораздо меньше показанного на карте. Конечно, это ответвление основного, «моего» оврага. Проклиная свою несообразительность, карабкаюсь по крутому склону. Через минуту судья КП отмечает в протоколе мой номер. Теперь приходит уверенность в своих силах, которая моментально сменяется беспокой-

ством (потерял много времени). Но ничего — большая часть дистанции впереди.

Когда финиширую, выясняется, что мой результат вдвое хуже времени победителя. Тем не менее чувство огромного удовлетворения охватывает меня: ведь я прошел всю трассу и нашел все КП. Я чувствую себя единомышленником этих мастеров, с которыми только что соревновался на одной дистанции. От меня, может быть, ускользнул ход борьбы за первое место, но я прочувствовал трассу, понял ее тонкости, разобрался в загадках. Я могу на равных поспорить с победителем, как надо было брать третий КП, высказаться, почему он проскочил пятый, выразить сомнение в привязке восьмого пункта. Я слежу за нитью его размышлений, улавливаю его сомнения, переживаю его ошибки. (Это и мои размышления, мои сомнения, мои ошибки.) И я наверняка знаю, что на следующих соревнованиях все повторится опять: отчаянная работа мысли будет сменяться растерянностью, ощущение провала уступит место радости долгожданного открытия.

Инженер Людвиг Беляков определил ориентирование как «непрерывное творчество в сложных, постоянно меняющихся условиях». Мастера спорта Виктора Мохова увлекает «возможность выиграть практически любые соревнования». Эстонец Райн Лахтметс: «Что может быть привлекательнее: бегать не быстрее, чем думает голова?» Физик Владимир Самойлов выразил свое кредо формулой: «Голова + ноги = ориентирование + спортивность». Наконец, финский ветеран Вяйне Нурмиаа считает, что спортивное ориентирование «подходит в одинаковой степени для почитателей спокойных пеших переходов и для любителей «вгонять себя в мыло», для молодых и старых, для мужчин и женщин. Оно приводит в движение не только мышцы, но и мозг. А поэтому вызывает чувство жизнерадостности и забвения повседневных забот».

А для меня ориентировщик на дистанции подобен шахматисту, попавшему в цейтнот. И тот и другой поставлены перед необходимостью выбрать из массы вариантов лучшее решение задачи, имея на это минимум времени. Голова спортсмена в обоих случаях должна работать предельно четко, не допуская неточностей и слабых ходов.

Эта напряженная работа мысли, связанная с большой физической нагрузкой, новизна ощущений, постоянное чувство неудовлетворенности и желание «победить себя», наверное, и составляют главную прелесть бега с картой и компасом.

И важно, что в отличие от многих видов спорта в ориентировании нет жестокого возрастного предела. Борис Огородников, один из сильнейших московских ориентировщиков, имеет на этот счет такое мнение: «Я знаю, наступит момент, когда мне уже не под силу будет соревноваться с молодыми. Ну что же, ориентирование тем и прекрасно, что оно, помимо соревнования в силе, предлагает состязание умов. И я думаю, что мой опыт и интуиция доставят мне немало наслаждения, если удастся хотя бы однажды найти удачное решение мудреной технической задачи».

Борис совершенно прав. Ведь «нашли себя» на лесных трассах Гордон Пири и Вейко Хаккулинен, Кристофор Брешер и Джон Дислей, Семен Ржищин и Анатолий Гречишкин, поражавшие мир своими победами на лыжне, на дорожке стадиона, в состязаниях «охотников на лис».

А как увлекает ориентирование мальчишек и девочек! Каждое соревнование для них — это маленькое приключение, окруженное ореолом тайны и ро-

мантики. Образы знаменитых разведчиков и партизан, знакомые по книгам и кинофильмам, оживают в воображении ребят, когда они пробираются лесной глухоманью. Состязания требуют хитрости, ловкости, смекалки — тех качеств, которыми обладают любимые герои. И ты, даже сделав первый шаг, преодолев боязнь одиночества и самостоятельно войдя в незнакомый лес, уже испытываешь законное чувство гордости.

Вот что рассказывает преподаватель школы № 239 города Ленинграда Владимир Рыжик:

— Поначалу ориентирование играло у нас лишь вспомогательную роль, служило подспорьем туризму. Приобщение к спорту происходит сейчас довольно рано, и зачастую девятиклассники (а в нашей школе учатся только старшеклассники), не имеющие заметных способностей, нормальные ребята, которые любят бегать и прыгать, оказываются вне спорта. Многие из них проводят воскресенье, не зная, куда себя деть.

А у нас на клубной доске объявлений каждый понедельник появляется карта прошедших в воскресенье лесных соревнований. Около нее собирается толпа возбужденных ребят, они спорят, обсуждают прошедшие события. Слышатся странные слова: «привязка», «запоролся на пять минут», «прицепился к пятнадцатому номеру». Любопытно? Несомненно. И мы всем желающим предлагаем поехать в лес.

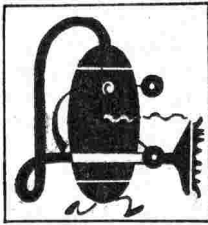
А есть ребята, которые из-за болезни отстали от сверстников в физическом развитии, стали стесняться своего участия в спортивных делах. Мы их тоже приглашаем: «Не надо бегать! Не надо! Ты попробуй пешком. Просто так походи по лесу. Для самого себя». Так ориентирование приобретает чисто оздоровительное значение.

Просто поразительно, сколь популярно ориентирование в Скандинавии. В четырехмиллионной Финляндии лесным спортом увлекается около 125 тысяч человек. В Швеции бег с картой стоит на шестом месте — после футбола, хоккея, лыж, легкой атлетики и гимнастики. Предметом нашей зависти является и превосходный инвентарь скандинавских ориентировщиков: нейлоновые костюмы, туфли с резиновыми шипами, планшеты из оргстекла, превосходные жидкостные компасы. Конечно, мы учитываем, что ориентирование культивируется в Скандинавии 60—70 лет, но наши ведущие мастера ориентирования уже пытаются на равных состязаться со скандинавами.

Не будем обольщаться, однако, первыми успехами сборной страны. Наша главная забота сейчас — массовость. Пример того, как увлечь лесным спортом каждого, являет Таллин.

Раз в год воскресным утром тысячи таллинцев уезжают по традиции за город: папы и мамы, бабушки и дедушки, семьями и в одиночку, на автобусах и в электричках. В начальном пункте похода они получают схему местности и отмеченные на ней контрольные пункты. Карта не даст заблудиться и поможет заглянуть в укромные уголки природы, а на финише каждый участник похода получит скромный сувенир — эмблему, и еще долго будут говорить об этом памятном дне в таллинских семьях.

Верю, что в будущем «День ориентирования» будет проводиться по всей стране. И ты, читатель, еще полюбишь эту удивительную лесную игру, паролем которой — листок бумаги, испещренный топографическими знаками.



ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Рисунки И. Оффенгендена.

— Как сыграл «Спартак»? — спросил гипертоник.
— По нулям, — ответил почечный.

— И на том спасибо.
— За что же спасибо? — возразил почечный.

— Как за что? Потеряли очко.

— Ну, так и мы потеряли.

— Мы-то найдем!

— А у «Торпедо», между прочим, тридцать девять очков, а играть им на игру меньше, — сказал почечный и проглотил таблетку. Он весь день глотал таблетки, и все, кто не любил их, отдавали ему половину. Другой на таких харчах уже давно бы вылечился, а он все болен.

— Ну так что? — спросил гипертоник.

— Как что? Финал на носу.

— Медвежьи уши у тебя на носу, — сказал гипертоник и схватился за сердце. Он всегда хватался за сердце, когда с ним спорили.

У почечного в самом деле к носу прилипли медвежьи ушки, потому что он пил их, не процеживая. Еще он глотал чай из лишайников, перекаати-поле и настой толченых бильярдных шаров.

— Конец паровозникам. Теперь они нам не помеха! — заключил печеночник.

Он был откормленный, румяный, и никто не верил, что у него большая печенка, даже врачи. Объяснял свою болезнь тем, что, мол, испортился характер. Раньше был веселый и добрый, а потом вдруг стал желчный. Врачи колебались, звали консультантов и назначали ему дуоденальное зондирование, но он не мог проглотить зонд, хотя, правду сказать, пытался добросовестно! Я сам видел, как он

давился этой сливой, а она все выскакивала обратно и хлопала, как пробка от шампанского. Слез у него набегало порядочно, но по ним разве сделаешь анализ?..

Я же попал в больницу с затемнением в области пупка. С моим снимком в палату вбежала перепуганная сестра и стала меня успокаивать. А я лежал и думал: «Почему мне всегда становится плохо осенью»? Она налила дозу валерьянки, которой налилась бы до экстаза дюжина сибирских котов, но я отказался. Сестра выпила валерьянку сама и ушла, вытирая слезы полой халата.

Через час у моей постели собрались лучшие силы больницы: два

доцента (правда, женщины), трое бородатых врачей и один бритый профессор, рентгенолог, а также консультант из онкодиспансера. Они долго тыкали пальцами в круглое пятнышко на негативе и зловеще перешептывались, потом профессор потербил мою шею и сказал с вымученной беззаботностью:

— Ну, дорогой, не волнуйтесь, все будет в порядке.

— Да мне все равно, — слабым голосом сказал я, и профессор вышел с уксусным выражением лица.

Вопрос разрешил мой сосед по койке, жизнерадостный закройщик с двумя предынфарктами и



искривлением носовой перегородки. Он взглянул на снимок сквозь очки с одной дужкой и сказал:

— Она... Конечно, она!

— Опухоль?

— Нет. Пуговица... ГОСТ 02-311, артикул 3356. Объясняю популярно: алюминиевая штамповка, обшитая мадаполамом.

Я присмотрелся к снимку и увидел в моем спасительном новообразовании две дырочки для пришивания. Я вспомнил, что именно такой пуговицы не хватало последнее время на моей пижаме... А врачи-то ничего не поняли, только, помню, спросили, не болейщик ли я случайно, и спроворили в тринадцатую палату.

Странные люди окружали меня в этой тринадцатой палате. Однажды я заметил, что гипертоник прибинтовывает к левой щеке подушку.

— Это зачем? — спросил я.

— Память тебе отшибло? Футбол по телевизору через пятнадцать минут.

— У нас же нет телевизора.

— Телевизор в ухе, горле, носе.

— А в ухо, горло, нос чужих не пускают.

— Та-а-ак! — протянул печеночник. — Значит, придется гримироваться. Симулировать, значит, будем.

— А я уже, а я уже! — запрюгал гипертоник с привязанной к уху подушкой.

— Тогда, хек! Я, хек! Тоже, хек, — сказал легочник, подпоясався полотенцем и стал привязывать к нему согнутую ногу.

— С ногой в ухо, горло, нос не пустят, — сказал почечник.

— А там, хек, на втором этаже, хек-хек, хирургия, — подмигнул легочник.

Печеночник подхватился и выбежал в коридор. Почечный отрезал кусок кабеля от наушников и воткнул один конец в нос, а другой в ухо. У меня нашелся лейкопластырь, я наклеил его крест-накрест на нос, подумал и на всякий случай залепил один глаз.

Мы двинулись в ухо, горло, нос. Возле корпуса уже бурлила сборная больных всех корпусов. Неврастеники с горящими глазами; изящные, как куры третьей категории, дистрофики; прихрамывающие ревматики перли в дверь, но их давление легко сдерживала одна полногабаритная санитарка. Завидев нас, она позвала:

— Поторапливайтесь, больные, будем закрывать!

Толпа уважительно расступилась, и мы прошли в дверь.

— Я здешний, меня еще не резали! — хрипло прошептал какой-то бедняга, но няня отодвинула его и щелкнула задвижкой. Он загудел и стал биться головой в толстое стекло, точно муха.

Тютелька в тютельку начался матч. Судья свистнул, и наши сделали первый удар по мячу.

И тут я увидел палатного врача. Мы встретились взглядами, и у меня похолодело под ложечкой, чуть левее солнечного сплетения. Но он смотрел как будто сквозь меня. Не до нас ему было, потому что в этот момент наши вкатили гол, и мы забыли, кто доктор, кто больной.

Такого матча я уже давно не видел. Нападающие висели на воротах противника, полузащита мощным поршнем ходила по полю, подхватывая мячи, которые отскакивали от стальной стены защитников, и подавая их в ноги форвардов. Тем оставалось только добивать. Голы тархтели, как горох из дырявого мешка. Ухо, горло, нос стонали. После этого матча наши стали недосыгаемы, золото уже сверкало на их взопревших шеях.

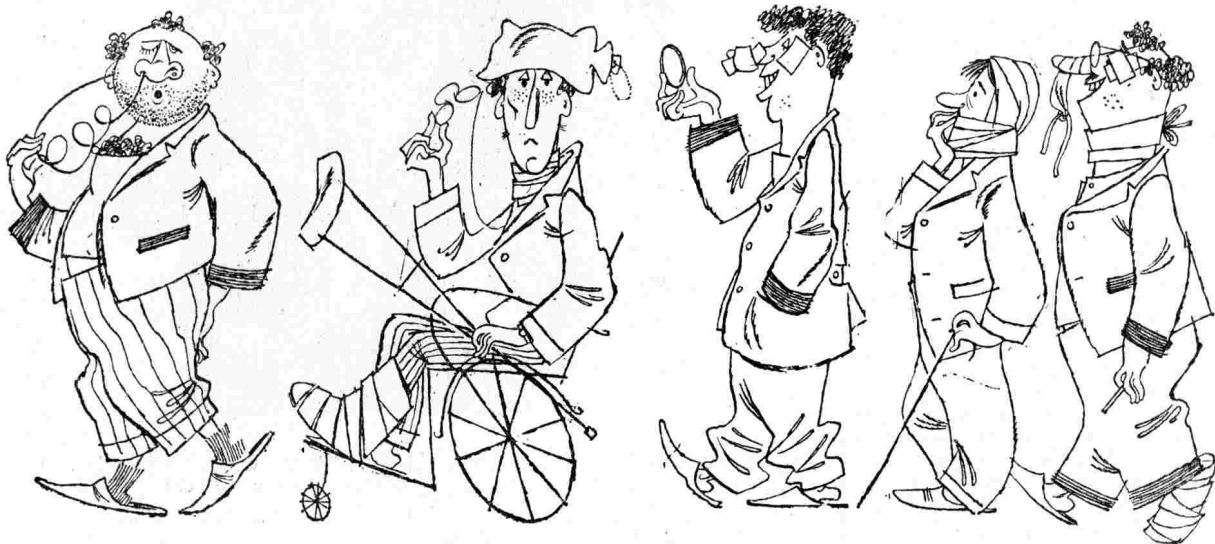
Наутро врач пришел в палату с большой лапкой и начал обстоятельно фиксировать состояние нашего здоровья. У гипертоника давление упало до нормы, и он от неожиданности схватился за сердце. Печеночнику наконец сделали анализ, и врач радостно объявил, что он действительно болен, но печеночник возразил, что ему теперь наплевать, так как его характер смягчился. Тот, который с воспалением легких, наконец больше не хекал, и теперь его дела пойдут на поправку.

Что касается меня, то врач тоже был доволен, его прогноз подтвердился: все мои симптомы были связаны с окончанием футбольного сезона. («Так вот почему мне всегда так плохо осенью!») Он посоветовал мне меньше верить врачам, больше в свою команду.

— А как же зимой, доктор?

— Хоккей, — сказал он. — Болейте хоккеем. Болезнь — залог здоровья!

Перевод с украинского.





ГАЛА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ»

Фото А. Карпухина.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ:

ЮНОША, ОБДУМЫВАЮЩИЙ ЖИТЬЕ — Владимир Миленин, начальник цеха;

ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫЕ: Надежда Володина, инженер; Валентина Кодаченко, испытательница; Валентина Чистобаева, инженер; Владимир Москалев, наладчик; Виктор Щеголев, слесарь-инструментальщик.

КОМАНДА ШХУНЫ «ТЯП-ЛЯП»: Татьяна Егорова, лаборантка; Людмила Сергеева, нормировщица; Сергей Стеркин, инженер; Михаил Леукин, инженер; Роберт Варакин, наладчик.

РУКОВОДИТЕЛИ АВТОРСКОЙ ГРУППЫ — Оскар Грачев, Михаил Яковлев, Михаил Кандрор.

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕЖИССЕРСКОЙ ГРУППЫ — Альберт Аксельрод.

На сцену выходит ЮНОША, ОБДУМЫВАЮЩИЙ ЖИТЬЕ.
Читает стихи:

Мы рождаемся людьми
или, может, принцами!
Как мне быть,
как мне жить —
по какому принципу!

Жизнь веков иль жизнь минут
та, что мне доверена!

Как мне быть,
как мне жить —
по какому времени!
По карману, по плечу,
по душе, по совести!
Как мне быть,
как мне жить —
по какой поговорке!

Помните:

«КВН — а что это такое?
КВН — вот первый наш вопрос...»

Такой песенкой начинались передачи этой молодежной программы давно-давно, еще когда я была маленькой.

Единственное, чего мне всегда не хватало в передачах Клуба веселых и находчивых, — цвета. Цветные телевизоры, к сожалению, есть еще не у всех, а у меня и подавно... Но однажды я все-таки видела цветной КВН. Просто я пошла в клуб Московского электролампового завода и посмотрела выступления живой заводской кавэзновской команды, которая показывала своим однозаводцам домашнее задание.

Что такое домашнее задание?

Это тот единственный идеальный случай, когда кавэзнички публично признаются: «Да, то, что мы вам сейчас покажем, мы написали и отрепетировали заранее». Так вот, команде электролампового завода была задана тема «Семь раз отмерь — один отрежь». Их театральная сатирическая разработка этой темы отмечена как лучшее домашнее задание в 1968 году.

Итак, в нашем сегодняшнем гала-представлении я объявляю: «Мини-обозрение «Меж двух огней!» Исполняет команда КВН Московского электролампового завода!»

Галка ГАЛКИНА



Со словами: «Ум хорошо, а два сапога пара!», «Что с воза упало, то в мешке не утаишь», — и со спасательными кругами в руках

ЮНОШУ, ОБДУМЫВАЮЩЕГО ЖИТЬЕ, окружают ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫЕ, напутствуют его:



Одним для счастья дан огонь.
Другим для счастья выдан дым.
Живи!

Гори!
Дыми!
Но помни,
что от горенья 01.
Ты смотри, предусмотри:
01, 02, 03!

Надев на ЮНОШУ спасательные
круги, ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫЕ
осторожно удаляются.



ЮНОША, ОБДУМЫВАЮЩИЙ
ЖИТЬЕ:

Спасибо
за ваши круги спасательные!
Спасите
от ваших кругов спасательных!
Невозможно!
Невозможно
жить настолько осторожно!

Я хочу открыть моря
на любом краю земли,
не хочу, чтоб от меня
по воде круги пошли!
Спаси-и-и-те!

На сцену «выплывает» ЛИХАЯ
ШХУНА «ТЯП-ЛЯП». Раскладуш-
ка — корпус шхуны; картонная
труба с мотористом внутри; бу-
мажный парус; половая щетка —
нос. Пестрая команда поет разу-
хабистую песню:

Заступили мы на вахту
И, по правде говоря,
в бухту имени Баракхты
мы плывем от фонаря!

Ни пути у нас, ни плана:
то назад, а то вперед.
Наша шхуна с капитаном
во все стороны плывет!

ШХУНА «ТЯП-ЛЯП» «подплывает»
к ЮНОШЕ, ОБДУМЫВАЮЩЕМУ

ЖИТЬЕ. Его вытаскивают из кру-
гов.

Мы тебе по крайней мере
объясним, как надо жить!
Нам не надо семь раз мерить,
наше дело — отрубить!

ЮНОША, ОБДУМЫВАЮЩИЙ ЖИ-
ТЬЕ, возгласом «НЕТ!» останавли-
вает действие. Выходит на аван-
сцену, ближе к зрителям:

Хочу найти свою тропу,
хочу пройти немедля
огонь, и воду, и трубу,
которая из меди.

Сто вариантов впереди,
решай, который лучше,
оставив крайние пути
на самый крайний случай.

Идешь ли сказочным путем,
спешишь ли бездорожьем,
не будь топорным лихачом
иль слишком осторожным!

Глупцов не бойся и невежд,
не бойся краснобая.
Семь раз отмерь, один отрежь,
но не перегибай!

Пускай ханжа, разинув рот,
абракадабру мелет!
В конце концов смеется тот,
кто плакать не умеет!

Все участники гала-представле-
ния:

В конце концов смеется тот,
кто плакать не умеет!

Занавес.
Конец гала-представле-
ния.



Памятники древней владими́ро-суздальской архитектуры.

(Смотрите в этом номере статью С. Лесневского «Красота наша»).



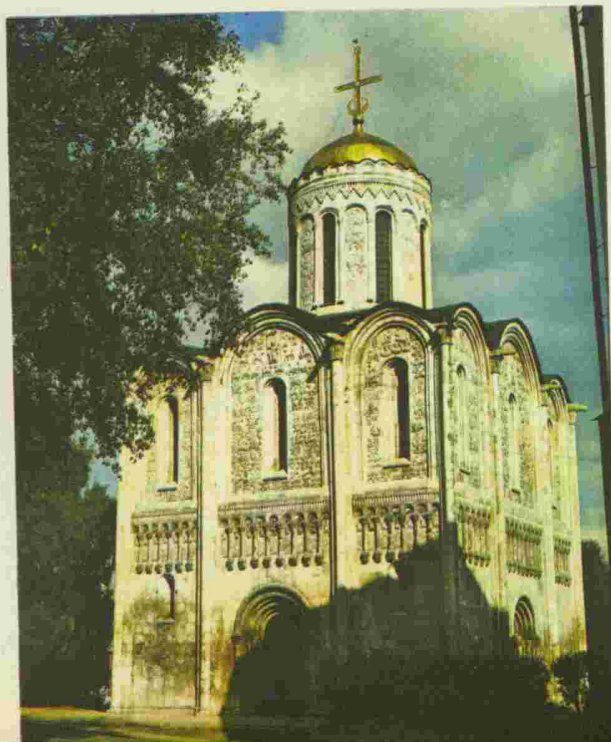
Храм Покрова на Нерли. 1165.

Димитровский собор. 1194—1197.



Архитектурный ансамбль в Кидекше.
XII — XVIII вв.

Фото Ирины СТИН.





Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Первый заместитель главного редактора
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, Э. Б. ВИШНЯКОВ,
В. И. ВОРОНОВ [зам. главного редактора], В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ [отв. секретарь],
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120